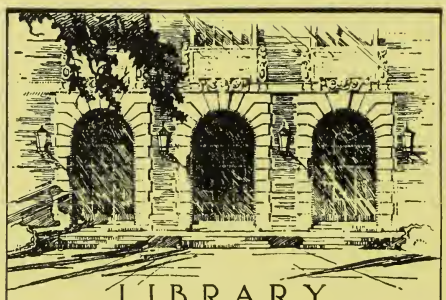
А. В. Верещагинъ

У Болгаръ и заграницей



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

914.977
V58u

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

JUL 22 1982

JUN 29 1982

L161—O-1096

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/ubolgarizagranit00vere

У БОЛГАРЪ

И

ЗАГРАНИЦЕЙ

АЛЕКСАНДРЪ ВЕРЕЩАГИНЪ

У БОЛГАРЪ

И

ЗАГРАНИЦЕЙ

1881—1893

ВОСПОМИНАНІЯ И РАЗСКАЗЫ

(ПРОДОЛЖЕНІЕ ОЧЕРКОВЪ «ДОМА И НА ВОЙНѢ»)

СЪ ПОРТРЕТАМИ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1896

Рисунки дозволены цензурою. С.-Петербургъ, 1 ноября 1895 г.

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13

914.977
V58u

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЧАСТЬ I.

У БОЛГАРЪ.

ГЛАВА.		СТР.
I.	Представленіе Государю Императору	1
II.	Константинополь	5
III.	Санъ-Стефано	9
IV.	Галлиполи	19
V.	Шаркіой	21
VI.	Фуражное довольствіе	29
VII.	Черкескіой	33
VIII.	Эносъ	37
IX.	Дедеагачь	41
X.	Братушки-баши-бузуки	54
XI.	Турки-баши-бузуки	59
XII.	Въ гостяхъ у турокъ	61
XIII.	Кузнецовъ изъ гвардіи	64
XIV.	Набѣгъ въ Родопскія горы	67
XV.	Адріанополь	86
	У Скобелева	—
	Берейторъ Морковкинъ	88
	Художникъ	90
	На охоту	92
	Фотографъ	93
	Наградное отдѣленіе	95
XVI.	Татаръ Базарджикъ	98
XVII.	Кафе-Шантанъ	105
XVIII.	Добруджа	111
XIX.	Поѣздка въ Систово	115
XX.	Прощаніе съ Турціей	122
XXI.	На Кавказѣ.—Смерть Левиса	129

ЧАСТЬ II.

ЗАГРАНИЦЕЙ.

ГЛАВА. СТР.

I. Петербургъ 1880 г. . . . 145
Аукціонъ . . . 150
II. Сборы за границу . . . 156
Денщикъ Петровъ. . . . 158
Миражъ . . . 160
III. Отъѣздъ. . . . 162
Въ Берлинѣ. . . . 163
Отъ Берлина до Кельна. . . . 165
Жирардѐ . . . 166
IV. Парижъ. . . . 169
Встрѣча съ братомъ. . . . 173
У Скобелева. . . . 175
V. Вѣна . . . 180
VI. Берлинъ. . . . 184
Cron-Prinz. . . . 186
Мольтке. . . . 187
Яковъ. . . . 190
Извощикъ. . . . 193
M-er George. . . . 194
VII. Дрезденъ . . . 196
Какъ я узналъ о смерти Скобелева. . . . 204
Воспоминаніе о Скобелевѣ. . . . 205
Снохачи. . . . 209
Нахлѣбники. . . . 212
Цанъ . . . 214
VIII. Брюссель . . . 217
IX. Пештъ. . . . 219
Листъ. . . . 221
Градоначальникъ баронъ Тейсъ. . . . 228
Обѣдъ. . . . 230
Письмо Листа. . . . 235

ЧАСТЬ III.

ВЪ РУССКОЙ ГЛУШИ.

I. Скупой . . . 241
II. Оборони Господи . . . 298
III. Дяденька-Гусаръ . . . 309
IV. Maman и Nicolas . . . 317

ПОРТРЕТЫ.

стр.

Александръ II 1
Генералъ Струковъ 15
Князь Имеретинскій 17
Ген.-адъют. Ив. Ст. Ганецкій 19
Полковникъ Скалонъ 91
Генералъ Панинъ 98
В. Кн. Владиміръ Александровичъ. 145
Дм. В. Григоровичъ 151
Вл. Вас. Стасовъ 153
Мих. Ив. Ушаковъ. 158
Жирардѐ 166
Фельдмаршалъ Мольтке 187
Францъ Листъ 219
Телепи 221
Келети 223
Янка Воль 225
Баронъ Тейсъ 228

ЧАСТЬ I

У БОЛГАРЪ

АЛЕКСАНДРЪ II.

ГЛАВА I.

Представленіе Государю Императору.

Въ НАЧАЛѢ ІЮЛЯ 1878 ГОДА я долженъ былъ вернуться, изъ отпуска, опять въ Болгарію, гдѣ наша Кавказская казачья бригада осталась на оккупацію.

Незадолго до отъѣзда изъ Петербурга, я, какъ раненый, имѣлъ счастіе представляться Государю Императору Александру II въ Михайловскомъ манежѣ, во время развода.

Раненыхъ насъ собралось человѣкъ 15. Помню, всѣ мы были выстроены въ одну шеренгу въ самомъ концѣ манежа, сообразно тому, кто былъ тяжелѣе раненъ. Между нами былъ одинъ безногій. Онъ сидѣлъ въ креслѣ; деревяшку-же свою протянулъ рядомъ на стулъ.

Проходитъ такъ около часу. Дежурный у воротъ манежа, отъ времени до времени, появляется и громко возвѣщаетъ о прибытіи того или другого высокопоставленнаго лица. Наконецъ, смотрю, вбѣгаетъ этотъ самый дежурный и какимъ-то осо-

бенно-торжественнымъ дребезжащимъ голосомъ протяжно выкрикиваетъ:

«Его Императорское Величество Государь Императоръ изволитъ ѣха-а-а-ать!»

Всѣхъ присутствующихъ простой солдатскій голосъ этотъ заставляетъ какъ-бы встряхнуться. Начальники частей машинально скользятъ рукой по борту мундира, дабы провѣрить, всѣ-ли пуговицы застегнуты. Кто расправляетъ бакенбарды, кто хватается за воротникъ и оттягиваетъ его, чтобы легче дышать было. Постороннія же лица, присутствующія при разводѣ, отъ удовольствія, что сейчасъ увидятъ Государя, тревожно перешептываются и также охорашиваются.

Какъ стрѣла и безъ того ровныя шеренги войскъ, выстроенныя по обѣимъ сторонамъ манежа, еще чище равняются. Носъ въ носъ, пуговица въ пуговицу, стоятъ люди и точно застываютъ въ такомъ положеніи. — Только на мгновеніе, кое-гдѣ, чу-у-уточку, высунется изъ шеренги чья-нибудь кисть руки, какъ-бы поманитъ кого, поровняетъ и опять скроется.

День пасмурный, — въ манежѣ темно. Пахнетъ сыростью и конскимъ поземомъ. Тишина полная. Даже слышится дыханіе сосѣда. Всѣ взоры устремлены къ дверямъ.

«Сми-и-и-рр-но-о-о!» гдѣ-то далеко, далеко раздается въ обширномъ манежѣ давно ожидаемая команда, — дрожитъ и замираетъ.

Слышно первое раскатистое, дружное привѣтствіе сотни голосовъ, — за нимъ — «ура», и не прерываясь катится въ нашу сторону, все ближе и ближе.

Государь садится на сѣраго коня. Видно, какъ онъ толкаетъ его шпорой, и послушное животное пускается спокойнымъ, твердо заученнымъ галопомъ, мимо линій войскъ. Подскакиваетъ къ первой части, прикладываетъ руку къ козырьку, слегка картавя здоровается и дальше скачетъ.

Императоръ объѣхалъ войска, слѣзаетъ съ лошади и направляется къ намъ пѣшій. На немъ темно-синяя гусарская вен-

герка, съ толстыми золотыми жгутами. Громадная блестящая свита, точно облако, безмолвно слѣдуетъ за нимъ. Чуть позади Государя идетъ Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій. При видѣ его я ободряюсь. Все-таки, думаю, онъ знаетъ меня и, въ случаѣ чего, поддержитъ. И дѣйствительно, какъ только Государь началъ разговаривать съ первымъ раненымъ, отъ котораго я стоялъ четвертымъ, Великій Князь увидалъ меня, подбѣгаетъ и весело кричитъ:

«Ты чего такой блѣдный! А? Подтянись!» и затѣмъ, тотчасъ же удаляется на свое мѣсто.

Государь разговариваетъ съ офицеромъ рядомъ со мной. Меня пробираетъ дрожь... Чувствую, что турецкая лихорадка, которая всего нѣсколько дней какъ покинула меня, снова возвращается.—Государь кончаетъ разговаривать съ моимъ сосѣдомъ, благосклонно киваетъ головой и уже смотритъ на меня. Взоры наши встрѣчаются. Свита медленно подается и, какъ одинъ человѣкъ, останавливается и устремляетъ на меня свои взгляды. Я слышу, какъ мой бывшій главнокомандующій указываетъ на меня головой и вполголоса называетъ фамилію. Вслѣдъ за этимъ, онъ дѣлаетъ мнѣ ободрительные знаки головой изъ-за спины Государя.

Его Величество останавливается передо мной, обхватываетъ обѣими руками эфесъ сабли съ Георгіевскимъ темлякомъ, опирается на нее всѣмъ корпусомъ и устремляя на меня свои большіе задумчивые глаза, подробно начинаетъ разспрашивать, при какихъ обстоятельствахъ я былъ раненъ.

— Гдѣ ты лечился?

— Въ Бухарестѣ, въ Бранкованскомъ госпиталѣ, Ваше Императорское Величество! отвѣчаю я.

— И братъ, художникъ, кажется, тоже тамъ лежалъ?

— Такъ точно, Ваше Императорское Величество!

— Ну, а другого брата убили на Гривицкомъ редутѣ?

— Достовѣрно я не могъ узнать, Ваше Императорское Величество, такъ какъ самъ въ тотъ же день былъ раненъ!

Во время разговора Государь грустно качалъ головой. — Какъ только Его Величество пошелъ далѣе, Великій Князь Николай Николаевичъ опять подбѣгаетъ ко мнѣ и шутливо спрашиваетъ:

— Что, испугался?..

Послѣ представленія Государю у меня оказалось между присутствовавшими въ манежѣ множество знакомыхъ. Всѣ они подходили ко мнѣ, здоровались, поздравляли, пожимали руки, а нѣкоторые даже приглашали обѣдать.

Я вышелъ изъ манежа въ какомъ-то восторженномъ настроеніи.

ГЛАВА II.

Константинополь.

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, я былъ уже на пути въ Константинополь. Въ Одессѣ сажусь на пароходъ «Олегъ» и, съ небольшимъ черезъ сутки, въѣзжаю въ Босфоръ, озаренный яркими лучами восходящаго солнца.

Не знаю, какъ на другихъ, но на меня этотъ проливъ, съ его зеленоватой зеркальной поверхностію, въ которой чрезвычайно красиво отражались высокіе берега, спускающіеся террасами, обстроенные самыми причудливыми легкими домиками и дачами, утопавшими въ тѣни кипарисныхъ садовъ, — какъ въ первый мой проѣздъ по немъ, такъ и теперь, производилъ какое-то совершенно особое, чарующее впечатлѣніе, точно я видѣлъ что-то родное.

Не спорю, конечно, этому могутъ смѣяться, но такое впечатлѣніе сложилось у меня, вѣроятно, какъ изъ чтенія историческихъ книгъ, такъ и изъ того настроенія, съ какимъ мѣсяца 3—4 тому назадъ штабъ нашего главнокомандующаго и всѣ прико-

мандированные къ нему, въ числѣ коихъ былъ и я, приближаясь къ берегамъ Мраморнаго моря, въ первомъ попавшемся товарномъ вагонѣ, увидали съ холмика, изъ-за бѣлѣвшихъ построекъ, Санъ-Стефано, при закатѣ яркаго солнца, знаменитый храмъ Софіи. Настроеніе это забыть нельзя. Помню, какъ по загорѣлымъ бородатымъ лицамъ товарищей моихъ текли слезы радости.

Тысячи всевозможныхъ построекъ, виднѣвшихся по склонамъ горъ, громаднымъ амфитеатромъ, предстали глазамъ моимъ. Тяжелыя мечети, съ легкими, взвивающимися къ небу, тонкими минаретами, рѣзко охарактеризовывали мусульманскій городъ. Сотни различныхъ лодокъ и лодочекъ съ разноплеменными гребцами окружили насъ. Отовсюду долетали турецкіе гортанные крики и возгласы. Пестрѣли фески, чалмы, тюрбаны.

Удивительное дѣло! Когда, два мѣсяца назадъ, я стремился уѣхать отсюда въ отпускъ, мнѣ ужасно хотѣлось поскорѣй отдѣлаться ото всѣхъ этихъ болгаръ и турокъ, чтобы не слышать болѣе ихъ языка. Теперь же, по прошествіи столь короткаго времени, я съ большимъ удовольствіемъ вновь прислушивался къ ихъ разговорамъ.

Въ этотъ пріѣздъ, я не останавливался въ Константинополѣ, а прямо направился пѣшкомъ къ вокзалу, чтобы поскорѣй уѣхать въ Санъ-Стефано. Меня очень интересовало узнать, какая тамъ произошла перемѣна со времени отъѣзда въ Россію главнокомандующаго, Великаго Князя Николая Николаевича.

Послѣ Его Императорскаго Высочества, вступилъ въ командованіе войсками генералъ Тотлебенъ.

Но не надо было ѣхать въ Санъ-Стефано, чтобы убѣдиться, что нашъ престижъ въ глазахъ турокъ, за эти два мѣсяца, шибко пошатнулся. Это я замѣтилъ сразу, какъ только поднялся на набережную.

Иду знакомой дорогой на вокзалъ. Сзади здоровенный турокъ тащитъ на головѣ мой небольшой сакъ-вояжъ. Иду довольно

скоро. Я одѣтъ по формѣ. Черная черкеска перепоясана ремнемъ при кинжалѣ; черезъ плечо шашка, на головѣ папаха съ синимъ верхомъ. Ну не странно ли,—всего какихъ-нибудь два мѣсяца тому назадъ, когда, гуляя по Константинополю съ товарищами, мнѣ случалось проходить здѣсь, жители моментально давали дорогу, да еще и съ поклонами, а теперь, замѣчаю, это время, повидимому, кануло въ вѣчность. Турки уже смотрѣли на мою форму только изъ пустого любопытства и довольно нахально указывали пальцами, приговаривая: «Руссъ! Руссъ! Черкесъ-капитане!»

Вотъ, на самой дорогѣ, молодой турокъ преспокойно растянулся во всю длину, причемъ его оборванные, холстяные шаравары едва достигали колѣней; зеленая куртка разстегнута, красная феска съѣхала на самый затылокъ. Онъ хорошо видитъ меня, но какъ-бы нарочно не подбираетъ своихъ грязныхъ ногъ, чтобы заставитъ обойти, и преспокойно разговариваетъ о чемъ-то съ товарищами; тѣ сидятъ возлѣ него, въ головахъ, чуть не подпирая колѣнями подбородки. Я слышу ихъ гортанную болтовню. Вызывающіе взоры ихъ устремлены на меня. Широкіе выпуклые бѣлки глазъ, такъ и бѣгаютъ изъ стороны въ сторону.

«Гетъ!» [1]) ору я во все горло и бросаюсь къ нахальному турку, судорожно стиснувъ обѣими руками шашку. Толпа кидается въ сторону.

Надо отдать справедливость туркамъ. Характеръ у нихъ отличный, мирный, спокойный. Вотъ и въ этомъ случаѣ: вмѣсто того, чтобы окрыситься на меня, они, напротивъ, самымъ добродушнымъ образомъ хохочутъ, подтрунивая надъ дерзкимъ товарищемъ.

Прихожу на вокзалъ и беру билетъ. Въ вагонѣ все время стою у окна и, пока поѣздъ идетъ, съ любопытствомъ осматриваю окрестности.

---

[1]) Прочь.

Чуть не полъ-дороги, медленно ѣдемъ предмѣстьями города. Кругомъ такая оживленная, живописная картина, что глазъ нельзя оторвать. Турки, болгары, армяне, евреи, греки,—мужчины и женщины, въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ мелькаютъ мимо меня.

Вонъ, на небольшой площадкѣ, передъ желтыми каменными казармами, учится турецкая пѣхота. Какъ ловко она дѣлаетъ ружейные пріемы, просто залюбуешься. Знакомыя синія куртки на солдатахъ, обшитыя красной тесьмой, непріятно рѣжутъ мнѣ глазъ. Далѣе обгоняемъ цѣлую вереницу лошаковъ, рыжевато-пепельнаго цвѣта, нагруженныхъ мѣшками съ какимъ-то провіантомъ; длинныя безобразныя уши ихъ некрасиво болтаются. Лошаки легко переступаютъ своими тонкими мускулистыми ногами и скрываются за угломъ дома.

На одномъ крутомъ заворотѣ нашъ поѣздъ едва-едва двигается. Нѣсколько турецкихъ женщинъ, въ своихъ черныхъ одеждахъ, изъ-подъ которыхъ, внизу, около щиколокъ, замѣтны концы шараваръ, украдкой пробираются вдоль низенькаго забора. Онѣ съ любопытствомъ озираются, причемъ изъ-подъ бѣлыхъ чадръ мелькаютъ черные глаза ихъ.

Чѣмъ дальше отъѣзжаемъ отъ центра города, тѣмъ постройки идутъ все мельче и мельче, а улицы тѣснѣе. Населеніе попадается преимущественно турецкое.

Близехонько отъ линіи дороги, около одной хаты, въ тѣни, на заваленкѣ, видна группа стариковъ, турокъ, въ бѣлыхъ чалмахъ. Поджавъ ноги кренделемъ, они спокойно покуриваютъ, кто кальянъ, кто самодѣльныя папиросы, толкуютъ промежъ себя и равнодушно посматриваютъ на поѣздъ, который, очевидно, уже примелькался имъ.

ГЛАВА III.

Санъ-Стефано.

ВЫѢЗЖАЕМЪ ЗА ГОРОДЪ и ѣдемъ по ровной мѣстности. Вдали бѣлѣютъ постройки Санъ-Стефано. Минуемъ, какъ разъ, то мѣсто, на которомъ еще такъ недавно Великій Князь дѣлалъ смотръ войскамъ, по случаю заключенія Санъ-Стефанскаго договора.

Припоминаю смущенныя лица, какъ самого главнокомандующаго, такъ и всей свиты, когда мы долго не могли дождаться нашего посла графа Игнатьева съ подписаннымъ договоромъ, и какъ, наконецъ, онъ, уже чуть не ночью, показался вдали, верхомъ, размахивая конвертомъ надъ головой. Какое дружное, непринужденное «ура» вырвалось изъ нашихъ грудей въ эту минуту!

Что-то теперь въ Санъ-Стефано? Такъ-ли же весело живутъ тамъ? И въ моей головѣ невольно воскресаютъ изъ недавняго прошлаго картина за картиной.

Вотъ одна изъ нихъ:

Второй день мира. Погода пасмурная. Съ моря дуетъ холодный вѣтеръ, пронизывающій насквозь. Часа 3—4 пополудни. Выхожу изъ своей квартиры и направляюсь къ площади. Здѣсь,

какъ въ Петербургѣ, на Невскомъ, всегда можно было встрѣтить кого-либо изъ знакомыхъ.

На площади, противъ дома Великаго Князя, стоитъ небольшой двухъ-этажный флигель. Надъ подъѣздомъ прибита надпись на толстой бѣлой бумагѣ синими чернилами: «Полевое Казначейство». Смотрю, нѣсколько офицеровъ входятъ въ самый этотъ подъѣздъ. Дай, думаю, зайду туда, что тамъ дѣлается.

Крутая лѣстница ведетъ во второй этажъ и дѣлитъ домъ на двѣ половины. Направо, на дверяхъ, опять та же надпись «Полевое Казначейство». Только, замѣчаю, офицеры идутъ не направо, а какъ разъ налѣво, въ дверь, откуда доносились смѣхъ, пѣсни и громкіе разговоры. Отворяю дверь и въ смущеніи останавливаюсь.

Глазамъ моимъ представляется обширная комната, настолько накуренная, что, какъ говорится, хоть топоръ вѣшай. Человѣкъ съ полсотни офицеровъ, всевозможнаго рода оружія и чина, перемѣшавшись, ходятъ, разговариваютъ, курятъ. Влѣво, у окна, отдѣльнымъ кружкомъ, сидятъ человѣкъ десять генераловъ. Лица ихъ мнѣ почти всѣ знакомы. Тутъ и командиры гвардейскихъ дивизій и армейскихъ корпусовъ, графы, князья. Одинъ изъ нихъ, со свитскими вензелями на погонахъ, полный, сутуловатый, съ подстриженной въ кружокъ сѣдоватой бородкой, извѣстный добрякъ и весельчакъ, любимецъ своихъ офицеровъ, откинувшись на спинку стула и заложивъ ногу на ногу, съ видимымъ наслажденіемъ любуется, какъ красивый кубанскій офицеръ отплясывалъ лезгинку. Лихо закинулъ тотъ лѣвую руку за спину, уцѣпился тамъ за ременный поясъ, правую вздѣлъ надъ головой колесомъ, и быстро кружился на самыхъ кончикахъ ступней, обутыхъ въ тонкіе чувяки.

Прочіе генералы, а также и большинство публики не безъ удовольствія взираютъ на лихого танцора и подхлопываютъ тактъ ладонями.

Я рѣшительно не понималъ, гдѣ нахожусь. Ресторанъ это—

не ресторанъ, такъ какъ не производилось никакой выпивки. Думалъ было уйти во свояси, но меня подкупало присутствіе этихъ почтенныхъ генераловъ, цвѣта нашей гвардіи и арміи. Вижу, весельчакъ, свитскій генералъ, пристально смотритъ въ мою сторону. Комната перегорожена, во всю ширину, красной занавѣской, въ родѣ того, какъ бываетъ у насъ на Руси, на почтовыхъ станціяхъ или на постоялыхъ дворахъ.

Я любуюсь на веселящееся общество и глазами ищу знакомыхъ лицъ. Ихъ оказывается тутъ не мало, но Скобелева не было. Гляжу на генераловъ, а они что-то толкуютъ между собой, смѣются и опять смотрятъ въ мою сторону, какъ-бы желая узнать, что творится позади меня за перегородкой. Вдругъ оттуда доносится тонкое звяканье, какъ бы золотой монеты о тарелку; занавѣска приподнимается; выходитъ высокій пѣхотный поручикъ съ бѣлымъ воротникомъ, весь раскраснѣвшись, рыжій, усатый, поспѣшно застегивается, направляется къ дверямъ и исчезаетъ. На его мѣсто, за перегородку, точно по командѣ, юркаетъ, маленькаго роста, чрезвычайно широкоплечій артиллеристъ...

Все это моментально мелькаетъ въ моей головѣ. Поѣздъ нашъ останавливается у станціи С. Стефано.

— Эй, служивый, ты свободенъ? — спрашиваю пѣхотнаго солдата въ бѣлой рубахѣ, подпоясанной ремешкомъ; фуражка съ краснымъ околышемъ. Тотъ стоялъ на платформѣ и глядѣлъ на подошедшій поѣздъ.

— Такъ точно.

— Такъ вотъ, донеси-ка мнѣ до квартиры,—и я передаю ему сакъ-вояжъ.

Идемъ въ городъ. По пути, намъ никто не встрѣчается. Вхожу на знаменитую площадку, гдѣ жилъ Великій Князь, и которая когда-то кишѣла народомъ, и она пуста. Лишь одинъ поджарый интендантскій чиновникъ, въ бѣломъ кителѣ и съ портфелемъ подъ мышкой, ковыляетъ, опираясь на трость, но

и онъ куда-то скрывается. Донской казакъ, съ русыми волосами, отрощенными чуть не до самыхъ плечъ, нѣсколько изогнувшись, несетъ большой жестяной чайникъ съ кипяткомъ и тоже пропадаетъ за угломъ дома.

Прохожу площадь и еще издали вижу домъ, гдѣ помѣщалась столовая при главной квартирѣ главнокомандующаго, и гдѣ насъ, штабныхъ и прикомандированныхъ, каждый день обѣдало болѣе ста человѣкъ. Смотрю на подъѣздъ этого дома, на окна,—и вдругъ, какъ во снѣ, припоминаю до малѣйшихъ подробностей тѣ обстоятельства, при какихъ въ самомъ этомъ залѣ, главнокомандующій, два мѣсяца тому назадъ, разрѣшилъ мнѣ отпускъ.

За громаднымъ столомъ, въ видѣ буквы Т, обѣдаетъ человѣкъ полтораста. Посрединѣ видна, хорошо знакомая мнѣ, представительная фигура главнокомандующаго. Возлѣ него, справа и слѣва, сидятъ самые почетнѣйшіе гости: генералы-отъ-инфантеріи, генералы-адъютанты, иностранные послы, военные агенты, турецкіе паши, и т. п.

Чѣмъ дальше отъ средины, тѣмъ чины идутъ все мельче и мельче, и, наконецъ, обрываются на насъ, многогрѣшныхъ, прикомандированныхъ ординарцахъ.

Обѣдъ кончается. Подаютъ кофе. Въ залѣ стонъ стоитъ отъ веселаго смѣха и громкихъ разговоровъ. Курить разрѣшено. Хотя солнце въ окна и ярко свѣтитъ, но табачный дымъ уже такъ густо застилаетъ залъ, что лица гостей становятся какъ-бы въ туманѣ.

Въ это время вижу, къ главнокомандующему, увѣренной походкой, приближается дежурный адъютантъ, блондинъ, высокаго роста, очень симпатичный, вся грудь въ орденахъ, и, придерживая шашку, наклоняется и почтительно шепчетъ что-то на ухо. Великій Князь самодовольно улыбается и, обращаясь къ присутствующимъ, зычно восклицаетъ своимъ пріятнымъ, располагающимъ голосомъ.

— Господа! пойдемте смотрѣть лошадей, которыхъ мнѣ

прислалъ Султанъ въ подарокъ!—встаетъ и медленно направляется къ выходу. Всѣ разомъ, точно по командѣ, съ превеликимъ шумомъ отодвигаютъ стулья и устремляются за нимъ.

Вотъ въ эту-то самую минуту, великій князь и встрѣчаетъ меня въ дверяхъ.

— А ты, говорятъ, въ отпускъ просишься? смѣясь и въ то же время желая придать своему лицу сердитое выраженіе, говоритъ онъ, пріостанавливаясь на минуту.

— Ну смотри, чтобы я тебя сегодня-же здѣсь больше не видалъ!, и онъ шутливо киваетъ мнѣ головой. Я, какъ водилось у насъ, бросаюсь цѣловать его въ плечо.

— Командировкой, Ваше Высочество? шепчетъ ему въ это время мой добрый геній, полковникъ Скалонъ, уже заранѣе распорядившись насчетъ этого.

— Ну ра-зу-мѣ-ется, разумѣется! отвѣчаетъ великій князь, не оборачивая головы, и шествуетъ далѣе, окруженный толпою гостей.—Всѣ тѣ лица, которыя въ это время были тутъ и слышали слова главнокомандующаго, поздравляютъ меня и крѣпко жмутъ руки. У нѣкоторыхъ въ выраженіи лица проглядывала какъ-бы зависть. Но я, уже безъ оглядки, бѣжалъ мимо Скалона.

— Стой, стой! куда?» вполголоса кричитъ тотъ и хватаетъ меня за полу черкески. Ступай къ Левицкому, явись къ нему; отъ него получишь командировку!, дружески шепчетъ онъ на ухо.

Жаръ мой вдругъ остываетъ. Левицкаго я почему-то боялся. Мнѣ будто что подсказывало, что онъ испортитъ мнѣ все дѣло.

Слегка подталкиваемый сзади и съ боковъ знакомыми и незнакомыми лицами, въ густой толпѣ гостей, спускаюсь съ лѣстницы и останавливаюсь на подъѣздѣ, совсѣмъ близко отъ Великаго Князя.

Еще изъ столовой я видѣлъ на улицѣ цѣлую вереницу красивыхъ лошадей. Одну за другой подводятъ ихъ къ подъѣзду.

Мнѣ и къ Левицкому-то бѣжать надо, да и на лошадей-то смерть хочется посмотрѣть. Хотя я и заранѣе увѣренъ былъ, что особенно хорошихъ, безъ пороковъ, чистокровныхъ арабовъ, врядъ-ли встрѣчу тутъ, ибо извѣстно было, что, какъ только наши войска стали приближаться къ Константинополю, то всѣхъ своихъ лучшихъ коней Султанъ приказалъ отправить въ Смирну. И, дѣйствительно, я не ошибся.

Вотъ хотя-бы этотъ вороной: голова сухая, ушки такъ и бѣгаютъ, то впередъ, то назадъ. Большіе, на выкатѣ, глаза налиты кровью. Отдѣлъ хвоста превосходный. Ноги тонкія, сухія. Но сѣдлистъ страшно. А потому, какъ производитель, онъ никуда не годился. А между тѣмъ Великій Князь желалъ пріобрѣсти именно производителей. За этимъ конемъ подводятъ другого—третьяго.—Всѣхъ было приведено, ежели не ошибаюсь, шесть жеребцовъ. Одинъ изъ нихъ, темно-гнѣдой, съ золотистымъ отливомъ, мнѣ очень полюбился. Здоровенный турокъ, конюхъ, въ толстыхъ, синихъ шароварахъ и такой-же курткѣ, обшитой красной тесьмой, долго возился съ нимъ, прежде чѣмъ справился. Конь безпрестанно взвивался на дыбы и нѣсколько разъ едва не сбивалъ ногой съ головы конюха его красной фески. Смуглый усатый турокъ угрюмо таращитъ свои бѣлки на главнокомандующаго и, кажется, только не говоритъ:

— Ну, ужъ если мой конь вамъ не понравится, такъ лучшаго вы и не найдете. А тотъ между тѣмъ, какъ-бы чуя непрошенныхъ иностранцевъ, которые хотятъ увезти его куда-то далеко, далеко, съ шумомъ втягиваетъ своими тонкими, широкими ноздрями воздухъ, дрожитъ и косо озирается.

Великій Князь не безъ удовольствія щуритъ глаза и не можетъ утерпѣть, чтобы не спуститься съ лѣсенки и не потрепать лебединую шею гордаго животнаго, покрытую коротенькой шелковистой шерсткой. Всѣ присутствующіе стараются подойти поближе. Каждому хочется показать передъ августѣйшимъ начальникомъ, что и онъ тоже кое-что понимаетъ въ лошадяхъ.

Завзятые-же знатоки и авторитеты, усатые и неусатые, пожилые и молодые, штатскіе и военные, уже разгуливаютъ вокругъ коня, оглаживаютъ его, холятъ и дѣлаютъ различныя замѣчанія.

Чей-то визгливый, хриплый голосъ кричитъ:

— У этого господа, совершенно другой складъ! Посмотрите, какая у него грудь, шея.....» За нимъ кто-то баситъ:

— По моему этотъ много лучше того! Этого хоть сейчасъ на выставку!

Смотрю, старикъ, казачій генералъ, бочкомъ протискивается къ Великому Князю и искоса на него посматриваетъ. Ему, очевидно, хотѣлось бы прямо заявить свое мнѣніе Его Высочеству, но не рѣшается подойти.

Сзади него раздается другой авторитетный возгласъ, капризный и недовольный, но произнесенный такъ, что его обязательно всѣ должны слышать:

«Ахъ, господа! да что-же вы говорите! вѣдь это все настоящіе арабы!»

Между тѣмъ главнокомандующій уже опять стоитъ на лѣсенкѣ и въ полуоборотъ слушаетъ, что̀ ему вполголоса докладываетъ на самое ухо, кивая головой на лошадь, знатокъ, генералъ Струковъ.

Мнѣ, со ступенекъ лѣстницы, чрезвычайно удобно было смотрѣть на всю эту разнообразную, оживленную картину, ярко залитую солнечными лучами. И невольно вспомнились мнѣ въ эти минуты слова моихъ пріятелей казаковъ: «Дай только, дружокъ, до Константинополя добраться», говаривали они мнѣ въ походѣ,—«а тамъ ужъ мы добудемъ себѣ коней, какихъ только душа пожелаетъ».—И вдругъ какое разочарованіе: въ Константинополь-то мы и не попали!

Бросаю послѣдній взглядъ на лошадей и бѣгу къ Левицкому.

Помощникъ начальника штаба жилъ по близости, въ отдѣльномъ домѣ. Когда я взошелъ къ нему въ комнату, у него сидѣлъ мой бывшій начальникъ подъ Ловчей, генералъ N. Слегка откинувшись своимъ сухощавымъ стройнымъ туловищемъ на спинку кресла, онъ барабанилъ пальцами по столу. Сквозь спущенную бѣлую занавѣску, солнце мягко освѣщало голыя неоклеенныя стѣны. «Что вамъ угодно?» спрашиваетъ Левицкій, и, прерывая работу, сумрачно оглядываетъ меня поверхъ очковъ.

Я докладываю, что являюсь къ нему по приказанію Его Высочества за отпускомъ.

— Что это за вздоръ, что вы получаете командировку, какой даже не получаютъ и начальники дивизій! рѣзкимъ, непріятнымъ голосомъ восклицаетъ онъ и смотритъ на N, какъ-бы вызывая того на согласіе.

Потъ выступаетъ у меня по всему тѣлу, но я сбираюсь съ духомъ и говорю:

— Это была воля Его Высочества! Какъ вамъ угодно будетъ. И въ свою очередь тоже смотрю на N. и думаю: «что-же это ваше превосходительство, не заступитесь за меня; какъ я служилъ вамъ вѣрой и правдой подъ Ловчей! или уже это все забыто!» Но мой старый начальникъ безучастно смотритъ на меня, закинувъ ногу на ногу и продолжаетъ барабанить пальцами. Левицкій углубляется въ какую-то бумагу. Наступаетъ молчаніе. Только карманные часы на письменномъ столѣ звонко постукиваютъ.

— Прикажете итти, ваше превосходительство?, спрашиваю генерала и въ то же время думаю: «если не дашь отпуска, такъ я сейчасъ-же, прямой дорогой, къ Скалону, а ужъ тотъ выручитъ.

— Хорошо, ступайте, получите командировку, — говоритъ смягчившійся генералъ и киваетъ головой.

— Уфъ! тяжело вздыхаю я и съ облегченнымъ сердцемъ направляюсь къ себѣ на квартиру.

Рж. Илеретинский

И вотъ на эту-то самую квартиру прихожу я теперь изъ отпуска, и къ удовольствію своему нахожу все въ порядкѣ,— и лошадь, и казака Ламакина. Только послѣдній гораздо болѣе поправился и потолстѣлъ, чѣмъ моя лошадь. Лицо у него отъ безпросыпнаго сна совершенно опухло, и самъ онъ сдѣлался какой-то вялый, безжизненный.

Въ тотъ-же день я представился начальнику штаба войскъ, князю Имеретинскому. Князь сообщилъ мнѣ, что бригада наша занимаетъ посты отъ Родосто до Дедеагача, и что полковникъ Левисъ исправляетъ должность бригаднаго, и стоитъ въ городѣ Шаркіоѣ, на берегу Мраморнаго моря.

На другой день, рано утромъ, сажусь на своего кабардинца и, въ сопровожденіи Ламакина, отправляюсь въ Шаркіой. Путь мой, какъ я узналъ въ штабѣ, лежалъ на городъ Кешанъ.

Для меня нѣтъ болѣе пріятнаго путешествія, какъ верхомъ. Вотъ хотя бы и теперь: погода прекрасная, не жарко, вѣтеръ пріятно продуваетъ. Солнце еще только выкатилось изъ-за синевато-фіолетовыхъ горъ и ярко озарило окрестности. Ночная роса слегка смочила пыль на шоссе, вслѣдствіе чего за нами оставались по дорогѣ рѣзкіе бѣловатые слѣды. Конь мой по прежнему идетъ своимъ размашистымъ шагомъ. Онъ чутко водитъ красивыми остроконечными ушами и безпрестанно поглядываетъ по сторонамъ, какъ-бы желая изучить мѣстность.

Не помню, на другой или на третій день, около полудня, я увидалъ на горѣ городъ Кешанъ.

Удивительно, сколько здѣсь вѣтряныхъ мельницъ. Онѣ, точно лѣсъ, окружаютъ городъ со всѣхъ сторонъ. Да не даромъ и устроены эти мельницы. Плодородіе Кешанскаго округа изумительно. Много верстъ пришлось мнѣ проѣхать золотистыми полями, прежде чѣмъ я добрался до этого города.

Въ Кешанѣ стоялъ на оккупаціи гренадерскій корпусъ, подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Ганецкаго, Ивана Сте-

пановича, покорителя Плевны. Я познакомился съ нимъ еще раньше и теперь рѣшился заѣхать къ нему.

Онъ очень любезно принялъ меня, причемъ предложилъ на другой-же день проѣхаться съ нимъ въ повозкѣ къ берегу Галлипольскаго пролива, гдѣ находился единственный проходъ съ моря на сушу. Проходъ этотъ наши войска думали одно время укрѣплять на случай высадки англійскихъ войскъ. Я съ большимъ удовольствіемъ согласился на эту поѣздку; она представлялась мнѣ очень интересной. Да къ тому-же и конь мой, отмахавъ въ два дня около полутораста верстъ, требовалъ отдыха.

Переночевалъ я у начальника штаба корпуса, полковника Чайковскаго, чрезвычайно обязательнаго господина.

Кажется не все-ли равно, у кого ночевалъ! Стоитъ-ли объ этомъ упоминать! Но въ томъ-то и дѣло, что въ то переходное время, любезный пріемъ и спокойная кровать, были слишкомъ дороги, чтобы ихъ забыть.

отъ Ивана Ганицкаго
10 марта 1884 года

ГЛАВА IV.

Галлиполи.

На другой день, чуть свѣтъ, еще далеко до жары, къ подъѣзду, гдѣ жилъ генералъ Ганецкій, были поданы два войсковыхъ фургона, запряженныхъ четверками добрыхъ лошадей. Въ одинъ изъ нихъ я и усѣлся вмѣстѣ съ Ганецкимъ и начальникомъ штаба. На козлы, рядомъ съ конюхомъ, былъ посаженъ солдатъ съ ружьемъ. Дорога шла хорошая, больше полями. Такъ, послѣ двухъ часовъ ѣзды, крупной рысью, мы подъѣзжаемъ къ высокому лѣсистому гребню. Онъ точно стѣной отдѣлялъ насъ отъ Галлиполи.

Выходимъ изъ фургона и лѣземъ на гору. Выше — выше. Вдругъ, промежъ столѣтнихъ дубовъ, тополей и орѣховъ, перевитыхъ различными ползучими растеніями, далеко внизу, подъ ногами, изъ-за чудной синевы залива точно вынырнуло золотое солнышко.

Ничего болѣе величественнаго до той поры въ жизни своей я не видалъ.

Заливъ отсвѣчивалъ безчисленными лучами. Казалось, чѣмъ ближе къ солнцу, тѣмъ онъ все болѣе и болѣе принималъ золотистый оттѣнокъ, и въ то же время, теряя синеву, въ безпредѣльной дали сливался съ безоблачнымъ небомъ.

И все это водное пространство, со всѣми его удивительными переливами цвѣтовъ и отраженіями, обхвачено съ боковъ узкими красновато-песчаными, безжизненными берегами; они, подобно двумъ гигантскимъ змѣямъ, точно стремились задушить его въ своихъ объятіяхъ.

Заливъ былъ тихъ, будто заснулъ. По самой-же срединѣ, незыблемые вѣтромъ чернѣли на якоряхъ два громадные англійскіе броненосца.

Съ вышины, они казались мнѣ не болѣе тѣхъ финскихъ пароходиковъ, что бѣгаютъ у насъ въ Петербургѣ по Невѣ. Влѣво отъ залива, длинной, узкой, сѣрой полосой протянулся Галлипольскій перешеекъ, а за нимъ далеко блестѣлъ и самый проливъ.

Смотрю, любуюсь и невольно думаю: «вотъ онъ гдѣ, ключъ-то къ Константинополю, о которомъ у насъ, въ прошломъ году, въ С.-Стефано, столько толковали. А какъ легко, и даже безъ всякаго бою, мы могли-бы его занять, когда наши войска, дивизія Карцова, подходили сюда въ Январѣ 1878 года!

Мы пробыли здѣсь около часу и затѣмъ уѣхали обратно въ Кешанъ.

ГЛАВА V.

Шаркіой.

ТРОМЪ РАНО я выѣхалъ въ Шаркіой и къ вечеру былъ тамъ.

Левисъ очень любилъ меня и чрезвычайно обрадовался моему пріѣзду. Между прочимъ, я узналъ отъ него, что завѣдующій хозяйствомъ нашего полка уѣзжаетъ на родину, должность его займетъ командиръ сотни, Павелъ Ивановичъ, а я приму отъ него сотню. Въ ожиданіи этого я остался въ Шаркіоѣ.

Левисъ предложилъ мнѣ остановиться у него на квартирѣ. Онъ жилъ въ большомъ домѣ, на самомъ берегу моря.

Какъ проводили мы здѣсь время, опишу для примѣра одинъ изъ вечеровъ.

Часа четыре пополудни. День очень жаркій. По обѣимъ сторонамъ большой свѣтлой комнаты стоятъ подъ пологами двѣ кровати. На одной изъ нихъ лежу я, а на другой Левисъ, и отдыхаемъ послѣ сытнаго обѣда. Окна открыты, и глазамъ моимъ представляется чудный видъ на Галлипольскій проливъ. Онъ здѣсь въ ширину верстъ 20. Противоположный утесистый,

малоазіятскій берегъ, освѣщенный вечернимъ солнцемъ, кажется мнѣ сѣровато-золотистой стѣной. Море темно-синее, спокойное, съ легкой зыбью. Изрѣдка, то тутъ, то тамъ, блеснетъ бѣлый гребешокъ волны и пропадетъ. Небо голубое, безоблачное. Бѣлоснѣжная чайка, хлопотливо взлетѣвъ кверху, быстро опускается и, едва коснувшись крыломъ поверхности моря, снова скрывается изъ глазъ моихъ.

Вонъ, подъ тѣмъ берегомъ, едва-едва ползетъ пароходъ. Замѣчаю его только благодаря длинной черной полосѣ дыму, которую онъ оставляетъ по себѣ въ воздухѣ.

Взоромъ переношусь я по сю сторону пролива. Мимо самыхъ моихъ оконъ, тяжелой, но торопливой поступью, проходитъ громадный буйволъ, весь черный, точно выпачканный въ сажѣ, сердито отмахиваясь жидкимъ хвостомъ отъ назойливыхъ мухъ. Уродливая голова, на сравнительно тонкой шеѣ, вытянута впередъ. Широкіе морщинистые рога, какъ-бы нарочно, прижаты къ затылку; уши оттопырены, морда слегка раскрыта. Я слышу его отрывочное гнусавое мычанье, скорѣй похожее на хрюканье свиньи. Буйволу жарко. Онъ стремится къ морю окунуться. Очевидно, не впервóй приходитъ онъ сюда, и потому смѣло спускается въ воду и забирается все дальше и дальше. Уже я вижу только верхушку его спины и хвостъ, которымъ онъ усиленно хлещетъ по водѣ, чтобы обрызгать себя. Вдругъ онъ пропалъ. Гдѣ онъ? Его не видно! Во-о-онъ онъ гдѣ! Два высокихъ фонтана, пущенныхъ имъ съ удивительной силой черезъ ноздри, подобно двумъ жемчужнымъ столбикамъ, отсвѣчивая на солнышкѣ, ясно указывали, гдѣ онъ.

Чуть подальше отъ пологаго берега отчаливаетъ чья-то лодочка. Два грека, въ бѣлыхъ рубахахъ, заправленныхъ въ широкіе коричневые шаравары, и опоясанные красными кушаками, стоятъ одинъ на кормѣ, другой на серединѣ лодки и возятся около парусовъ. Ихъ стройныя фигуры, въ красныхъ фескахъ, смуглыя лица съ длинными черными усами и бритыми подбо-

родками, кажутся мнѣ чрезвычайно живописными. Какъ скорлупка легкая лодочка уже нѣсколько отплыла отъ берега. Вдругъ, точно по волшебству, бѣлые остроконечные паруса надуваются, и лодка, подобно гигантской птицѣ съ распущенными крыльями, стремительно несется впередъ. Вотъ она повертываетъ направо— теперь налѣво. Это она лавируетъ противъ вѣтра. Да какъ ловко, просто залюбуешься. Здѣшніе жители, моряки, очень любятъ въ свободное время забавляться подобнымъ образомъ.

Какъ все хорошо здѣсь, какъ красиво: и чудная морская даль, и голубое небо. Кажется, все смотрѣлъ-бы и не сводилъ глазъ съ этой безподобной картины. Вдругъ, позади себя, слышу:

— Верещагинъ, вы спите? отрывочно, какъ всегда, спрашиваетъ Левисъ. Онъ былъ тученъ и потому лежалъ въ постелѣ, весь мокрый отъ поту, охалъ и изнемогалъ отъ жары.

— Нѣтъ! я уже давно проснулся, а что?

— Надо вставать! Сегодня пораньше пойдемте въ кафе-шантанъ. Эмма поетъ, — запскивающимъ тономъ говоритъ Левисъ и, при этихъ словахъ, самодовольно потягивается, гладитъ мягкой, пухлой рукой свою круглую бородку и затѣмъ быстро вскакиваетъ съ постели. Бригадный очутился въ одной сатиновой сорочкѣ съ синими полосками. Добродушное полное лицо его дышало здоровьемъ. Босой идетъ онъ къ окну, раскрываетъ, стоявшій на подоконникѣ, небольшой сакъ-вояжъ и не безъ усилія вытаскиваетъ туго набитый холщевый мѣшокъ. Въ этомъ мѣшкѣ, я знаю, такъ какъ самъ помогалъ Левису считать, было слишкомъ тысяча полуимперіаловъ.

Что вы это, полковникъ, хотите дѣлать? спрашиваю его.

— А, знаете, я хочу сегодня штукъ 20 подарить Эммѣ, такъ вотъ надо ихъ помыть, а то такъ неловко, грязные, съ улыбкой отвѣчаетъ онъ. Отсчитываетъ 20 полуимперіаловъ, снова завязываетъ мѣшокъ, опять убираетъ его въ сакъ-вояжъ, и даже не запираетъ, а лишь прикрываетъ деньги грязнымъ бѣльемъ. Въ такомъ видѣ я постоянно замѣчалъ этотъ сакъ-вояжъ

на окнѣ. Левисъ почему-то думалъ, что его деньги, спрятанныя такимъ патріархальнымъ способомъ, совершенно сохранны, хотя съ улицы, до окна, было рукой подать.

Бригадный принимается тщательно мыть въ тазу золотыя монеты щеточкой съ мыломъ.

— А что вы думаете, устоитъ сегодня Эмма? весело спрашиваетъ Левисъ, перебрасывая съ руки на руку ярко вычищенныя монеты.

— Устоитъ! нарочно поддразниваю я командира.

— А вотъ, посмотримъ! уже серьезно возражаетъ онъ и начинаетъ одѣваться.

Часовъ въ шесть вечера, облекшись въ свою сѣренькую черкеску, командующій бригадой торжественно спускается съ лѣстницы. Я иду рядомъ съ нимъ. Только что мы вышли на улицу, какъ къ намъ бросается, расчищать дорогу отъ встрѣчныхъ жителей, прапорщикъ милиціи, изъ армянъ, по имени Гиго. Небольшого роста, коренастый, подбородокъ плохо выбритъ, щетинистые усы залихватски закручены кверху. Говорилъ Гиго армянскимъ гортаннымъ нарѣчіемъ, и всегда сильнымъ отъ вина голосомъ. Одѣтъ былъ въ бѣлую суконную черкеску съ синимъ бешметомъ, обшитымъ золотымъ галуномъ. Маленькая папаха надѣта на бекрень.

Въ началѣ компаніи Гиго поставлялъ скотъ для нашего полка и, какъ ловкій человѣкъ, сумѣлъ, разными шуточками да прибауточками, втереться въ довѣріе Левиса. Тотъ зачислилъ его сначала въ урядники, а затѣмъ, при первомъ удобномъ случаѣ, гдѣ-то, кажется, въ Адріанополѣ, представилъ его главнокомандующему, и Гиго былъ произведенъ въ прапорщики милиціи.

Такъ вотъ, самый этотъ Гиго былъ назначенъ Левисомъ, ради шутки что-ли, иначе я не могу себѣ объяснить, полицмейстеромъ г. Шаркіоя, то-есть, Гиго долженъ былъ слѣдить за порядкомъ, а главное, слѣдить, чтобы казаки и жители не творили какихъ-либо безобразій.

Мы идемъ тихонько по улицѣ. Подходимъ къ базарной площади.

Въ вечернее время, пока солнышко еще не закатилось, жители-торговцы очень любятъ здѣсь сидѣть возлѣ своихъ лавочекъ и прохлаждаться «дульчестами», т. е. водой съ разными сладостями, а кто такъ пивомъ или кофеемъ. Гиго идетъ впереди. Лѣвой рукой онъ придерживаетъ шашку вмѣстѣ съ плетью, а правой величественно размахиваетъ.

Левисъ смотритъ на него и говоритъ мнѣ, смѣясь: Гиго-то, Гиго! посмотрите! фу, какая важная фигура! а! какъ ему всѣ шапки ломаютъ!

Но едва онъ это выговорилъ, видимъ, Гиго со всего размаху бьетъ кого-то по лицу такъ сильно, что тотъ падаетъ на землю.

— Гиго! Гиго! что вы дѣлаете? кричитъ Левисъ.

Гиго не слушаетъ и продолжаетъ бить.

Мы подходимъ и что-же узнаемъ: Гиго разсвирѣпѣлъ за то, что одинъ изъ самыхъ почтенныхъ жителей города, чуть-ли не городской голова, позамѣшкался снять передъ нимъ шапку.

— Памилюйте, пальковникъ,—какъ же можно, я иду, а этотъ негодяй, мнѣ даже шапки не снимаетъ; развѣ это можно такъ! оправдывался Гиго, причемъ кричалъ, чуть ли не на всю площадь и старался придать себѣ роль обиженнаго.

— Гиго, я вамъ говорилъ не драться,—какъ вы смѣете! ступайте домой! сердито говоритъ ему нашъ командиръ и затѣмъ, уже забывъ о происшедшемъ, слегка побрякивая рукой въ карманѣ черкески новенькими полуимперіалами, мирно направляется къ своей Эммѣ. Пострадавшій грекъ встаетъ, отряхивается, и видя, что ему нечего ждать какого-либо вознагражденія за понесенную обиду, поднимаетъ съ земли сшибленную феску съ черной кисточкой, и, крайне сконфуженный, скрывается въ свой домъ. Послѣ такого инцидента площадь пустѣетъ, всѣ жители расходятся. Помню, я очень былъ золъ на Левиса въ эту минуту за то, что онъ не распекъ хорошенько дерзкаго армянина

и не посадилъ его подъ арестъ за такую дикую выходку. Но мой Гиго успѣвалъ всегда такъ отшутиться, что ему и не такія дѣла сходили съ рукъ совершенно безнаказанно.

Какъ-то разъ, скинувъ черкески, все въ той-же комнатѣ, выходящей окнами въ море, мирно обѣдаемъ мы съ Левисомъ. Казакъ Золотопупъ, поваренокъ Левиса, сварилъ намъ замѣчательно вкусный борщъ. День, по обыкновенію, жаркій. Въ отворенное окно дуетъ съ моря пріятный вѣтерокъ. Вдругъ, слышимъ, у подъѣзда загремѣли о каменную мостовую кованныя копыта. Раздаются голоса, и черезъ минуту къ намъ поспѣшно входитъ вѣстовой и докладываетъ бригадному, что его желаетъ видѣть есаулъ Юрьевъ.

— Проси, отвѣчаетъ полковникъ своимъ невозмутимымъ спокойнымъ голосомъ, утираетъ салфеткой сальныя губы и направляется къ вѣшалкѣ надѣвать черкеску.

Входитъ, средняго роста, плотный кубанскій офицеръ въ очкахъ. Лицо усталое, измученное. Изъ-за черной черкески, покрытой слоемъ сѣрой пыли, виднѣлся красный бешметъ, тоже весь въ пыли. За нимъ казакъ, кубанецъ, вводитъ двухъ какихъ-то иностранцевъ, въ черныхъ однобортныхъ курточкахъ, съ маленькими золотыми пуговками. Лица рыжія, бритыя, съ усиками. Оказываетя, это были англійскіе офицеры. Ихъ захватили въ плѣнъ наши казаки. Левисъ, конечно, немедленно предложилъ имъ сѣсть, а затѣмъ есаулъ Юрьевъ разсказалъ слѣдующее:

— Наканунѣ, вечеромъ мой постъ, расположенный на берегу моря, видитъ, какъ съ англійскаго броненосца отчаливаетъ лодка съ людьми и приближается къ берегу. Хотя, говоритъ онъ, просвѣщеннымъ мореплавателямъ и было хорошо извѣстно, что по берегу стоятъ наши посты, и что казакамъ никого не велѣно пропускать, тѣмъ не менѣе лодка подплываетъ къ берегу,

люди выходятъ и начинаютъ прогуливаться. Казаки мои въ это время были въ лѣсочкѣ. Какъ снѣгъ на голову, наскакиваютъ они на этихъ господъ, хватаютъ вотъ ихъ двоихъ, садятъ на лошадей, сами садятся позади и такимъ образомъ маршъ маршъ несутся ко мнѣ въ сотню. Ну, а я, конечно, не мѣшкая ни минуты, провожаю ихъ къ вамъ.

Такъ докладывалъ сотенный командиръ, причемъ неоднократно, во время разсказа, обтиралъ потный лобъ и шею носовымъ платкомъ.

Плѣнники были еще совсѣмъ молодые люди, худенькіе, щедушные, но очень симпатичные. Они смиренно посматривали на насъ, и знаками указывали пониже спины, что имъ очень тяжело было съ непривычки проскакать на казачьемъ сѣдлѣ, безъ отдыха, слишкомъ 50 верстъ.

Хорошо помню, что мой Левисъ, долго послѣ того, хотя и смѣялся надъ этимъ случаемъ, но въ то же время и безпокоился.

— Этакой отчаянный народъ! Сейчасъ, цапъ-царапъ, руки назадъ, и въ сѣдло. Хорошо, ежели они еще имъ шеи не накостыляли! А? Какъ вы думаете? спрашиваетъ онъ, разгуливая по комнатѣ въ бѣленькомъ бешметѣ, закинувъ руки назадъ. Вѣдь отъ нашихъ казаковъ это станетъ!

— А что же, если и попало? Они же хорошо знали, что нельзя выходить на берегъ! говорю я.

— Такъ-то-такъ! И то правда! смѣясь восклицаетъ командиръ, по обыкновенію, легонечко чешетъ двумя пальцами кончикъ своего розоваго носа, подходитъ къ окну, гдѣ всегда стояло красное вино, отпиваетъ глоточекъ, не безъ удовольствія обсасываетъ усы и опять начинаетъ прогуливаться съ озабоченнымъ видомъ, причемъ, вѣроятно, раздумываетъ, достанется-ли ему отъ начальства за этихъ англичанъ или не достанется.

О дальнѣйшей судьбѣ этихъ господъ я уже рѣшительно забылъ.

Такъ, черезъ мѣсяцъ, получаю предписаніе принять отъ Павла Ивановича сотню на законномъ основаніи. Сотня расположена въ деревнѣ Черкескіоѣ, верстъ, пожалуй, сто будетъ отъ Шаркіоя, не доходя Эноса верстъ 30.

На другой день, съ восходомъ солнца, сажусь на своего кабардинца и, въ сопровожденіи казака Ламакина, ѣду на западъ, вдоль берега моря. Дорога мѣстами то уходитъ отъ берега, то приближается къ самой кручѣ, гдѣ волны съ шумомъ ударяются о скалистые берега, и бѣлая пѣна высоко взлетаетъ кверху. Мѣстность то открытая, то настолько лѣсистая, что даже трудно пробраться.

Я ѣхалъ тѣмъ удивительно скорымъ шагомъ, какимъ привыкъ ѣздить на своей лошади. Казакъ едва поспѣвалъ и по временамъ трясся рысцей.

Посты наши тянулись до самаго Эноса.

По дорогѣ, вокругъ селеній, вездѣ были отличнѣйшія поля кукурузы, пшеницы, много виноградниковъ, фруктовыхъ деревьевъ: груши, персики, абрикосы, вишни, сливы, миндальные и грецкіе орѣхи.

Здѣсь, въ одномъ мѣстѣ, помню, я въ первый разъ увидалъ инжирь, или, по нашему, винную ягоду. Слѣзаю съ лошади и иду, чтобы разсмотрѣть его поближе. Вдругъ, вижу множество змѣй. Обвившись вокругъ тоненькихъ деревцовъ, онѣ, при моемъ приближеніи, тревожно приподымали головы и зорко посматривали своими маленькими блестящими глазками Я въ ужасѣ поспѣшилъ къ своей лошади.

ГЛАВА VI.

Фуражное довольствіе.

ВЪ ЧЕРКЕСКІОЙ ПРІѢХАЛЪ я на другой день, поздно вечеромъ. Павелъ Ивановичъ сидѣлъ у есаула Кобіева, Лукоморскаго полка, гдѣ были и прочіе офицеры. Всѣ радостно меня встрѣтили, кромѣ Павла Ивановича. Онъ, очевидно, не особенно-то желалъ разставаться съ сотней.

Уже съ недѣлю прошло, а Павелъ Ивановичъ сотни не сдаетъ; онъ докармливаетъ ячмень и тогда сдастъ, чтобы легче со мною разсчитаться. Тѣмъ временемъ я гулялъ, катался и охотился.

На охоту ходилъ я съ болгариномъ, который жилъ у меня въ качествѣ переводчика. Какъ только, бывало, изъ-подъ куста выбѣжитъ заяцъ, а ихъ здѣсь много было, такъ мой Егоръ пускался за нимъ въ догонку, совершенно забывая, что имѣлъ ружье въ рукахъ и что слѣдовало стрѣлять.

— Егоръ! Егоръ! кричу ему. — Куда! Егорка несется, прыгаетъ черезъ кусты, канавы, какъ борзая.

Наконецъ Павелъ Ивановичъ докормилъ ячмень и объявляетъ, что можно принимать сотню. Подаетъ мнѣ подписанныя

сдаточныя бумаги, списки сотенному имуществу, ружьямъ, сотеннымъ и артельнымъ суммамъ. Все было въ отличномъ порядкѣ.

Вахмистръ докладываетъ, что сотня выстроилась. Выходимъ. Старый командиръ угрюмо здоровается съ казаками, говоритъ имъ нѣсколько словъ, въ томъ смыслѣ, чтобы не поминали его лихомъ, служили бы и впредь хорошо, даетъ на ведро вина, прощается и уходитъ.

Выхожу я въ свою очередь, здороваюсь, и высказавъ радость, что буду командовать такой лихой сотней, даю на три ведра вина. Казаки, видимо, были рады и кричали «ура».

Я выпиваю съ ними по стакану, прощаюсь и тоже ухожу.

— Ну что? Всѣ довольны? Приняли сотню? спрашиваетъ Павелъ Ивановичъ, когда я вернулся въ хату.

— Да, принялъ. Все хорошо.

— Ну еще-бы! Я знаю, что никто рта разинуть не смѣетъ! Ужъ, кажется, на меня пожаловаться не могутъ! И онъ сталъ собираться въ полковой штабъ, который стоялъ по ту сторону Эносскаго залива, въ г. Дедеагачѣ.

Фуражное довольствіе въ нашемъ полку, какъ и въ другихъ, было на слѣдующихъ основаніяхъ: въ извѣстное время, изъ корпуснаго штаба, присылались въ полкъ справочныя цѣны на фуражъ, т. е. на сѣно, ячмень и солому. Справки эти утверждались корпуснымъ командиромъ сразу на два, на три мѣсяца. Получивъ справки, командиръ полка долженъ былъ отвѣтить, принимаетъ-ли онъ на себя довольствіе. Если нѣтъ, то корпусное интендантство будетъ само поставлять фуражъ.

Полковой командиръ, разумѣется, соглашался, такъ какъ цѣны, въ большинствѣ случаевъ, были значительно выше настоящихъ, и затѣмъ передавалъ довольствіе сотеннымъ командирамъ, съ отчисленіемъ изъ справочныхъ цѣнъ 20% въ полковую сумму.

Въ сосѣднемъ съ нами Лукоморскомъ полку было нѣсколько иначе; тамъ командиръ самъ довольствовалъ полкъ, т. е. покупалъ фуражъ и разсылалъ его въ сотни. Левисъ говаривалъ мнѣ, когда я былъ въ Шаркіоѣ, что командиру Лукоморскаго полка каждый мѣсяцъ остается до 18 тысячъ рублей золотомъ. Лукоморскій полкъ былъ шестисотенный.

Вопросъ фуражнаго довольствія, какъ въ кавалеріи, такъ и въ артиллеріи, былъ вопросъ самый жгучій. Нѣкоторые командиры полковъ и батарей уже издавна привыкли смотрѣть на довольствіе части въ военное время, какъ на самую доходную арендную статью.

Въ тѣ времена, какъ уже объ этомъ неоднократно указывалось въ печати, нѣкоторые командиры полковъ становились на войнѣ полными хозяевами и считали полкъ совершенно за свое имѣніе, которымъ они могли располагать, какъ имъ угодно. Они разсчитывали и прикидывали на всѣ лады, какъ имъ выгоднѣе довольствовать лошадей: сдать-ли сотеннымъ командирамъ съ вычетомъ извѣстнаго процента, или какому-нибудь жиду-подрядчику, или, какъ всего чаще бывало, покупать самимъ фуражъ и затѣмъ разсылать въ сотни.

При такомъ образѣ довольствія, командиры натурально болѣе всего заботились о томъ, чтобы имъ стоять со своей частью тамъ, гдѣ фуражу больше; сотеннымъ же командирамъ предписывалось какъ можно беречь лошадей, чтобы онѣ казались круглѣе.

Все это, разумѣется, шло въ разрѣзъ съ военными цѣлями, и конечно служило одной изъ главныхъ причинъ тому, что наша кавалерія, случалось, въ 15 — 20 верстахъ передъ собою не имѣла достаточныхъ свѣдѣній о непріятелѣ. Но главное же зло состояло въ томъ, что имѣя такую громадную выгоду отъ довольствія, эти начальники частей старались избѣгнуть огня и вообще столкновенія съ непріятелемъ.

Помню, разговаривалъ я въ Бухарестѣ, во время моего лѣче-

нія отъ раны, съ однимъ старымъ командиромъ, про военныя дѣла. Такъ тотъ мнѣ прямо высказалъ такое мнѣніе.

— А чего я полѣзу теперь въ огонь? Стоянка у меня, слава Богу, отличная, фуражу вдоволь; дастъ Богъ, мѣсяца черезъ три, докоплю свои 100 тысячъ, и тогда — гайда, поѣду домой.

— Вѣдь мы, батенька, войны-то 25 лѣтъ ждали, такъ неужели намъ съ пустыми руками домой-то воротиться? добавилъ онъ. — Чего я тутъ не видалъ! чтобы убили, а нѣтъ руку или ногу отстрѣлили!

И это говорилъ старикъ, коего вся грудь была увѣшана крестами и медалями за разные походы и кампаніи. При одномъ взглядѣ на него, казалось, невольно каждый проникался уваженіемъ къ его прошлому.

ГЛАВА VII.

Черкескіой.

ЧЕРКЕСКІОЙ — ОБШИРНОЕ СЕЛЕНІЕ, домовъ въ 500. Находится верстахъ въ 6-ти отъ берега моря. Оно на половину турецкое, на половину болгарское. Часть турокъ бѣжала, часть осталась. Селеніе расположено въ одной верстѣ отъ р. Марицы. Вдоль ея береговъ тянутся великолѣпные луга, тутовые лѣса и виноградники. Вообще мѣстность удивительно плодородная. Даже въ такую смутную эпоху, какую мы переживали, во время оккупаціи, и то въ домашнемъ обиходѣ жителей было замѣтно довольство и даже избытокъ.

Какъ-то зашелъ я къ моему хозяину дома, болгарину, во время обѣда. Что-же онъ ѣлъ со своей семьей? Баранину, нарубленную кусками въ плошкѣ, до такой степени приправленную стручковымъ перцемъ, что вся она казалась красною и выглядѣла чрезвычайно аппетитно; тутъ же, рядомъ, на полу, въ корзинѣ лежали разные фрукты: виноградъ, инжирь, громадные арбузы. Смотря на такую благодать, мнѣ живо представился нашъ бѣдный мужичокъ, который, въ зимнюю пору,

проработавъ цѣлый день въ лѣсу, спѣшитъ домой поужинать хлѣба съ кваскомъ, и изрѣдка, въ видѣ роскоши, прибавитъ туда лучку.

Костюмъ здѣшнихъ болгаръ нѣсколько разнился отъ сѣверныхъ. Они носили родъ вышитыхъ курточекъ, темносинихъ или черныхъ, обшитыхъ шнуркомъ, и такіе же шаравары, внизу очень узкіе, плотно обхватывавшіе ноги. Сзади же у шараваръ, весьма уродливо болталась длинная мошня, точно чупа у невода.

Здѣшніе болгары живутъ опрятно. Постройки всѣ выстроены на половину изъ дерева, на половину изъ необожженнаго кирпича-сырцу. Крыши черепичныя. При каждомъ домѣ: садъ, огородъ и вообще все хозяйство, такъ что каждый домъ походилъ скорѣй на отдѣльный хуторъ. Такое расположеніе мнѣ чрезвычайно нравилось въ пожарномъ отношеніи, въ особенности, когда припомнишь наши безконечныя, длинныя деревни, въ коихъ деревянные дома подъ соломенной крышей, тѣсно прижавшись одинъ къ другому, точно ждутъ сигнала, чтобы разомъ вспыхнуть и черезъ какихъ-нибудь полъ-часа оставить по себѣ груды пепла.

Въ Черкескіоѣ стоялъ дивизіонъ нашего полка и занималъ посты по берегу моря, отъ Эноса къ западу, по направленію къ Шаркіою. Одной сотней командовалъ я, а другой старый товарищъ мой, есаулъ Шанаевъ. Въ то же время, я, какъ старшій, командовалъ и дивизіономъ. Кромѣ двухъ сотенъ нашего полка, неподалеку стояла еще сотня Лукоморскаго полка. Командовалъ ею есаулъ Кобіевъ. Азіятъ, маленькій, щедушный, съ черными курчавыми волосами, большой джигитъ. Ежели бы не безобразно длинныя уши, то его можно бы было назвать красивымъ. На макушкѣ свѣтилась порядочная лысина. Уши у него были замѣчательно большія, и какъ-то всегда особенно торчали и блестѣли.

Я очень былъ доволенъ сосѣдствомъ Кобіева. Съ нимъ всегда было весело. Онъ никогда не горевалъ. Однимъ онъ только,

случалось, надоѣдалъ, ужъ очень любилъ перекинуть въ картишки направо и налѣво, да слишкомъ часто приставалъ со своими вычисленіями, — сколько у него уже накопилось денегъ, и сколько можетъ еще накопиться отъ фуражнаго довольствія.

Какъ сейчасъ вижу его худощавую фигурку съ загорѣлымъ лицомъ и подстриженными усами; подбородокъ, вѣчно небритый, походилъ на щетку. Въ черномъ ластиковомъ бешметѣ, перепоясанномъ серебрянымъ поясомъ, при кинжалѣ. На курчавой головѣ низенькая черная папаха, на ногахъ синіе суконные рейтузы и чувяки. Растопыривъ ноги, стоитъ онъ среди хаты и съ жаромъ, въ сотый разъ, принимается разсказывать мнѣ свои предположенія.

— Эхъ, голубчикъ, кабы да намъ здѣсь простоять до Новаго года, вотъ-то бы хорошо было, кричитъ онъ своимъ звонкимъ гортаннымъ голосомъ, какъ бы захлебываясь отъ удовольствія. Посуди самъ, сѣна и у тебя, и у меня за глаза хватитъ, самана [1]) мы еще не починали, ячменя можно купить недорого, чего еще!... и Кобіевъ при одной мысли о томъ, что можетъ быть, и даже очень скоро, придется разстаться съ такой благодатью, щуритъ свои узенькіе глаза и сокрушительно мотаетъ головой. Товарищъ онъ былъ отличный, жаль только, что его скоро перевели отъ насъ.

Жили мы всѣ очень дружно, изрѣдка дѣлали ученье, катались и ѣздили на охоту за кабанами. Кабановъ же здѣсь, въ камышахъ, по берегамъ Марицы, водилось множество.

Во время нашего пребыванія здѣсь, выяснилось весьма интересное отношеніе жителей, турокъ и болгаръ, между собой. Такъ напримѣръ: турку надо ѣхать на мельницу на рѣку Марицу, и боится, какъ-бы болгары не обидѣли, и идетъ ко мнѣ или къ Шанаеву просить казака для конвоя. То же самое дѣлаетъ и болгаринъ: тому тоже надо ѣхать на мельницу, и

[1]) Рубленная солома.

тоже боится. Такимъ образомъ часто случалось, что одинъ или два казака за одинъ разъ конвоировали цѣлый обозъ и турокъ и болгаръ.

Первое время въ Черкескіоѣ мы часто слышали пушечные выстрѣлы, доносившіеся къ намъ съ англійскаго броненосца, производившаго поблизости практическую стрѣльбу. Англичане точно нарочно стрѣляли, чтобы устрашить насъ и напомнить о себѣ. Громовые раскаты изъ ихъ чудовищныхъ орудій, кажется, еще и теперь раздаются въ моихъ ушахъ. Впрочемъ стрѣльба эта вскорѣ прекратилась.

Верстахъ въ 10-ти, по дорогѣ къ Эносу, находился старинный греческій полуразрушенный монастырь. Стоялъ онъ заброшенный на каменистомъ холмѣ, лишенномъ всякой растительности. Каждый разъ, когда я проѣзжалъ мимо, видъ его производилъ на меня чрезвычайно грустное впечатлѣніе.

ГЛАВА VIII.

Эносъ.

Недѣли черезъ двѣ по пріѣздѣ въ Черкескіой, мнѣ понадобилось съѣздить въ штабъ полка, который находился въ Дедеагачѣ, т. е. надо было проѣхать верстъ 20 до г. Эноса, и оттуда въ лодкѣ верстъ 30 черезъ Эносскій заливъ. По пути пришлось остановиться въ Эносѣ, чтобы провѣдать постъ, состоявшій изъ 12-ти казаковъ при урядникѣ.

Съ восходомъ солнышка я выѣхалъ верхомъ, въ сопровожденіи казака, на новомъ рыжемъ конѣ, котораго незадолго передъ тѣмъ купилъ у Павла Ивановича. Путь былъ недалекъ и потому, съ небольшимъ черезъ два часа, уже повѣяло морскимъ воздухомъ. Мѣстность, по которой мнѣ пришлось ѣхать, совершенно открытая, безлѣсная. Вся трава выгорѣла отъ жары. Кругомъ торчали голые, порыжѣлые каменистые холмы.

Но вотъ подымаюсь на небольшой пригорокъ, и чудный видъ Эгейскаго моря предсталъ моимъ глазамъ.

Древній Эносъ своими бѣленькими зданіями ярко блеснулъ на песчаномъ желтоватомъ берегу темно-синяго моря. Не знаю,

можетъ быть только потому, что я, еще будучи во 2-мъ классѣ гимназіи, зачитывался Одиссеей и Иліадой, но уже одинъ видъ «Эноса» рисовалъ въ моемъ воображеніи и другіе историческіе города и острова древней Эллады, а вмѣстѣ съ ними и какъ-бы родную для меня Итаку. Уже я забылъ, что я не на Итакѣ, а мнѣ почему-то казалось, что вотъ-вотъ сейчасъ увижу и стараго, преданнаго Улиссу, пастуха Евмея и его вѣрнаго пса Аргоса. Даже вся Иліада начала понемногу воскресать въ моей памяти со всѣми ея героями.

Не могу объяснить, съ какой радостью впивался я глазами въ эту величавую, спокойную, морскую синеву, въ коей утреннее солнце играло золотистыми лучами. Вонъ какъ красиво, легкія греческія лодки, распустивъ свои остроконечные паруса, быстро пересѣкали море въ различныхъ направленіяхъ.

— Какъ хорошо! восклицалъ я, и невольно замедливъ ходъ лошади, дабы не отрывать глазъ отъ этого вида, глубоко задумавшись, тихо подвигался къ городу.

Эносъ, должно быть, въ древности былъ славенъ и богатъ. Я уже порядочно времени какъ ѣду городомъ, пожалуй, съ версту проѣхалъ, а пока все еще нѣтъ жилыхъ построекъ. Все идутъ какія-то развалины, надгробные памятники, расколотыя мраморныя плиты съ надписями и разные признаки древней старины. Наконецъ въѣзжаю въ жилой городъ. Онъ ютился у самаго берега залива, гдѣ впадаетъ Марица.

Здѣшняя мѣстность нездорова. Сужу я такъ по тому, что изъ 12 казаковъ, бывшихъ здѣсь на посту, 8 человѣкъ я нашелъ въ жестокой лихорадкѣ. За три недѣли они такъ исхудали, что ихъ трудно было узнать,—точно тѣни какія.

Часовъ въ 9 утра я былъ уже на пристани. Коня отдаю казаку и велю ему отправиться на постъ и тамъ дожидаться, а самъ направляюсь выбирать лодку. Здѣсь ихъ было нѣсколько десятковъ. Все парусныя, длинныя, узенькія и, повидимому, очень легкія на ходу.

Толпа перевозчиковъ, въ цвѣтныхъ курточкахъ поверхъ бѣлыхъ рубахъ, на головахъ фески, окутанныя чѣмъ-то въ родѣ чалмы, и въ широкихъ шараварахъ съ болтающимися сзади мошнами, съ крикомъ и шумомъ бросаются ко мнѣ предлагать услуги.

Не помню хорошенько, кажется, франковъ за 5 или за 6 я порядилъ перевезти себя въ Дедеагачъ. Лодку выбралъ очень легкую, красиво разукрашенную, о 4-хъ веслахъ и съ высокой мачтой. На ней лѣниво колыхался опущенный парусъ. Я усаживаюсь. Два здоровыхъ грека-перевозчика живо отпихиваются отъ берега, и мы плавно трогаемся въ путь по узенькому голубому рукаву Марицы. Тѣмъ временемъ, на берегу собралась цѣлая толпа жителей поглазѣть, какъ поѣдетъ русскій черкесъ—офицеръ.

По сторонамъ, зеленой стѣной, тянулись высокіе камыши. Рукавъ былъ чрезвычайно извилистъ, такъ что мы довольно долго провозились здѣсь, то на веслахъ, то отпихиваясь шестами. Перевозчики, видимо, чего-то поджидали и поглядывали на безоблачное синее небо. Погода чудесная. Дулъ легонькій вѣтерокъ. Солнце начало сильно припекать мой затылокъ. Я разлегся на днѣ лодки, подложилъ подъ голову бурку, и съ истиннымъ наслажденіемъ любовался природой. Въ то же время у меня не выходила изъ головы мысль, что я ѣду Эгейскимъ моремъ. Смотря на этихъ усатыхъ, загорѣлыхъ, красивыхъ грековъ-перевозчиковъ, мнѣ думалось: а что, во времена древней славной Греціи, какъ-то тогда жилъ народъ? Какъ онъ одѣвался? Былъ-ли онъ счастливѣе? Или хотя-бы напримѣръ, лодки, паруса, я полагаю, съ тѣхъ поръ, все это осталось безъ перемѣны, все это было такое-же какъ и теперь.

Пока я такъ раздумывалъ, вдругъ вижу, съ перевозчиками точно что случилось. Приподымаюсь, смотрю, мы уже выбрались изъ камышей и ѣхали открытымъ моремъ. Перевозчики бросаются къ мачтѣ, подымаютъ за веревку парусъ, и вѣтеръ мо-

ментально его надуваетъ. Лодка сильно накреняется на лѣвый бокъ. Будучи трусоватъ на водѣ, я боюсь, какъ-бы не опрокинуться. Мнѣ первый разъ въ жизни случилось ѣхать подъ парусами въ такой маленькой лодкѣ, да еще открытымъ моремъ.

Признаться сказать, какъ я ни восторженно былъ настроенъ на счетъ Эгейскаго моря и древней Эллады, но въ эту минуту я сильно пожалѣлъ, что не поѣхалъ въ Дедеагачъ верхомъ, въ объѣздъ, по берегу моря, хотя мнѣ пришлось-бы проѣхать около 120 верстъ. Хоть и далеко, да все надежнѣе. Но такъ думалъ я только нѣсколько минутъ, пока лодка не пошла спокойнѣе. Оглядываюсь назадъ: Эносъ уже теряется въ синеватой дали. Я снова ложусь на прежнее мѣсто. Только рѣзкое жужжаніе воды подъ носомъ лодки, доказывавшее, какъ быстро мы неслись, нарушало окружавшую тишину. Перевозчики, видимо, были совершенно счастливы. Они добились того, что имъ требовалось. Весла убраны, сами они усѣлись около мачты, въ полъоборота ко мнѣ, изрѣдка самодовольно поглядываютъ въ мою сторону и тихо переговариваются. Грести не нужно, вѣтеръ работаетъ. Въ эту минуту одинъ изъ лодочниковъ наклоняется, тихонько тянетъ за бичевку, и на носу взвивается еще одинъ небольшой парусокъ! Лодка неожиданно зарывается носомъ въ воду, еще сильнѣе накреняется, и мы совершенно бокомъ, едва едва, ну на палецъ не зачерпывая воды, съ удвоенной быстротой несемся по лазурной поверхности моря. Я съ замираніемъ сердца лежу и уже совершенно забылъ думать объ Элладѣ. Всѣ мои мысли направлены на то, какъ-бы Господь вынесъ меня поскорѣй на сушу.

ГЛАВА IX.

Дедеагачъ.

ГЕ, ФЕРЕДЖИКЪ *), кричитъ одинъ изъ перевозчиковъ и показываетъ мнѣ рукой на горизонтъ.

— Дедеагачъ? спрашиваю я и всматриваюсь вдаль.

— Дедеагачъ, Дедеагачъ-Фереджикъ! повторяетъ тотъ.

Дѣйствительно, будто изъ синеватаго облака, темный берегъ начинаетъ выростать передо мной. Только тутъ я понялъ, съ какой быстротой неслись мы. Чрезъ полъ-часа я уже началъ различать бѣлыя зданія, а еще минутъ черезъ десять мы уже подъѣзжали къ чистенькому, новенькому, совершенно утопавшему въ зелени, Дедеагачу.

Море коварная стихія, ну дунь посильнѣе вѣтеръ, лодка на бокъ, и пошелъ-бы ко дну раковъ кормить. Такъ размышлялъ я, подымаясь на набережную Дедеагача, и первое, что вижу— большая тѣнистая роща, гдѣ длинными бѣлыми рядами раскинулся лагеремъ первый дивизіонъ нашего полка.

---

[1]) Дедеагачъ по турецки Фереджикъ.

Казачьи палатки привѣтливо выглядывали изъ-за толстыхъ вѣтвистыхъ деревьевъ и какъ-бы приглашали взойти въ нихъ. Направляюсь туда. Сначала идутъ все казачьи палатки, низенькія, не офицерскія, такъ называемыя «тантабри», приставленныя одна къ другой, онѣ имѣли видъ длинныхъ, низенькихъ сплошныхъ шатровъ.

Я всегда былъ очень радъ видѣть нашихъ терцевъ, въ особенности, послѣ долгой разлуки. Въ настоящее же время я не видалъ ихъ уже мѣсяца четыре. Поэтому, проходя мимо лагеря, я чувствовалъ, какъ сердце мое билось значительно сильнѣе обыкновеннаго. Въ то же время я полагалъ, что и казаки очень рады будутъ моему пріѣзду. А между тѣмъ, на дѣлѣ, что-то этого не замѣчаю. Вонъ казакъ въ рубахѣ, заправленной въ черные ластиковые шаравары, идетъ съ котелкомъ въ рукѣ. Онъ увидалъ меня, быстро наклоняется и пропадаетъ куда-то. Рядомъ, изъ другой палатки, торчатъ штукъ 5—6 босыхъ ногъ, слышны говоръ и смѣхъ. На мгновеніе въ дверцахъ показывается коротко остриженная голова, усатое лицо, и опять также быстро прячется. Ноги подбираются.

Вонъ знакомый казакъ Ткаченко, высокій, здоровый брюнетъ, съ подстриженной бородкой, идетъ съ торбой въ рукѣ. Я хорошо помню его. Онъ былъ одно время у меня вѣстовымъ.

— Здорово Ткаченко! весело говорю ему.

— Здравія желаемъ, ваше высокородіе! отвѣчаетъ тотъ, пялитъ на меня глаза и останавливается какъ истуканъ.

— Ты какъ сюда попалъ? Къ штабу прикомандированъ?

— Такъ точно, ваше высокородіе.

— Что же, тутъ лучше чѣмъ у меня?

— Такъ точно!

— Веселѣе?

— Такъ точно!

Съ Ткаченко никогда не стоило говорить. У него одинъ отвѣтъ: «такъ точно», и больше вы отъ него ничего не добье-

тесь. Казакъ онъ былъ, какъ говорится «ничего себѣ»—но лѣнивъ страшно. Вотъ и теперь, ну посмотрите, пожалуйста, что у него за щеки. Точно пузыри налились. А глазныя прорѣзи сдѣлались узенькія-узенькія, точно щелочки.

Казакъ почтительно пропускаетъ меня и затѣмъ продолжаетъ свой путь.

Неподалеку, изъ сада, доносятся смѣхъ и громкіе разговоры. Чей-то знакомый голосъ задорно кричитъ:

— Ты думалъ, какъ и вчера, содрать съ меня тысячу монетъ!.. *) Нѣтъ, шалишь! Самъ безъ портковъ уйдешь отсюда.

— Ай-ай! это голосъ есаула Кобіева, разсуждаю я. Это онъ навѣрно съ хорунжимъ Петровичемъ въ карты дуется. Осторожно заглядываю въ приподнятую палатку,—такъ и есть,— не ошибся. Какъ разъ лицомъ ко мнѣ, мой пріятель Кобіевъ, въ низенькой папахѣ, заломленной на затылокъ, сидитъ по-турецки на складной желѣзной кровати за маленькимъ столикомъ и мечетъ банкъ. Огромныя уши его просвѣчиваютъ на солнечный лучъ, пробивающійся между вѣтвями деревьевъ и кажутся совершенно кровяными. Черный бешметъ разстегнутъ, и изъ-за бѣлой рубахи обнажилась мохнатая грудь. Кобіевъ казался утомленнымъ, вѣроятно, отъ безсонной ночи. Влѣво отъ него, тоже лицомъ ко мнѣ, стоитъ въ синемъ бешметѣ прапорщикъ милиціи Гогоридзе, грузинъ, лѣтъ 40, прикомандированный къ нашему полку, тоже большой любитель картишекъ. Росту онъ былъ громаднаго. Въ плечахъ, что называется, косая сажень. Мѣдно-красное, загорѣлое лицо его точно лѣсомъ обросло широчайшей бородой-лопатой огненнаго цвѣта. Маленькая папаха съ чернымъ верхомъ тоже на затылкѣ. Онъ широко разставилъ ноги, обутыя въ стоптанные чувяки, и глубокомысленно слѣдитъ за игрой. Лѣвая рука его на ручкѣ кинжала, а въ правой онъ держитъ толстый янтарный мундштукъ

---

[1]) Монета на Кавказѣ значитъ рубль.

съ дымящейся папиросой. По временамъ Гогоридзе беретъ мундштукъ въ ротъ, затягивается и пропускаетъ дымъ черезъ ноздри. Потъ выступилъ сквозь его бешметъ, и на спинѣ, и на плечахъ, обширными темными пятнами.

— А-а-а! наконецъ пріѣхалъ! весело кричитъ Кобіевъ, какъ только увидалъ меня и продолжаетъ метать.

Петровичъ стоитъ ко мнѣ спиной, въ своей сѣренькой черкескѣ, опершись руками о столъ, гдѣ лежала груда кредитныхъ бумажекъ, въ перемежку съ золотыми монетами. Онъ весь погруженъ въ исходъ игры. Очевидно, что отъ того, куда упадетъ завѣтная карта, направо или налѣво, для него зависѣло многое.

Но вотъ Петровичъ видитъ меня, машетъ рукой и улыбается. Вмѣсто улыбки, на его, всегда веселомъ лицѣ, появляется какъ будто гримаса. Ротъ сильно искривляется.

— Эге, мой милый, должно быть тебѣ плохо, коли некогда со мной и поздороваться,—думаю я и невольно останавливаюсь ожидать конца игры. Въ палаткѣ тишина. Слышно только шуршаніе картъ. Кобіевъ все такъ же сосредоточенно продолжаетъ открывать карту за картой; Гогоридзе глубокомысленно созерцаетъ играющихъ, а Петровичъ уперъ глаза на карты и точно застылъ.

— Эхъ-ма! радостно оретъ Кобіевъ и вскакиваетъ съ кровати. Вотъ она! милая! На-ка возьми, выкуси ее! грубо и съ какимъ-то несвойственнымъ ему злорадствомъ кричитъ онъ и тычетъ картой въ самый носъ окончательно оторопѣвшему Петровичу. Затѣмъ бросаетъ карту на землю, весело ерошитъ заразъ обѣими руками свои курчавые волосы, отчего уши его кажутся мнѣ въ эту минуту еще длиннѣе, и съ жадностью начинаетъ огребать со стола кредитки и золотые въ карманы своихъ синихъ рейтузъ.

Кобіевъ, вѣроятно, для того, чтобы не походить на азіята, ходилъ всегда въ синихъ рейтузахъ.

— Го-го-го! медленно, съ разстановкой гогочетъ прапорщикъ-грузинъ и съ сожалѣніемъ поглядываетъ на Петровича.

— Сэм-сотъ ма-нетъ *ад*-ной кар-той у-билъ! многа дэ-нэгъ! ма-ла-дэцъ Кабіевъ! ей Бо-гу, ма-ла-децъ! восклицаетъ онъ, какъ бы въ утѣшеніе проигравшему,—флегматично продуваетъ мундштукъ и, не простившись ни съ кѣмъ, наклоняется и незамѣтно шмыгаетъ изъ палатки. Гогоридзе, въ противуположность своей серьезной представительной фигурѣ, былъ великій болтунъ и сплетникъ. Поэтому, разсуждаю я про себя, онъ, вѣроятно, не замедлитъ разблаговѣстить по лагерю о случившемся.

Бѣдный Петровичъ положительно растерялся: лицо поблѣднѣло и вытянулось, ротъ искривился еще болѣе. Онъ какъ-то тупо моргалъ глазами, неестественно улыбался и все что-то рылся пальцами въ своемъ маленькомъ карманчикѣ на груди черкески, подъ газырями, гдѣ онъ обыкновенно пряталъ золотые во время игры. Но тщетно шарилъ онъ ихъ тамъ,—они давно изсякли.

Наконецъ товарищъ мой приходитъ въ себя, подбѣгаетъ, и мы обнимаемся.

— Ну, что, надолго къ намъ пріѣхалъ? Какъ Оскаръ Александровичъ поживаетъ? спрашиваетъ онъ, стараясь быть спокойнымъ. Но не успѣлъ я отвѣтить, какъ Кобіевъ, спрятавъ деньги въ карманъ, громко восклицаетъ:

— Ну, господа! Пора обѣдать! Пойдемте! Дроздовскій звалъ сегодня! Затѣмъ, обращается къ проигравшемуся хорунжему и нравоучительнымъ тономъ говоритъ ему:

— Слушай, Петровичъ! Брось играть! Или, помяни мое слово, не сносить тебѣ твоей глупой башки! и грозитъ ему пальцемъ такъ близко къ носу, что тотъ машинально прикрываетъ лицо ладонью. Послѣ чего дружески обхватываетъ меня за спину, и мы вмѣстѣ выходимъ изъ палатки.

Вотъ, думаю я, что за нахалъ этотъ Кобіевъ! онъ же обыгралъ бѣднаго Петровича, да онъ же еще его и ругаетъ.

— А я, братъ, на-дняхъ въ Адріанополѣ игралъ, такъ вотъ гдѣ чудеса-то творятся!, весело разсказываетъ мнѣ Кобіевъ дорогою, и, по обыкновенію, приподымаетъ свою низенькую папаху, дабы освѣжить голову.

— А что такое? спрашиваю его.

— Да тамъ, знаешь, много играло, и интенданты, и кавалеристы и артиллерія. Такъ одинъ ротмистръ, эскадронный командиръ, такой бравый молодчина, усищи во-о-о какіе! и онъ показываетъ на четверть отъ носу, какъ заоретъ во все горло товарищу своему, поручику: ставь! ставь! такой-сякой «девятую» лошадь! За восемь получилъ денежки, такъ авось и на девятую выдадутъ! И Кобіевъ отъ души хохочетъ.

Я сразу не могу понять, въ чемъ дѣло, и говорю ему:

— То-есть, какъ же это, девятую лошадь? Тотъ какъ-бы обижается на мою непонятливость и съ досадой объясняетъ:

— Да неужели-же ты не понимаешь? Ну, онъ, значитъ, показалъ, что у него нѣсколько лошадей убито за кампанію. А теперь, какъ только не хва́таетъ деньжонокъ поиграть въ картишки, такъ сейчасъ опять рапортъ командиру полка, что вотъ-де, молъ, имѣю честь покорнѣйше просить ваше высокородіе, сдѣлать зависящее распоряженіе о выдачѣ мнѣ свидѣтельства. И веселый Кобіевъ, размахивая руками, опять заливается—хохочетъ.

Въ эту минуту мнѣ почему-то вдругъ ясно припоминается одна картинка, на которую я въ свое время, по неопытности, не обратилъ никакого вниманія.

Это было, если не ошибаюсь, подъ Плевной. Сидитъ знакомый мнѣ полковникъ, командиръ полка, вечеромъ въ своей палаткѣ за складнымъ столикомъ, безъ фуражки, въ грязномъ суровомъ кителѣ и подписываетъ бумаги. Передъ нимъ на столѣ двѣ свѣчки, бутылка краснаго вина и стаканъ. За стуломъ, спиной ко мнѣ, виднѣется тоже знакомая фигура усатаго адъютанта. Онъ заложилъ, по обыкновенію, правую руку за бортъ

кителя, лѣвую закинулъ за спину, и поджавъ гладко бритую нижнюю губу, внимательно слѣдитъ, черезъ плечо командира, за подписью.

Но вотъ полковникъ останавливается на одной бумагѣ. Адъютанта какъ-будто коробитъ. Полковникъ перечитываетъ еще разъ, затѣмъ вдругъ вскакиваетъ со стула и гнѣвно кричитъ охриплымъ голосомъ:

— Какъ! еще лошадь убита! Седьмая! Да это же невозможно! Вѣдь такъ, и вы, и я подъ судъ пойдемъ!.. Полное бритое лицо его съ маленькими Николаевскими бачками краснѣетъ, какъ кумачъ, и все его, такъ и кажется, сейчасъ хватитъ кондрашка.

— Да... вѣдь... уже тѣ прошли!, заискивающимъ голосомъ лепечетъ адъютантъ, топчется, сѣменитъ ногами и конфузливо чешетъ въ головѣ.

— Ну получили за шесть, и будетъ!, вскрикиваетъ командиръ; но затѣмъ, по своей-ли чрезмѣрной добротѣ, или просто по недостатку характера, снова садится за столъ, предварительно наливаетъ себѣ вина, выпиваетъ, задумчиво скребетъ затылокъ, беретъ перо, перечитываетъ бумагу разъ, перечитываетъ два, и—и подписываетъ.

Адъютантъ, счастливый, уходитъ къ себѣ въ палатку, уже заранѣе предвкушая удовольствіе заполучить 120 монетъ.

Дроздовскій сидѣлъ вмѣстѣ съ другими офицерами на разостланныхъ буркахъ возлѣ своей палатки. Тутъ я нашелъ почти всѣхъ своихъ товарищей. Тутъ-же былъ и мой другъ, новый завѣдующій хозяйствомъ, хмурый Павелъ Ивановичъ, и вѣчно веселый, пышащій здоровьемъ, Иванъ Леонтьевичъ, и мой пріятель, полковой адъютантъ Ляпинъ.

Товарищи увидѣли меня и бросаются здороваться. Разумѣется, дружба дружбой, а служба службой: я прежде всего

рапортую командующему полкомъ о своемъ прибытіи, и затѣмъ уже обнимаюсь съ товарищами.

Заглядываю въ палатку къ Дроздовскому, смотрю, кто-то спитъ.—А это еще кто тамъ!, спрашиваю я.

— Оставь! это Пригорковъ!, отвѣчаетъ Ляпинъ. — Онъ уже нагрузился.—При этихъ словахъ я вспоминаю, что̀ за прелестный это былъ мальчикъ, всего годъ тому назадъ. Онъ прибылъ къ намъ въ полкъ въ концѣ іюня, прямо со школьной скамьи, когда мы стояли подъ Ловчей, на р. Осмѣ. Было-ли ему тогда 20 лѣтъ, сомнѣваюсь. Попалъ онъ въ сотню къ Дроздовскому. Тогда онъ еще и въ ротъ не бралъ вина. Пригорковъ былъ очень красивъ собой. Брюнетъ, стройный, лицо бѣлое, нѣжное, еще не успѣвшее загорѣть. Черные усики едва-едва пробивались. Въ особенности онъ былъ хорошъ, когда, случалось, во время кутежа, развалясь на буркѣ, въ синемъ бешметѣ, отороченномъ серебрянымъ галуномъ, подпѣвалъ онъ своимъ молодымъ симпатичнымъ голосомъ нашу любимую «командирскую».

И что-же! Не прошло 3-хъ мѣсяцевъ, какъ Дроздовскій встрѣчаетъ меня, и не безъ гордости объявляетъ, что его «мальчикъ», какъ онъ называлъ Пригоркова, перепиваетъ его. И дѣйствительно, когда мнѣ пришлось, вскорѣ послѣ того, увидать Пригоркова, такъ я просто ахнулъ, такъ онъ измѣнился. Лицо опухло, подъ глазами образовались отеки, самые глаза сдѣлались безсмысленными, голосъ осипъ, пальцы на рукахъ раздулись и налились какъ перчатки. Самъ онъ сдѣлался какой-то флегматичный, неповоротливый, и все лицо постоянно потѣло. Однимъ словомъ — пропалъ человѣкъ. А жаль, очень жаль, славный былъ малый!

Но оставимъ высыпаться Пригоркова и вернемся къ компаніи.

Немедленно раскинули еще двѣ бурки, и мы всѣ разсѣлись въ кружокъ.

Широкоплечій хозяинъ, съ польской рѣденькой бородкой на

красномъ жирномъ лицѣ, осипшимъ голосомъ предлагаетъ мнѣ рюмку водки. На его бычачьей шеѣ, воротъ чернаго бешмета далеко не сходится, вслѣдствіе чего полная бѣлая грудь очень ясно выглядывала изъ-за пунцовой канаусовой рубахи. Остальные гости, кто въ черкескахъ, разстегнутыхъ на распашку, кто въ однихъ бешметахъ. Только одинъ Петровичъ, вслѣдствіе проигрыша, что-ли, застегнутъ на всѣ крючки. Въ это время смотрю, вылѣзаетъ изъ палатки Пригорковъ. На немъ черный ластиковый бешметъ. Лицо заспанное. Прежней симпатичной, юношеской красоты и слѣда нѣтъ. Онъ, вѣроятно, забылъ, что мы уже давно не видались, безучастно протягиваетъ руку и гнусливо говоритъ:

— А-а-а, ты пріѣхалъ, здравствуй! И только. Онъ такъ втянулся въ свой образъ жизни, что явись къ нему въ эту минуту хоть отецъ родной, онъ и его, мнѣ кажется, встрѣтилъ-бы тѣми-же словами.

Пригорковъ не безъ гордости садится рядомъ съ хозяиномъ, наливаетъ себѣ полную рюмку водки, точно также, какъ и достойный учитель его, закидываетъ голову назадъ, вливаетъ въ горло и, не глядя ни на кого, жадно принимается за ѣду, одной ложкой и изъ одной тарелки съ хозяиномъ. Въ это время казакъ ставитъ на столъ громадную бутыль съ краснымъ виномъ.

Въ Дедеагачѣ вино было недорого и хорошо. Разговоры, смѣхъ и шутки пошли непринужденнѣе. Я сижу противъ Дроздовскаго. Возлѣ меня Ляпинъ, а рядомъ съ нимъ, положивъ голову на его колѣни, расположился Павелъ Ивановичъ. Онъ уже началъ пунцовѣть. Я нѣсколько разъ замѣчалъ, что мой почтеннѣйшій Павелъ Ивановичъ, во время попоекъ, всегда уляжется на колѣни къ тому, къ кому онъ въ это время питалъ особое расположеніе. Дроздовскій послѣ выпивки становился сумрачнѣе, сердитѣе и даже свирѣпѣе. Павелъ Ивановичъ, напротивъ, дѣлался веселѣе, разговорчивѣе и даже готовъ былъ лобызаться съ первымъ встрѣчнымъ.

— Ну что, казаки не жалуются на меня? говоритъ онъ и самодовольно крутитъ свой длинный черный усъ. Я, конечно, не желая нарушать его веселаго настроенія, успокоиваю и говорю:

— Ничего, все, слава Богу, благополучно.

— Еще бы! Какого имъ рожна нужно! Три ведра споилъ! огрызается мой старый товарищъ. Въ тонѣ его голоса чувствовалась какая-то затаенная злоба на казаковъ, и онъ, точно будучи не въ силахъ перенести такого тяжелаго воспоминанія, прибавляетъ крѣпкое непечатное словцо. Въ отвѣтъ на это Ляпинъ шепчетъ мнѣ что-то на ухо, но я ничего не могу разобрать, такъ какъ одновременно съ этимъ раздается хриплая команда Дроздовскаго: «Пѣсенниковъ сюда»! Слышно, какъ за палаткой кто-то бросается исполнять приказаніе командующаго полкомъ. Смѣхъ и говоръ смолкаютъ. Проходитъ порядочно времени, а пѣсенниковъ все нѣтъ. Дроздовскій начинаетъ злиться, глаза наливаются кровью. Поддерживаемый подъ мышки Пригорковымъ, онъ тяжело подымается и пошатываясь скрывается за палаткой. Доносится его хриплая брань и какой-то шумъ. Разсерженный командиръ возвращается и снова грузно опускается на свое мѣсто.

— Задалъ онъ дежурному трепку, шепчетъ мнѣ Ляпинъ на ухо. Но едва успѣлъ онъ это выговорить, какъ за моей спиной внезапно раздается:

— Съ краевъ полуночи,
На полдень далекій.

. . . . . .

Оглядываюсь, смотрю, человѣкъ десять пѣсенниковъ уже собрались въ тѣсный кружокъ, какъ разъ возлѣ гостей, испуганно поглядываютъ въ нашу сторону и торопливо принимаются пѣть. Къ нимъ, изъ рощи, одинъ за другимъ подбѣгаютъ товарищи и присоединяются къ пѣнію. Вонъ и зурнистъ бѣжитъ, на ходу прилаживая свой инструментъ ко рту, боясь потерять

лишнюю секунду. Онъ осторожно проталкивается въ средину круга, искоса упираетъ глаза въ нашу сторону и старательно принимается дудить.

Я страшно любилъ казачьи пѣсни и въ особенности зурну. Поэтому, послѣ долгой отлучки, съ великимъ наслажденіемъ вслушиваюсь въ знакомые звуки.

Но не пропѣли они и половины пѣсни, какъ снова раздается знакомый, хриплый голосъ подгулявшаго командира:

— Командирскую-у-у!

И знакомая пѣсня, дружно подхватываемая двумя десятками здоровыхъ голосовъ, далеко оглашаетъ окрестности. Городскіе жители, въ фескахъ и безъ фесокъ, даже дамы подъ ручку съ кавалерами, собираются въ кучки по близости отъ насъ, и съ любопытствомъ вслушиваются въ казачьи пѣсни. При видѣ постороннихъ зрителей, энергія пѣсенниковъ удваивается, да и самая «командирская» замѣтно имъ по «душѣ».

— За-но-чуй ка-за-че-нко,
За-но-чуй со-мно-ю,

сильно раздается въ воздухѣ.

— За-но-чуй мо-ло-одень-кій
Хоть но-очку со-мно-о-ою.

При этихъ послѣднихъ словахъ, Ляпинъ какъ-то особенно заерзалъ подъ собой ногами и даже началъ подпрыгивать. Одно онъ забылъ, что Павелъ Ивановичъ покоился на его колѣняхъ.

— .....! лежи смирно!, свирѣпо ругается завѣдующій хозяйствомъ, приподнимаетъ голову, снимаетъ папаху, подкладываетъ ее въ видѣ изголовья и снова засыпаетъ.

Смотрю на Дроздовскаго и не могу вспомнить, кого онъ напоминаетъ. Тотъ сидитъ, ноги калачомъ, и плаксивымъ опьянѣвшимъ голосомъ, совершенно не въ тонъ, распустилъ слюни и тянетъ:

— За-но-чуй моло-о-денькій...

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY

при чемъ склонилъ на грудь отяжелѣвшую голову и машетъ тактъ, подъ самымъ носомъ, жирными отъ шашлыка пальцами.

— А-а-а! вспомнилъ! Вспомнилъ! Ту фарфоровую статуэтку, что я часто видалъ въ чайномъ магазинѣ въ Петербургѣ на Невскомъ. Ее какъ толкнешь, такъ она долго качается.

Уже была ночь, когда мы разошлись спать.

Утромъ, часовъ около десяти, я кончилъ свои дѣла, иду обратно на пристань и нанимаю точно такую-же парусную лодку съ двумя гребцами, какъ и наканунѣ.

Погода великолѣпная. Дуетъ едва замѣтный, попутный вѣтерокъ. На небѣ ни облачка. Воздухъ на столько свѣжъ и чистъ, что просто не надышешься. Солнце ярко свѣтитъ. Мы съ мѣста же подымаемъ парусъ и тихонько трогаемся въ путь. Я надѣялся опять, часа черезъ два, много черезъ три, добраться до Эноса. Но не проѣхали мы и четвертой доли дороги, какъ начинаю замѣчать, что волненіе все усиливается. Оглядываюсь назадъ, Дедеагачъ едва видѣнъ. Смотрю въ сторону Эноса, его и признаковъ еще нѣтъ.

Въ это самое время, точно нарочно, вѣтеръ стихаетъ окончательно, и нашъ парусъ безпомощно заболтался на мачтѣ въ видѣ ненужной тряпицы. Лодочники, съ сумрачными лицами, хватаются за весла и давай грести.

— Ай, ай! восклицаю я, должно быть, ночью былъ сильный вѣтеръ, если море успѣло такъ разыграться. Дѣйствительно, для меня, мало знакомаго съ коварной стихіей, казалось чрезвычайно странно видѣть такія большія волны, когда нѣтъ ни малѣйшаго вѣтра. Такое волненіе у моряковъ называется, какъ я послѣ узналъ, «мертвая зыбь».

Вотъ къ намъ катится волна, да вѣдь какая огромная, право, съ порядочный домъ вышины. Мы быстро и плавно на нее подымаемся, и затѣмъ такъ же быстро опускаемся. Кажется, вотъ-вотъ, насъ захлестнетъ водой, но не тутъ-то было; мы спокойно выплываемъ и катимся съ волны на волну. Эти волны

значительно ниже. Но вотъ опять показывается такая-же высокая, точно какое чудовище, темно-синяго цвѣта, все ближе и ближе, и мы вмигъ опять появляемся на ея вершинѣ, и затѣмъ стрѣлой несемся внизъ. Сначала мнѣ даже нравилось такое взлетаніе съ волны на волну. Но вотъ я начинаю чувствовать какое-то непріятное сосаніе подъ ложечкой, все сильнѣе и сильнѣе. Виски и затылокъ начинаетъ жечь, точно къ нимъ приставлены горчичники. Меня пробираетъ дрожь, въ глазахъ появляются зеленые круги, и я безсознательно валюсь на дно лодки. Мученіе мое продолжается до самаго вечера. Скоро-ли 30 верстъ проѣдешь на веслахъ при такомъ волненіи! Вѣтра же нѣтъ какъ нѣтъ. Я полагаю, что никогда ни одинъ смертный не ожидалъ конца своего путешествія съ такимъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ, какъ я въ этотъ разъ. Боже! съ какимъ наслажденіемъ взиралъ я наконецъ на бѣлыя стѣны Эносскихъ построекъ! Милѣе ихъ мнѣ ничего не было въ эти минуты.

Полуживой, дрожащими ногами вылѣзаю я изъ лодки и даю себѣ честное слово, ежели случится вторично ѣхать въ Дедеагачъ, то уже никакъ не моремъ, а верхомъ по берегу. Оно хотя верстъ сотенка и лишнихъ будетъ, за то живой доберешься.

ГЛАВА X.

Братушки баши-бузуки.

ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ около Эноса, нѣтъ, нѣтъ, да гдѣ-нибудь и прорвется несчастный случай: то турки обидятъ болгаръ, то наоборотъ, болгары ограбятъ турокъ, или сожгутъ турецкую деревню.

Помню, какъ-то рано утромъ, часа въ три, будитъ меня мой Ламакинъ и говоритъ:

— Ваше высокородіе, съ поста казакъ съ донесеніемъ пріѣхалъ, гораздо нужно! И при этомъ суетъ мнѣ записку.

Читаю, — урядникъ съ поста доноситъ, что наканунѣ вечеромъ, было кѣмъ-то произведено нападеніе на турецкую деревню и убито нѣсколько человѣкъ.

Постъ, съ котораго писалъ урядникъ, находился отъ меня верстахъ въ 25, а деревня, гдѣ случилось несчастіе, еще верстъ 5 далѣе. Немедленно же приказываю готовиться первому взводу, и не далѣе, какъ черезъ полъ-часа, рысью направляюсь къ мѣсту происшествія.

Сначала, хотя и въ темнотѣ, но мы быстро подавались по ровной дорогѣ. Далѣе же дорога стала углубляться въ горы.

Начало разсвѣтать. Мы ѣдемъ черезъ ручьи, овраги, съ горы на гору, чрезвычайно неудобно и затруднительно, такъ что мнѣ пришлось нѣсколько разъ останавливаться и подтягиваться, тѣмъ болѣе, что въ незнакомой мѣстности, гдѣ очень часто сновали баши-бузуки, слѣдовало быть осторожнымъ. По сторонамъ виднѣлись, то высокіе тѣнистые дубы, то остроконечные тополи, то низкорослый колючій кустарникъ, и такой частый и непроходимый, что лошадь, наткнувшись на него, точно вкопанная останавливалась, и никакими ударами плети ее невозможно было загнать въ этотъ кустарникъ. Острые какъ иголки шипы его были чуть не въ вершокъ длиною. Но вотъ подымаемся на пригорокъ и, при лучахъ восходящаго солнца, видимъ маленькую деревушку, окруженную горами. Мы рысью подъѣзжаемъ къ деревнѣ. Впереди насъ мчится постовой казакъ. Намъ съ вышины отлично видно, какъ онъ быстро повертываетъ изъ одной улицы въ другую, и затѣмъ круто осаживаетъ коня возлѣ низенькой маленькой деревянной мечети. Слѣдомъ за нимъ, звеня подковами о каменистую почву, взводъ мой шумно скачетъ по безлюднымъ улицамъ.

— Сто-о-ой! слѣ-зай! командую я, поравнявшись съ мечетью, и соскакиваю съ лошади.

Смотрю, какъ разъ посреди улицы, широко раскинувъ руки, лежитъ на спинѣ убитый турокъ. Лицо страшно обезображено. По сѣдой бородѣ можно различить старика. Бритый синеватый черепъ прострѣленъ, и кровавая запекшаяся рана страшно зіяла. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ старика, весь въ пыли, валялся трупъ женщины, одѣтой въ черное. Судя по растрепаннымъ волосамъ и по тому, какъ неестественно находились руки подъ туловищемъ, надо предполагать, что эту женщину, уже убитую, куда-то волокли. Лицо ея было уткнуто въ землю; босыя ноги безпомощно выглядывали изъ-подъ черной юбки. Смотрю впередъ, дальше еще виднѣлось по сторонамъ нѣсколько труповъ.

— Это они, ваше высокородіе, ихъ вотъ здѣсь, въ мечети, въ окошко перестрѣляли, когда они Богу молились, — объясняетъ мнѣ постовой казакъ, подходитъ къ окну мечети и плетью указываетъ на простр'ѣленную ставню, гдѣ виднѣлось нѣсколько пробоинъ отъ пуль. Заглядываю туда—и невольно отстраняюсь. Морозъ пробѣгаетъ по кожѣ. Человѣкъ пятнадцать убитыхъ, старыхъ и малыхъ, лежало въ различныхъ позахъ среди крошечной молельни. Запахъ несся оттуда невыносимый. Я машинально иду по улицѣ возлѣ труповъ и разсматриваю, нѣтъ-ли гдѣ конскихъ слѣдовъ. Нѣкоторые казаки передали лошадей товарищамъ и сами тоже ходятъ между трупами, и съ озабоченными лицами что-то переговариваются.

Солнце только-что показалось изъ-за горъ и ярко освѣтило всю эту трогательную картину. Роса, еще не успѣвшая высохнуть, какъ, на травѣ, такъ и на деревьяхъ, блестѣла кругомъ, какъ драгоцѣнныя каменья. Повсюду валялся разный домашній скарбъ. Оловянные высокіе кунганы, раскрашенные деревянные кальяны, подушки, перины, красныя одѣяла, разбитая глиняная посуда, тюки овечьей шерсти и цѣлыя корзины съ коконами шелковичнаго червя. Ясно было видно, что убійцы-грабители искали денегъ и цѣнныхъ вещей, а то, что имъ было тяжело и несподручно, они побросали.

Пока я это разсматривалъ, мой смѣтливый урядникъ Панчохъ розыскалъ гдѣ-то двухъ турокъ и ведетъ ихъ ко мнѣ. Одинъ старикъ, высокаго роста, еще совершенно бодрый, въ бѣлой чалмѣ, синихъ шаравахъ, толсто перепоясанныхъ желтымъ шерстянымъ кушакомъ. На ногахъ широчайшіе башмаки. За нимъ, уцѣпившись за кушакъ, бѣжалъ мальчуганъ, лѣтъ 8-9. Мальчикъ былъ одѣтъ въ коричневую курточку, бѣлые шаравары, босой. Красная феска очень шла къ его красивому, смуглому личику. Черные, какъ угли, глаза его испуганно на насъ глядѣли. Старикъ быстро подходитъ ко мнѣ, прежде всего беретъ мою руку и подноситъ къ своему лбу. Затѣмъ, убитымъ

отъ горя, дрожащимъ гортаннымъ голосомъ объясняетъ о постигшемъ его несчастіи. При этомъ онъ нѣсколько разъ упоминаетъ слово «булгаръ, булгаръ» машетъ рукой къ горамъ и кричитъ «гельди, гельди» (ушли, ушли). Хотя я уже немного понималъ по турецки и, конечно, разобралъ, что турокъ жаловался на болгаръ, но все-таки, боясь упустить подробности, обращаюсь къ Панчоху, который понималъ по турецки и говорю ему.

— Ну-ка! переведи, что тебѣ старикъ разсказывалъ?

— Онъ, ваше высокоблагородіе, говоритъ, что болгаръ было человѣкъ 30, и все пѣшіе, и что они вечоръ, около заката солнца, напали на нихъ въ мечети, во время службы, и почти всѣхъ перестрѣляли. Въ деревнѣ въ это время оставались одни старые, да малые, молодежь вся была ушедши въ солдаты.—Про солдатъ, Панчохъ, очевидно, выдумалъ отъ себя, такъ какъ почему же въ другихъ деревняхъ я видалъ массу молодежи, почему же тамъ она не ушла въ солдаты! Здѣшняя молодежь, думаю, вѣрно ушла куда нибудь на заработки.

— Вотъ они ихъ перебили, да деньги-то всѣ и ошарили. Старикъ говоритъ, что у него около ста желтицъ унесли!, добавилъ Панчохъ. Послѣднія слова онъ высказалъ съ такимъ сожалѣніемъ, что даже на его бритомъ безучастномъ лицѣ можно было замѣтить неподдѣльную скорбь. Когда Панчохъ показалъ мнѣ рукой къ горамъ, старикъ турокъ замѣтно оживился, глаза его загорѣлись, и онъ глухо опять закричалъ: «гельди, гельди». Видъ его былъ чрезвычайно жалокъ.

— Кто знаетъ, думалось мнѣ, можетъ быть, все его семейство перебито, а самъ онъ, на старости лѣтъ, остался одинъ, да еще ограбленный.—Старикъ, какъ мнѣ казалось, вполнѣ надѣялся, что я, не мѣшкая ни минуты, пущусь въ погоню за болгарами. Но этого, на мой взглядъ, невозможно было сдѣлать по двумъ соображеніямъ: во первыхъ, нападеніе было совершено ровно 12 часовъ тому назадъ, и слѣдовательно разбойники были уже

далеко, а во вторыхъ, они были пѣшіе, и имъ вездѣ была дорога, тогда какъ мы, на лошадяхъ, могли преслѣдовать только по дорогамъ, да и тѣ въ здѣшней мѣстности были едва-едва проходимы. Кругомъ, какъ я уже сказалъ, были такія пропасти и овраги, что цѣлая пѣхотная дивизія могла бы скрыться незамѣченной. А потому, для успокоенія уцѣлѣвшихъ жителей, я оставилъ здѣсь постъ изъ шести казаковъ, а самъ съ остальными пустился шагомъ въ обратный путь.

ГЛАВА XI.

Турки—баши-бузуки.

ВСКОРѢ ПОСЛѢ ЭТОГО СЛУЧАЯ, съ одного изъ постовъ, казаки приводятъ ко мнѣ четырехъ турокъ. Ихъ поймали въ лѣсу съ оружіемъ въ рукахъ. А такъ какъ казакамъ было дано строгое приказаніе всякихъ вооруженныхъ подозрительныхъ лицъ забирать и представлять по начальству, то ихъ, какъ только поймали, безъ дальнихъ разговоровъ, скрутили и привели въ сотню. Меня въ это время не было дома. Вахмистръ распорядился арестовать ихъ и приставить къ нимъ часового. Когда я возвратился, уже было поздно. Казакъ докладываетъ мнѣ объ этихъ туркахъ. Меня точно что толкнуло немедленно же пойти и посмотрѣть, какъ-то ихъ тамъ стерегутъ, тѣмъ болѣе, что мой старый вахмистръ ушелъ домой на льготу, и его замѣнилъ молодой, неопытный. Иду въ сопровожденіи дежурнаго и еще одного казака. На самомъ краю селенія, почти около лѣса, стоялъ, дверями въ поле, небольшой хлѣвъ. Двери были открыты, и на порогѣ сидѣлъ часовой казакъ, маленькій, щедушный, и мурлыкалъ себѣ подъ носъ какую-то пѣсенку. Мнѣ,

въ полумракѣ, виднѣлись на свѣтъ только его папаха, бурка и винтовка. Осторожно заглядываю въ двери. При свѣтѣ сальнаго огарка, горѣвшаго въ углу хлѣва, вижу четыре фигуры оборванцевъ турокъ. Они сидѣли рядомъ другъ возлѣ друга, совершенно свободные, поджавъ свои босые ноги, и тихо о чемъ-то толковали. Одинъ изъ нихъ мнѣ въ особенности врѣзался въ памяти.—Плечистый, здоровенный, черные борода и усы настолько густы, что рта не видно, только бѣлые, какъ рѣпа, зубы изрѣдка блестѣли. Голова обмотана какимъ-то тряпьемъ. Поверхъ рубахи надѣто что-то въ родѣ жилетки. Онъ изрѣдка поглядывалъ изъ подлобья на часового и что-то тихонько, гортанно, говорилъ товарищамъ.

Я былъ пораженъ безпечностію моего вахмистра. Ну возможно-ли, думаю, оставлять такихъ молодцевъ несвязанными, подъ присмотромъ одного часового, да еще такого плюгаваго. Да ежели бы этому здоровенному турку вздумалось напасть на моего часового, такъ тотъ, отъ одного тумака, полетѣлъ бы кверху тармашками, вмѣстѣ со своей винтовкой. А пока казакъ пришелъ бы въ себя—бѣглецовъ и слѣдъ простылъ.

Немедленно посылаю казака за вахмистромъ и наказываю прихватить веревокъ.

Вскорѣ турки были основательно перевязаны, приставленъ строгій караулъ, а на утро ихъ, подъ сильнымъ конвоемъ, отправили въ Эносъ къ мѣстному начальнику.

ГЛАВА XII.

Въ гостяхъ у турокъ.

ПОМНЮ, РАЗЪ ОБѢДАЛИ У МЕНЯ мои товарищи: Шанаевъ, Гайтовъ и Абессаловъ. Мы весело разговаривали. Вдругъ, видимъ въ концѣ улицы сначала густую пыль, а затѣмъ стали ясно обрисовываться всадники, такъ человѣкъ 7—8.

— Это турки, господа! ей-Богу, турки! Къ намъ въ гости, знакомиться! радостнымъ голосомъ кричитъ Шанаевъ и устремляется къ воротамъ. Онъ ужасно любилъ всегда все необыкновенное. Я бросаюсь надѣвать черкеску. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ, вся кавалькада останавливается около нашего дома.

Три офицера, смуглые, съ черными усами, въ черныхъ мундирахъ съ золотыми пуговицами, съ достоинствомъ слѣзаютъ съ лошадей. Я не столько обращаю вниманіе на турокъ, какъ на ихъ лошадей. У старшаго изъ нихъ, помню, былъ отличный сѣрый, въ яблокахъ, жеребецъ, должно быть, арабской породы. Особенно поразили меня въ этой лошади величина

ноздрей и замѣчательный оскалъ зубовъ. Кромѣ того, ноги у него были такъ стреножены, что онъ могъ ходить только иноходью.

Къ офицерамъ подскакиваетъ ихъ конвой и съ почтеніемъ принимаетъ лошадей.

Я встрѣчаю гостей насколько возможно любезно.

Вскорѣ мы уже сидѣли на балконѣ и разговаривали, какъ старые знакомые. Мнѣ очень помогли въ этомъ случаѣ мои товарищи, которые, хотя и съ трудомъ, но все-таки могли изъясняться по турецки.

Мы угощали ихъ пловомъ, то-есть варенымъ рисомъ съ курицей, и затѣмъ былъ поданъ шашлыкъ. Отъ вина гости тоже не отказывались.

Часовъ въ шесть вечера, мы разстались друзьями. Гости, уѣзжая, пригласили насъ къ себѣ.

На другой день, около полудня, мы отправляемся къ туркамъ, въ сопровожденіи трехъ казаковъ. Турецкій лагерь былъ верстахъ въ десяти. Погода стояла превосходная. За полъ-версты до лагеря, насъ встрѣчаетъ офицеръ съ нѣсколькими всадниками, и очень любезно провожаетъ до палатки своего начальника. Капитанъ или, какъ его называли, «бимъ-паша», почтенный высокій старикъ, съ подстриженной сѣдоватой бородкой, радушно вводитъ въ свое помѣщеніе. Полъ весь устланъ цыновками и маленькими паласами [1]). По стѣнамъ кое-гдѣ развѣшены ковры.

Не успѣли мы хорошенько оглянуться, какъ среди палатки ставятъ низенькій круглый столикъ съ различными кушаньями, преимущественно разными кашами. Хозяинъ привѣтливо предлагаетъ намъ рукой сѣсть вокругъ стола по турецки. Я сколько, ранѣе того, ни старался, не могъ пріучить себя такъ сидѣть: у меня сейчасъ-же начинало ломить колѣни, такъ что я растя-

[1]) Паласъ—маленькій коверъ.

гиваюсь во всю длину, чѣмъ не мало затрудняю прислуживавшихъ солдатъ.

Изъ множества кушаньевъ, которыми насъ угощали, мнѣ въ особенности понравились шарики, сдѣланные изъ какой-то крупы, въ родѣ нашей смоленской, замѣчательно вкусные.

Во время обѣда въ дверцы палатки безцеремонно заглядывали любопытныя лица солдатъ, но офицеры живо ихъ прогоняли.

Послѣ обѣда, къ намъ подсаживаются два турецкихъ солдата-музыканта. Одинъ изъ нихъ началъ играть на глиняной свистулькѣ, похожей на окарино, а другой просто на горшкѣ, въ родѣ тѣхъ, которые у насъ употребляются подъ молоко, только безъ дна. Верхъ горшка былъ обтянутъ пузыремъ, какъ барабанъ, и музыкантъ, послюнивая безпрестанно свой большой палецъ правой руки, ударялъ имъ по поверхности пузыря и тѣмъ вызывалъ монотонные звуки. Вмѣстѣ съ окарино выходило что-то довольно сносное, но крайне однообразное.

Около часа музыканты играли намъ, причемъ гнусливо подпѣвали. Хозяинъ и другіе турки, присутствовавшіе при этомъ, внимательно слушали, изрѣдка прихлопывали въ ладоши и покачивали головами.

Надоѣла намъ, русскимъ, эта музыка ужасно. Когда-же они кончили, я не безъ удовольствія вынулъ полуимперіалъ и далъ имъ. Музыканты ушли очень довольные.

Часовъ въ шесть вечера мы дружески простились и уѣхали во свояси.

ГЛАВА XIII.

Кузнецовъ изъ гвардіи.

КАКЪ-ТО ПОСЛѢ ОБѢДА, мой Ламакинъ докладываетъ мнѣ, что прибылъ казакъ изъ гвардіи.

— Пускай войдетъ,—говорю ему.

Входитъ громаднаго роста конвойный казакъ, красавецъ, съ большой черной окладистой бородой. Синяя гвардейская черкеска ловко обхватывала весь его могучій станъ. Вытянувшись во фронтъ у дверей хаты, онъ, видимо, ожидалъ моего привѣтствія.

— Здорово! говорю ему.

— Здравія желаю, ваше высокоблагородіе! отвѣчаетъ тотъ такимъ густымъ басомъ, что у меня отъ удовольствія мурашки забѣгали по спинѣ. Вотъ такъ голосина, думаю, такого баса ни въ одной сотнѣ не будетъ, какъ у меня. Затѣмъ у насъ начинается слѣдующій разговоръ.

— Какъ твоя фамилія?

— Кузнецовъ, ваше высокоблагородіе,—при чемъ, какъ-бы сознавая, что его сильный голосъ чрезчуръ подѣйствуетъ мнѣ на ушную перепонку, слегка прикрываетъ ротъ ладонью.

— За что-же тебя махнули изъ гвардіи?

— Напраслина, ваше высокоблагородіе.

— Какъ напраслина? отвѣчай толкомъ?

— Напраслина, ваше высокоблагородіе! продолжаетъ твердить мой гвардеецъ такимъ убѣдительнымъ серьезнымъ тономъ, что я уже начинаю сомнѣваться въ справедливости наказанія.

— Жида поранилъ! ваше высокоблагородіе! вдругъ точно выпаливаетъ онъ.

— Какъ жида поранилъ? Вотъ такъ напраслина! говорю ему въ недоумѣніи.—Разскажи, какъ было дѣло?

Кузнецовъ съ тѣмъ-же невозмутимымъ видомъ и самымъ наивнѣйшимъ тономъ разсказываетъ мнѣ, что будто-бы онъ шелъ какъ-то зимой въ Петербургѣ чрезъ Неву и на него, на этого, безъ малаго сажень ростомъ, дѣтину набросились два еврея, желая отнять у него кинжалъ и шашку, отдѣланные въ серебро, и что во время защиты онъ одному изъ нихъ пырнулъ кинжаломъ въ животъ, а другой убѣжалъ. Понятно, мнѣ тогда-же показалось страннымъ, что это за смѣлые евреи были, которые позарились на казацкій кинжалъ. Пырнуть кинжаломъ Кузнецовъ конечно могъ, но, вѣрятно, или въ пьяномъ видѣ, или въ припадкѣ бѣлой горячки.

— Что-же, жидъ померъ? спрашиваю я.

— Никакъ нѣтъ, рана легкая была!

— А тебя судили?

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.

— Ну, и къ чему-же приговорили?

— Перевести въ армію, ваше высокоблагородіе.

— Дешево-же отдѣлался! говорю ему! Ну ступай въ сотню, да пришли мнѣ вахмистра.

Кузнецовъ ловко поворачивается и уходитъ, замѣтно смущенный тѣмъ, что не могъ убѣдить меня въ своей правотѣ.

Впослѣдствіи я былъ очень доволенъ этимъ гвардейцемъ. Онъ былъ краса моихъ пѣсенниковъ, и во время похода всегда

находился у меня подъ рукой, для передачи какихъ-либо приказаній. Какъ-бы сотня, во время движенія, сильно ни растянулась, стоило мнѣ только приказать Кузнецову крикнуть вахмистра, какъ уже его голосъ далеко гудѣлъ и въ самыхъ послѣднихъ рядахъ, изъ устъ въ уста передавался знакомый возгласъ:

— Вах-ми́с-тра! вах-мис-тра!

ГЛАВА XIV.

Набѣгъ въ Родопскія горы.

ИЗЪ ЧЕРКЕСКІОЯ перешли мы въ Карагачъ, гдѣ стояли долго, пожалуй, мѣсяца три.

Разъ какъ-то, вечеромъ, собрались ко мнѣ офицеры Лукоморской сотни: Кобіевъ, Тугіевъ, баронъ фонъ-Гагенъ и еще нѣсколько человѣкъ. Конечно, появились пѣсенники. Послали въ духанъ за виномъ. Растянули на балконѣ бурки и поставили свѣчи подъ стеклянными колпачками. Какъ уже былъ Ноябрь мѣсяцъ, то всѣ одѣты по осеннему: кто въ шубѣ, кто въ пальто, а кто, просто, закутался въ бурку. На дворѣ разложили костеръ. Пѣсенники запѣли свои пѣсни, а у насъ начался любимый разговоръ: долго-ли мы тутъ простоимъ, и когда уйдемъ на Кавказъ.

— И странное дѣло! восклицаетъ Кобіевъ, уже нѣсколько осипшимъ отъ вина голосомъ, сидя на корточкахъ въ своемъ черномъ ластиковомъ бешметѣ.

— Всѣ ноютъ: домой—домой, точно у нихъ дома ни вѣсть что! А пріѣдетъ домой—и жрать нечего! То-ли дѣло здѣсь!

говоритъ онъ, обращаясь ко мнѣ. Моли Бога, чтобы намъ простоять тутъ до весны,—вотъ-бы денегъ-то накопили!

— Да что ты такъ радуешься? отвѣчаю ему.

— Какъ что! да развѣ ты не понимаешь, что такого мѣста какъ Карагачъ, далеко не сыскать. Вонъ, смотри-ка, у васъ во второй сотнѣ! Тамъ лошади съ голоду дохнутъ, кормить нечѣмъ,—самана, и того нѣтъ; справочныхъ денегъ не хватаетъ! А у насъ здѣсь рай земной. Ты знаешь, продолжаетъ онъ, на моемъ покосѣ еще 70 стоговъ сѣна непочатыхъ стоитъ. Я строго приказалъ вахмистру караулить, чтобы изъ жителей никто и близко не смѣлъ подходить къ нимъ. А у тебя еще больше осталось. — Ты, братъ, ей Богу, обдѣлилъ меня, — съ улыбкой добавляетъ онъ.

— Тэ-бѣ, Кабі-евъ, все ма-ля! Вѣдь у-зе ти ско-пиль восми-над-цать ти-сяць, це-го тэ-бэ ес-це! растягивая слова, своимъ азіатскимъ акцентомъ восклицаетъ его субалтернъ Тугіевъ, красивый брюнетъ съ орлинымъ носомъ. Онъ лежалъ на животѣ, въ синемъ ватномъ бешметѣ и бурачныхъ сапогахъ. Въ его восклицаніи ясно слышался намекъ, что, молъ, пора и честь знать, дай и другимъ нажить. Но Кобіевъ не изъ такихъ, чтобы его можно было скоро урезонить, и онъ продолжаетъ свое.

— А ячменя! Да у насъ до Новаго года хватитъ; безъ копѣечки проживемъ; развѣ что казакамъ, да вахмистру маленько придется роздать, какъ домой пойдутъ, а то всѣ фуражныя цѣликомъ останутся. Вѣдь, милый ты мой, 65 руб. серебромъ на каждую лошадь! Да еще изъ нихъ половину золотомъ. Сосчитай-ка, сколько въ мѣсяцъ на 130 придется?.. Карандашикъ есть?.. кричитъ онъ.

— Да полно ти сцитать-то! затѣмъ цто-ли присель сюда! восклицаетъ Тугіевъ и выведенный изъ терпѣнія настойчивостью своего командира, повертывается на спину и принимается нервно оглаживать свою кругло-остриженную бородку. Тугіеву, очевидно, страшно надоѣли всѣ эти безконечныя вы-

численія. Ему, какъ субалтерну, очевидно досадно было смотрѣть, какъ его командиръ клалъ въ карманъ тысячи, а ему изъ нихъ и гроша не попадало.

Разговоръ нашъ, какъ то незамѣтно, мѣняется, и переходитъ на Донскихъ казаковъ, которыхъ Кобіевъ почему-то недолюбливалъ и всегда смѣялся надъ ними.

— Ахъ, господа, кажется никогда мнѣ не забыть! внезапно распалившись, восклицаетъ Кобіевъ, вскакиваетъ на ноги, растопыриваетъ ихъ и въ то же время подпирается фертомъ. Это была его любимая поза, когда онъ хотѣлъ что-либо разсказать съ особеннымъ стараніемъ.

— Случилось это еще весной въ позапрошломъ 1877 г. Мы только что подошли къ Дунаю и остановились лагеремъ верстахъ въ 5-ти отъ Зимницы. Войска готовились къ переправѣ. Такъ вотъ, сидимъ это мы, офицеры, такъ человѣкъ 7—8 у самой дороги и разговариваемъ. Вечеръ превосходный, теплый. Солнышко готовилось закатиться. Вдругъ смотримъ, ѣдетъ это рысцей, стоя на стременахъ, «Гаврилычъ» [1]). Ближе-ближе, видимъ самое жало у его пики, которое, собственно говоря, и должно представлять грозу для непріятеля, презабавно моталось на древкѣ во всѣ стороны.

— А вѣдь вамъ извѣстно, что эти господа не признаютъ никакого начальства, кромѣ своего, и всѣхъ прочихъ офицеровъ зовутъ «сяповскими», восклицаетъ Кобіевъ презрительнымъ тономъ.

— Такъ вотъ-съ, самый этотъ «Гаврилычъ» весь въ пыли, усы черные, волосы тоже черные, длинные, чуть не до плечъ, близехонько останавливаетъ коня и гнусливо кричитъ намъ:

— А что, станичнички, не слыхали-ли, скоро-ли миръ будетъ? При этомъ Кобіевъ отлично передразниваетъ «Гаврилыча».

---

[1]) Донскіе казаки величаютъ другъ друга „станичниками“, и терпѣть не могутъ, когда ихъ назовутъ «Гаврилычемъ».

Мы всѣ дружно хохочемъ.

— А? Какъ вамъ нравится? Еще и война не начиналась, а онъ уже о мирѣ спрашиваетъ! съ досадой восклицаетъ Кобіевъ.

— И вѣдь шельма прекрасно знаетъ, что тутъ все офицеры сидятъ! Хоть бы онъ на секунду руку ко лбу поднесъ.

— Ну, что-же ты ему отвѣтилъ? кричу я.

— А такъ пугнули, что онъ не зналъ, какъ и съ мѣста ускакалъ, только пыль поднялась изъ-подъ копытъ, — сердито добавляетъ разсказчикъ.

— Ти луци разскази про летучку! смѣясь проситъ Тугіевъ. Онъ подложилъ подъ голову руки и, растянувшись на мягкой буркѣ во всю длину ногъ, замѣтно благодушествовалъ. По его лицу видно было, что онъ уже заранѣе смаковалъ удовольствіе услыхать знакомый ему смѣшной разсказъ.

— Ахъ! да, да! я и забылъ совсѣмъ! съ оживленіемъ восклицаетъ сотенный командиръ и, продолжая стоять въ своей торжественной позѣ, приподымаетъ, по своему обыкновенію, папаху для освѣженія головы и снова надѣваетъ ее.

— Какъ то, тоже подъ вечеръ, пріѣзжаетъ къ намъ «Гаврилычъ» съ летучкой [1]), слѣзаетъ съ коня, привязываетъ его къ дереву, и направляется къ командиру полка. Тотъ жилъ въ маленькой румынской хатѣ. Отдалъ это онъ свою летучку, выходитъ къ лошади и хочетъ садиться, — вдругъ, вижу, снова возвращается къ командирской хатѣ. Что такое, думаю, ему надо? Слѣжу за нимъ: вотъ онъ наклоняется къ окну, сначала пристально всматривается, прикрывшись съ боковъ руками, чтобы не отсвѣчивало, затѣмъ осторожно стучитъ пальцемъ по стеклу и кричитъ въ носъ:

— Ва-ше вы-со-ко-ро-діе, а ва-ше вы-со-ко-ро-діе! сча-ст-ли-во ос-та-вать-ся!

---

[1]) Летучкой назывался конвертъ, или вообще какая-нибудь экстренная бумага, или записка отъ начальства, которая всегда присылалась съ Донскимъ казакомъ.

— Ха, ха, ха! снова и еще дружнѣе хохочемъ мы, Тугіевъ же отъ удовольствія даже ногами заболталъ.

— Это онъ, изволите-ли видѣть, вспомнилъ, что не попрощался съ командиромъ, такъ вотъ и вернулся,—дурака строить,— злобнымъ голосомъ добавляетъ Кобіевъ, и, въ довершеніе разсказа, сердито сплевываетъ на сторону.

Костеръ ярко вспыхиваетъ и освѣщаетъ лица пѣсенниковъ. Вонъ Кузнецовъ, осадившійся нѣсколькими чарками чихиря, сбычившись и искоса поглядывая на запѣвалу Бабенко, ждетъ своей очереди, чтобы пустить басистую октаву и покрыть ею дребезжащій голосъ запѣвалы. А сухощавый, добродушный Бабенко, послѣ круговой чарки, уже снова становится въ свою обычную позицію: ногу впередъ, лѣвую руку запихиваетъ за ремень при кинжалѣ, а правой приготовляется дирижировать.

Фигура его была далеко не казистая: высокій, тощій, съ узкой впалой грудью, лицо блѣдное, онъ представлялъ совершенный контрастъ съ здоровеннымъ Кузнецовымъ; голосъ его хотя и дребезжалъ, но былъ довольно симпатичный.

Бабенко бойко оглядывается на товарищей, откашливается, и, какъ бы вдохновившись, затягиваетъ мою любимую пѣсню:

— За Дунаемъ, за рѣ-ко-о-ой
Казаки гу-ля-а-а-ютъ,
И ка-ле-но-ю стрѣ-ло-ой
За рѣ-ку—бро-са-ютъ.

и машетъ рукой, чтобы товарищи подхватывали. Но пѣсенникамъ нечего махать, они хорошо знаютъ свое дѣло.

— Эй, эй, э-э-э-эй, гу-ляй,
За рѣ-ку бро-са-а-ютъ

далеко раздается въ ночной тиши.

Жители, разбуженные неожиданнымъ пѣніемъ, повышли изъ хатъ въ своихъ бѣлыхъ рубахахъ и столпились вокругъ казаковъ, чтобы послушать пѣніе.

Пѣсенники кончаютъ. Запѣвало переводитъ духъ, наклоняется и обтираетъ свое потное, блѣдное лицо полою черкески.

Я какъ-то уже говорилъ, что не могъ много пить и на всѣхъ попойкахъ всегда воздерживался. На этотъ же разъ, ко мнѣ такъ пристали товарищи, что я поневолѣ выпилъ лишнее. Какъ я ушелъ къ себѣ, когда разошлися гости—ничего не помню.

Просыпаюсь, смотрю сквозь завѣшенное буркой окно, солнце уже на полдень. Голова болитъ жестоко; ну, думаю, придется проваляться цѣлый день въ постели,—и снова закрываю глаза.

Мнѣ мерещатся пѣсенники: вонъ Бабенко задралъ голову кверху и тянетъ самую любезную сотенную пѣсню, въ которой рисуется идеалъ казачьей жизни, и которую я просто не могъ переносить по ея банальности. Вотъ уже въ ней ничего казацкаго не было.

— Жена, дай ча-а-ю съ сухарями,
Жена, дай тру-у-убку съ табакомъ.....

И не странно-ли.....

Голова моя такъ и трещитъ отъ боли, а языкъ точно наперекоръ болѣзни, бьетъ тактъ:

— Жена, дай тру-у-убку съ табакомъ!...

Плохо дѣло, думаю про себя, нехорошо. Какъ это я такъ оплошалъ?....

Въ это время смотрю, вбѣгаетъ мой Ламакинъ, въ своемъ полиняломъ синемъ бешметѣ, и поспѣшно подаетъ конвертъ.

— Нарочный изъ штаба привезъ, — говоритъ онъ, и безъ церемоніи сдергиваетъ съ окна бурку.

Читаю, и опрометью, вскакиваю съ постели. Въ бумагѣ говорилось, чтобы, съ полученіемъ сего, немедленно выступить съ вѣреннымъ мнѣ дивизіономъ къ назначенному пункту, около Родопскихъ горъ, гдѣ и соединиться съ другими войсками. Черезъ часъ весь мой дивизіонъ, то-есть моя сотня, и Ша-

наева, въ полномъ составѣ, уже выступалъ съ пѣснями, изъ Карагача къ Родопскимъ горамъ. Кобіевъ съ товарищами далеко провожалъ насъ. Одновременно съ нашимъ выступленіемъ, онъ получилъ предписаніе перейти изъ Карагача на другую стоянку.

Вскорѣ намъ пришлось переправляться черезъ Марицу на маленькомъ паромѣ.

Въ это время года Марица необыкновенно полноводна; кромѣ того частыя мельничныя плотины спираютъ воду, вслѣдствіе чего мутная желтоватая вода быстро несется, мѣстами образуя, среди русла, бѣшеные водовороты. Берега Марицы здѣсь крутые, иловатые и поросли на значительномъ пространствѣ сплошными тутовыми рощами. Далѣе, къ Родопскимъ горамъ, идетъ открытая равнина, верстъ, пожалуй, на десять ширины. Подъ самыми горами виднѣлся городокъ Суфли.

Пока я стоялъ и наблюдалъ за переправой казаковъ, вдругъ вспомнилъ о томъ, какъ утромъ болѣла моя голова, и какъ я, положительно, не могъ ею шевельнуть отъ боли. И что же, въ настоящую минуту я былъ совершенно здоровъ. Изъ этого случая я вывелъ заключеніе, что лучшимъ средствомъ отъ головной боли можетъ служить какой-нибудь испугъ, или внезапная сильная забота.

Дивизіонъ переправился черезъ Марицу благополучно, и, часамъ къ шести вечера, мы прибыли къ назначенному пункту.

Всего въ отрядѣ участвовало, ежели не ошибаюсь, восемь казачьихъ сотенъ, баталіонъ пѣхоты и полубатарея 4-хъ фунтовыхъ орудій.

На другой день мы рано утромъ пошли въ Родопскія горы.

Не стану описывать подробно этого набѣга, на то есть исторія, а постараюсь изобразить только тѣ картины, которыя наиболѣе подробно остались въ моей памяти.

Хотя время, какъ я уже сказалъ, было осеннее, и растительность уже утратила свою прелесть, но все-таки, по качеству почвы и по породѣ деревьевъ, можно было судить, что край здѣшній богатый.

Нѣкоторыя деревни были расположены въ такихъ тѣсныхъ ущельяхъ, и за такими густыми лѣсами, что приходилось пробираться чуть не ползкомъ, по извилистымъ, узенькимъ тропинкамъ, у подножія отвѣсныхъ дикихъ скалъ.

5-ть часовъ утра. Разсвѣтаетъ. Нашъ маленькій отрядъ выстраивается за небольшимъ селеніемъ, которое мы наканунѣ заняли и сожгли. Хотя пожаръ продолжался всю ночь, но многія хаты горѣли еще довольно сильно. Вонъ, невдалекѣ, черепичная крыша длиннаго сарая съ грохотомъ проваливается и густые клубы чернаго дыму, вмѣстѣ съ пламенемъ, пробиваются въ отверстіе, и съ шумомъ и трескомъ высоко взвиваются къ небу, сопровождаемые тучею яркихъ искръ. При этомъ видѣ, «у-р-рра-а», хотя и сдержанное, но довольно ясное, раздается въ рядахъ казаковъ.

— Смирно! командую я.

Начальникъ отряда, полковникъ N, рысью проѣзжаетъ вдоль фронта и глухо, монотонно, здоровается съ людьми. Ему, очевидно, холодно. Онъ весь какъ-то съежился, неловко прикрываетъ свою сѣрую черкеску черной буркой и въ то же время разглаживаетъ рукой, скомкавшуюся во время сна, сѣдоватую бородку.

Отрядъ трогается. Впереди рысью, дабы забрать приличную дистанцію, выѣзжаетъ человѣкъ шесть казаковъ въ разъѣздъ. Я—невольно любуюсь, какъ ихъ воинственныя фигуры, съ ружьями въ рукахъ, въ широкихъ черныхъ буркахъ, мало по малу теряются изъ глазъ въ легкомъ утреннемъ туманѣ.

Вотъ уже прошло болѣе 15-ти лѣтъ со времени Турецкаго похода, а я такъ свыкся, такъ полюбилъ Терскихъ казаковъ, что и теперь, когда вижу Терца, то мнѣ невольно хочется спросить, какой онъ станицы. Кромѣ беззавѣтной храбрости, исполнительности, мнѣ въ особенности нравилось въ нихъ добродуш-

шіе и готовность дѣлиться въ походѣ, съ каждымъ встрѣчнымъ, послѣднимъ сухаремъ. Кромѣ того, смышленость ихъ меня просто поражала.

Помню, какъ-то во время похода, случилось мнѣ двигаться съ сотней вмѣстѣ съ драгунами. Тѣ шли въ авангардѣ. Идемъ обширнымъ кукурузнымъ полемъ. День былъ жаркій. Пить всѣмъ страшно хотѣлось. Драгуны идутъ себѣ прямо, дорогой, ничего не подозрѣвая. Какъ вдругъ, позади ихъ нѣсколько моихъ казаковъ круто поворачиваютъ коней и карьеромъ скрываются въ кукурузѣ.

— Что тамъ такое случилось? спрашиваю вахмистра.

— А тутъ, ваше высокоблагородіе, недалече, должно, бахча есть, такъ они за гарбузами поѣхали, спокойно отвѣчаетъ тотъ. И дѣйствительно, не прошло 10 минутъ, какъ они возвращаются съ прекрасными спѣлыми арбузами.

Но вернемся къ разсказу. Итакъ, разъѣздъ скрывается въ утренней мглѣ. За разъѣздомъ трогается моя сотня, затѣмъ, полубатарея 4-хъ фунтовыхъ орудій. Далѣе, если не ошибаюсь, нѣсколько кубанскихъ сотенъ. Въ арріергардѣ шла сотня Шанаева. Отрядъ выступалъ тихо, безъ шума. Намъ предстояло, верстахъ въ 15-ти, занять турецкій монастырь. По слухамъ, въ немъ сосредоточились взбунтовавшіеся жители-турки, подстрекаемые фанатиками муллами. Монастырь, какъ говорили, представлялъ родъ крѣпости.

Дорога прескверная: узкая, каменистая, такъ что въ телѣгѣ здѣсь было-бы и не проѣхать. Сырой воздухъ за ночь пропитался на далекое пространство ѣдкой гарью. Вдали, направо и налѣво, виднѣются вершины горъ, покрытыхъ лѣсомъ. Дорога идетъ сначала по ровной мѣстности, затѣмъ круто спускается, причемъ съ правой стороны образуется отвѣсная скалистая стѣна. И чѣмъ дальше мы подвигаемся, тѣмъ болѣе стѣна эта все возвышается и возвышается. Слѣва же показывается ущелье. Внизу, подъ ногами, въ глубокой кручѣ, блеститъ серебристой

змѣйкой узенькая рѣчушка. Сначала, въ туманѣ, трудно разобрать, что тамъ за рѣкой. Но спустившись немного, вижу, что и тамъ возвышается точно такая же отвѣсная стѣна, какъ и съ нашей стороны.

Что за дикая мѣстность! Издали, казалось, точно эта ничтожная рѣчка раздвинула громадныя скалы и очистила себѣ путь.

Мы довольно долго ѣдемъ ущельемъ вдоль самаго берега, тихо, безъ разговоровъ. Слышится только рѣзкое, непріятное шуршаніе копытъ о мелкіе рѣчные камни, перемѣшанные съ крупнымъ пескомъ. Сзади доносится глухой стукъ и лязгъ орудій. Въ это время ко мнѣ подъѣзжаетъ Шанаевъ. Я какъ сейчасъ вижу его красивую, статную фигуру. На маленькомъ воронымъ турецкомъ маштачкѣ, на плечахъ накинута бурка, обшитая у ворота серебрянымъ шнуркомъ.

— И чортъ знаетъ, куда мы лѣземъ! сонливымъ недовольнымъ голосомъ обращается ко мнѣ мой Индрисъ, при чемъ поправляетъ на головѣ съѣхавшій коричневый башлыкъ, тоже обшитый галуномъ. Затѣмъ достаетъ серебряный портсигаръ и начинаетъ крутить папироску.

— 12 деревень пожгли; кажется, довольно, чего еще надо! Пятый день и то таскаемся. Ей Богу, совсѣмъ заморилъ лошадей. Твои, вишь, какія еще жирныя! И при этихъ словахъ Шанаевъ сердито тычетъ плетью въ крупъ лошади моего вахмистра.

— Чего ты сердишься! мои такія же тощія, какъ и твои! говорю ему.

— Какой чортъ! Я сегодня же доложу полковнику, что не могу больше такъ гонять по горамъ, всѣхъ лошадей замучишь! И онъ со злостью принимается бить плетью своего маштака, точно тотъ виноватъ былъ въ этомъ.

Тха — тха! внезапно раздаются впереди, за холмомъ, нѣсколько сухихъ отдѣльныхъ выстрѣловъ. Шанаевъ маршъ-маршемъ уносится къ своей сотнѣ. Мой Абессаловъ, красивый и ловкій осетинъ, на своемъ сѣромъ кабардинцѣ, тоже стрем-

главъ мчится впередъ съ первой полусотней. Я же, рысью, въ сопровожденіи нѣсколькихъ казаковъ, въѣзжаю на холмъ и круто сворачиваю съ дороги въ лѣсъ, прямымъ путемъ на выстрѣлы. Какъ только миновали лѣсъ, лошадь моя, точно вкопанная, останавливается на краю глубокаго оврага. Глазамъ нашимъ представляется слѣдующая картина: внизу, подъ ногами, на глубинѣ 30 или 40 саженей, проходилъ широкій каменистый оврагъ. Вправо отъ насъ, близехонько, за оврагомъ, виднѣлось обширное турецкое селеніе. Солнце проглянуло изъ-за тучъ и ярко освѣтило окружающую мѣстность.

Въ это самое время, видимъ, изъ деревни бѣжитъ въ нашу сторону турокъ. Ужасъ отчетливо выражался на его смугломъ лицѣ съ черной бородой. Бѣлая чалма совсѣмъ съѣхала на затылокъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ ружье, а правой тяжело размахиваетъ. Турокъ спускается въ оврагъ, чтобы укрыться. За нимъ, въ полусотнѣ саженей, гонится казакъ, тоже пѣшій и съ ружьемъ въ рукахъ. Казакъ замѣтно настигаетъ турка. Такъ какъ передъ нами былъ обрывъ, и скакать невозможно было, то мы невольно остаемся пассивными зрителями этой охоты человѣка за человѣкомъ.

Со стороны деревни, на самомъ краю оврага, стояло высокое вѣтвистое дерево. Турокъ моментально прячется за это дерево и высовываетъ ружье. Казакъ же, опасаясь турецкаго ружья, припадаетъ въ оврагѣ за большой камень и въ свою очередь тоже цѣлитъ въ турка. Проходитъ нѣсколько секундъ. Но почему-то ни тотъ, ни другой не стрѣляютъ. Я въ удивленіи стою и дожидаюсь, чѣмъ все это кончится.

— Хи-хи! заряженнаго-то ружья одинъ боится, а незаряженнаго-то, такъ оба! восклицаетъ за моей спиной урядникъ Панчохъ. Онъ сразу смекнулъ, въ чемъ дѣло. Оказывается, что у обоихъ ружья не были заряжены.

Въ эту минуту, близехонько, въ тылу у турка, показывается изъ-за рощи, шажкомъ, верховой казакъ, въ буркѣ, папахѣ и

съ винтовкой въ рукѣ. Турокъ этого казака не видитъ. Казакъ-же замѣтилъ турка, — останавливаетъ лошадь и что-то соображаетъ. Затѣмъ, стремительно соскакиваетъ съ лошади, заматываетъ поводъ за ближайшее дерево, бѣжитъ и почти въ упоръ стрѣляетъ турку въ спину. Тотъ грузно валится набокъ. Бѣлый дымокъ быстро разлетается, и я вижу, какъ казакъ, точно кошка на мышь, набрасывается на убитаго. Прежде всего развязываетъ широкій красный поясъ и съ усиліемъ начинаетъ его разматывать. Намъ ясно видно, по мѣрѣ того, что поясъ сматывался, какъ трупъ быстро поворачивался, то книзу лицомъ, то кверху, и какъ при этомъ руки убитаго, будто плети, безсильно мотались. Хотя въ нашихъ сказкахъ и есть выраженіе, «что скоро сказка говорится, да нескоро дѣло дѣлается», тутъ же, можно сказать, дѣло вышло наоборотъ. Я разсказываю гораздо дольше, чѣмъ все это происходило. Размотавъ кушакъ, казакъ опытной рукой щупаетъ его, затѣмъ быстро свидѣтельствуетъ карманы убитаго, суетъ что-то себѣ за пазуху, вскакиваетъ на лошадь и — былъ таковъ.

Но вотъ подбѣгаетъ къ убитому пѣшій казакъ. Пристально смотритъ трупу въ лицо, обходитъ вокругъ, осматриваетъ со всѣхъ сторонъ, подымаетъ какую-то тряпочку, послѣ чего срываетъ со своей головы папаху и съ отчаяніемъ бросаетъ ее на землю.

Пока мы глядѣли на эту картину, казаки не теряли времени. Деревня, запаленная одновременно съ разныхъ концовъ, ярко разгоралась. Намъ отлично было видно, какъ казаки, спѣшившись, бѣгали изъ одного дома въ другой, тащили груды сѣна, соломы, зажигали, бросали въ окна, ломали стекла, двери, и, когда огонь хорошо разгорался, вскакивали на лошадей и переносились на другой конецъ деревни. Ихъ фигуры, въ дыму и огнѣ, казались мнѣ, издали, какими-то злыми геніями.

Монастырь долженъ быть недалеко. Мы спускаемся съ лѣсистой горы, очень крутой. Лошади едва-едва переступаютъ, упираются въ глинистую землю и скользятъ. Я ѣхалъ на ры-

жемъ конѣ, котораго купилъ у Павла Ивановича. Конь былъ хорошъ, только имѣлъ прескверную привычку спотыкаться, такъ что въ настоящую минуту мнѣ приходилось тянуть его изо-всѣхъ силъ за поводья, чтобы не полетѣть черезъ голову. Спустившись до половины горы, мы увидѣли за небольшой лощиной цѣль нашего набѣга — турецкій монастырь, или, какъ турки называютъ, «Тепе». Въ эту минуту съ вершины горы послышались выстрѣлы. Я спѣшиваю свою сотню. Коней берутъ коноводы. Шанаевъ тоже спѣшивается, и мы бросаемся на ура въ гору. Обѣ сотни густой непрерывной цѣпью подвигаются къ монастырю, и, хотя стрѣльбы было не мало, но я, признаться сказать, не видалъ ни одного непріятеля.

Монастырь нашъ. Это было небольшое глинобитное зданіе. Въ серединѣ помѣщалась молельня съ гробницей какого-то мусульманскаго святого. Казаки, конечно, прежде всего бросаются искать сѣна и ячменя для лошадей, мы же, офицерство, съ начальникомъ отряда во главѣ, отправляемся осматривать молельню. Комната, гдѣ помѣщалась гробница, была саженей трехъ длины и сажени двѣ ширины. Самая гробница, съ каменной плитой, находилась посрединѣ комнаты. Полъ кругомъ былъ устланъ чистенькими красивыми цыновками. На гробницѣ стояли разныя вещи: помню, два очень хорошенькихъ, съ надписями по бокамъ, каменныхъ подсвѣчника. Металлическая печать, и какіе-то шлифованные камни, тоже съ надписями. Стѣны комнаты сплошь увѣшаны различными украшеніями; какъ разъ противъ гробницы, висѣли на стѣнѣ громадные турьи рога. Они, замѣтно было, сразу всѣмъ намъ очень понравились. Кромѣ того, висѣли какія-то деревянныя палицы, одна въ видѣ шашки съ тупыми краями, сдѣланная изъ очень крѣпкаго дерева, коричневаго цвѣта. По бокамъ этой палицы были вырѣзаны тоже надписи. Далѣе висѣло, что-то въ родѣ нашего старинаго бердыша, и затѣмъ мѣдный лоточекъ, въ видѣ лодочки. На обоихъ концахъ этой лодочки были вырѣзаны рыбки. Кромѣ

того, виднѣлось множество разныхъ кунгановъ, тарелокъ, платковъ, полотенецъ и тому подобныхъ вещей. Мы долго ходили и разсматривали всѣ эти предметы, и въ то же время рѣшили единогласно, отнюдь ничего здѣсь не трогать. Въ особенности настаивалъ на этомъ начальникъ отряда.

Послѣ того, я отправляюсь съ моимъ болгариномъ проводникомъ осматривать самый монастырь. Оказывается, что онъ со всѣхъ четырехъ сторонъ окруженъ длинными сараями. Въ одномъ изъ нихъ я нахожу какія-то пачки растеній, развѣшанныя для просушки на длинныхъ веревочкахъ. Свѣтъ едва пробивался сюда сквозь узенькія окошечки подъ самой крышей. Проводникъ немедленно-же сообщаетъ мнѣ съ восторгомъ, что эти пачки не что иное, какъ самый превосходный табакъ. Въ доказательство чего беретъ одну пачку, развертываетъ ее и показываетъ мнѣ небольшіе коричневые листочки. Затѣмъ, объясняетъ, которые листы представляютъ первый сортъ, которые второй, и которые третій. Объясняя мнѣ, онъ горячится, размахиваетъ руками, причмокиваетъ и, въ концѣ концовъ, говоритъ, что табакъ этотъ нисколько не уступаетъ въ достоинствахъ лучшему султанскому табаку, который получается изъ провинціи Эниджe. Я, конечно, приказываю ему немедленно отобрать для меня столько самаго лучшаго табаку, сколько возможно было навьючить на двухъ ословъ, которыхъ мой казакъ только-что наканунѣ гдѣ-то раздобылъ.

На другой день, рано утромъ, передъ выступленіемъ, стою я и смотрю, какъ моихъ бѣдныхъ осликовъ навьючиваютъ табакомъ. Проводникъ дѣйствительно постарался. Пачки были отобраны все самыя лучшія. На каждаго осла навьючили пудовъ по шести по крайней мѣрѣ. У бѣдныхъ осликовъ даже ноги подгибались отъ тяжести.

Въ это время, смотрю, казакъ начальника отряда навьючиваетъ на лошадь тѣ самые великолѣпные турьи рога, которые мы видѣли въ молельнѣ.

— Ты что дѣлаешь? Кто тебѣ позволилъ брать ихъ? кричу ему.

— Полковникъ приказали: это и лошадь ихняя, — отвѣчаетъ тотъ и прикладываетъ руку ко лбу. Я моментально иду объясняться. Начальникъ расположился въ маленькой комнаткѣ, рядомъ съ молельней.

Застаю его за любимымъ дѣломъ: онъ сидѣлъ на корточкахъ около открытаго чемоданчика и рылся въ своихъ вещахъ. Мы здороваемся, затѣмъ я спрашиваю его:

— Полковникъ, какъ-же вы увозите турьи рога? Вы-же сами приказывали, чтобы изъ молельни никто ничего не трогалъ! говорю ему.

— Ну, батюшка! отвѣчаетъ онъ серьезнѣйшимъ тономъ,— такую прелесть я никакъ не могу оставить. И мой почтенный командиръ отряда, въ подтвержденіе своихъ словъ, внушительно наклоняетъ голову и разводитъ руками. Послѣ такого отвѣта, я прямикомъ направляюсь къ молельнѣ.

Смотрю, тамъ уже порядочно почищено. Тарелокъ на стѣнахъ и разныхъ сосудовъ уже не существовало; но то, что мнѣ было особенно дорого, еще сохранилось: каменные подсвѣчники съ надписями, палица, сѣкира, мѣдная лодочка и еще кой-какая мелочь. Все это я немедленно-же забираю и сдаю своему казаку.

Этимъ набѣгъ нашъ въ Родопскія горы и закончился. Дальше мы не пошли и вернулись назадъ.

Дня черезъ два или три, мы подходили обратно къ Карагачу. День солнечный, ясный. Несмотря на то, что по вершинамъ горъ виднѣлся снѣгъ, воздухъ теплый, какъ у насъ въ концѣ Августа. Вонъ уже ясно очерчиваются въ Карагачѣ бѣленькіе домики съ красными черепичными крышами. Вонъ, въ сторонѣ, подъ громаднымъ вѣтвистымъ дубомъ, пріютился оди-

нокій двухъэтажный домикъ. Это духанъ [1]), столь хорошо знакомый моимъ казакамъ. Подъѣзжаемъ ближе къ деревнѣ, смотримъ, все населеніе высыпало къ намъ на встрѣчу; всѣ, начиная отъ малыхъ дѣтей, до старцевъ включительно. Всѣ они собрались за околицей и стоятъ густой толпой по обѣ стороны дороги. Казаки завидѣли народъ и подтягиваются.

— Пѣсенниковъ впередъ! командую я.

Десятка полтора казаковъ, въ разношерстныхъ черкескахъ, быстро выдѣляются впередъ: рыжій Ѳедюшкинъ или, какъ его звали казаки, «Хфедюшкинъ», съ выпученными глазами, озабоченно держитъ за спиной неуклюжій тулумбасъ. За нимъ, убійственно тряской рысью, поспѣваетъ молоденькій казаченко, любимчикъ вахмистра. Онъ держитъ зурну около рта и смачиваетъ ее слюнами. Казаченко этотъ былъ прехорошенькій. Лицо матовато-блѣдное, съ чуть пробивающимися черными усиками. Полные щоки покрыты самымъ нѣжнымъ пушкомъ. Ходилъ всегда франтомъ въ ловко сшитомъ черномъ бешметѣ. Чувяки прошиты серебромъ. Спалъ не иначе, какъ въ палаткѣ своего чиновного покровителя.

Нѣкоторое время слышится откашливаніе и отплевываніе.

— Пыль клубится по дорогѣ,
Слышны выстрѣлы порой...

своимъ дребезжащимъ осипшимъ голосомъ запѣваетъ Бабенко.

— Изъ набѣга удалого
Ѣдутъ Сунжен-цы домой...

и только передъ самымъ концомъ заноситъ руку и рѣшительно взмахиваетъ ею.

— Изъ набѣга удало-о-ого
Ѣдутъ Сун-жен-цы домой!

---

[1]) Кабакъ—и вмѣстѣ кофейная.

подхватываютъ 15 голосовъ. Уже хоръ кончилъ, запѣвало начинаетъ новый куплетъ, а могучій басъ Кузнецова все еще тянетъ свою густую октаву. Настроеніе сотни моментально мѣняется. Только что слышавшіеся разговоры прекращаются. Каждому невольно хочется присоединиться къ пѣсенникамъ и подѣлиться съ ними радостью.

Ужасно я любилъ своихъ пѣсенниковъ и ихъ пѣсни. И не за то именно, чтобы они уже такъ особенно хорошо пѣли,—напротивъ, другой едва-едва тянулъ,—а просто за то, что въ какомъ-бы положеніи пѣсенники ни были, холодно или голодно, днемъ или ночью, въ спокойное-ли время или наканунѣ сраженія, все равно, они всегда пѣли съ той-же охотой.

Ближе и ближе подаемся къ деревнѣ. Мужское населеніе, греки, болгары и турки, становятся замѣтно восторженнѣе. Уже доносится ихъ говоръ и восклицанія. Первыми встрѣчаютъ насъ старики и ловятъ цѣловать наши колѣни.

Женщины, гречанки и болгарки, собрались отдѣльно въ сторонкѣ, тоже съ любопытствомъ смотрятъ на казаковъ и разыскиваютъ глазами знакомыя лица. Вонъ и красавица, наша «Дишпинье», ярая брюнетка. Она рѣзко выдѣляется изъ толпы подругъ своимъ стройнымъ станомъ. Лицо у ней замѣчательно нѣжное, бѣлое, съ яркимъ румянцемъ на щекахъ. Большіе задумчивые глаза, казалось, насквозь пронизывали каждаго, кто на нее заглядывался. Простая бѣлая кофта поверхъ рубахи, и пестрая грубая юбка сидѣли на ней какъ-то особенно ловко, и даже, щегольски. Всѣ эти ленточки и украшенія изъ монетъ на шеѣ и въ волосахъ, казались гораздо лучше и красивѣе, чѣмъ у ея подругъ. Мы всѣ ухаживали за ней сколь возможно, но все напрасно. Дишпинье на наши ухаживанья лишь кокетливо улыбалась, при чемъ показывала рядъ бѣлоснѣжныхъ зубовъ. Иногда, въ вечернее время, когда деревенская молодежь гурьбой высыпала за околицу поплясать и попѣть, Дишпинье, по нашей просьбѣ соглашалась спѣть пѣсенку. Пѣла она неважно. Гре-

ческія пѣсни мнѣ показались какъ-то гнусавы, негармоничны и довольно рѣзки.

Въѣзжаемъ въ Карагачъ. Казаки слѣзли съ усталыхъ лошадей, ведутъ ихъ въ поводу и обнимаются съ жителями. Они очень рады возвращенію. Да и какъ не радоваться: всѣ вернулись, слава Богу, живы и здоровы. Сѣдла почти у всѣхъ набиты разнымъ добромъ.

Я, кажется, уже говорилъ про то, что у казака сѣдельная подушка представляетъ самый секретный чемоданъ. Туда онъ прячетъ все самое для него дорогое. Въ нее онъ умудряется положить, другой разъ, такія вещи, что, просто, подивишься. Разъ какъ-то, смотрю, казакъ набиваетъ въ подушки коробки спичекъ.

— Какъ-же ты не боишься спички-то совать; вѣдь онѣ могутъ загорѣться? спрашиваю я.

— Да отчего-же имъ загорѣться, вѣдь имъ тамъ спокойно будетъ! возразилъ тотъ самымъ добродушнымъ тономъ, уминая подушку.

Какъ только я пріѣхалъ домой и слѣзъ съ лошади, немедленно посылаю за табачнымъ мастеромъ съ приказаніемъ захватить съ собой машинку, которою рѣжутъ табакъ.

Приходитъ высокій, худощавый старикъ—турокъ, весь сѣдой, въ ярко-пестрой шерстяной курткѣ и въ широкихъ синихъ шараварахъ, босой. Изъ-за туго обматаннаго черезъ животъ желтаго кушака, выглядывали увѣсистыя серебрянныя часы луковица, на длинной серебряной же шейной цѣпочкѣ. Въ рукахъ онъ держалъ машинку, въ родѣ той, что у насъ колютъ сахаръ. Турокъ почтительно здоровается со мной и прикладываетъ руку ко лбу. Видъ его весьма внушительный. Сразу было замѣтно, что онъ хорошо знаетъ свое дѣло. Я показываю ему тюки съ табакомъ. Мастеръ, опытной рукой, разворачиваетъ пачки, нюхаетъ, щупаетъ листочки, даже на̀ зубы пробуетъ, и въ концѣ концовъ, многозначительно киваетъ головой. Очевидно,

табакъ ему понравился. Затѣмъ, вдругъ начинаетъ что-то быстро говорить и махать мнѣ рукой въ ту сторону, откуда пришелъ.

— Что онъ говоритъ? спрашиваю Абессалова.

— Онъ проситъ васъ позвать мальчиковъ, чтобы помогли разсортировать табакъ.

— Откуда-же я ихъ возьму?

— Онъ совѣтуетъ позвать изъ училища.

Я кивнулъ турку головой въ знакъ согласія.

Черезъ полъ-часа, не больше, смотрю, на моемъ дворѣ сидятъ, ноги калачикомъ, человѣкъ 50 мальчугановъ. Всѣ они были одѣты въ короткія курточки, синіе шаравары, и съ серьезнымъ видомъ, молча, сортировали табакъ. Верхніе листья и самые средніе отбирались прочь, и шли на второй и третій сорта, промежуточные-же между ними составляли первый сортъ. Два дня мальчики работали такъ; старикъ-же турокъ, тѣмъ временемъ складывалъ листья въ пачки и крошилъ ихъ на машинкѣ тонкими, длинными слоями, затѣмъ укладывалъ въ большія жестяныя коробки изъ-подъ леденцовъ, которыя я купилъ въ сосѣднемъ духанѣ.

Табакъ получился превосходный, ароматный, коричневато-золотистаго цвѣта. Всего вышло около двухъ пудовъ перваго сорта и пудовъ шесть второго и третьяго. Оба послѣдніе сорта я раздѣлилъ казакамъ, первый-же сортъ убралъ, чтобы взять съ собой въ Россію.

ГЛАВА XV.

Адріанополь.

ВЪ ДЕКАБРѢ 1878 года, мы перешли въ г. Узунъ-Кепри, что̀, въ переводѣ, означало «длинный мостъ». Городъ этотъ расположенъ верстахъ въ трехъ отъ желѣзной дороги.

Отсюда мы частенько ѣздили въ Адріанополь повеселиться. До него было всего часа три ѣзды. Мнѣ въ особенности интересно было ѣздить туда потому, что тамъ находился нашъ корпусной командиръ генералъ Скобелевъ со своимъ штабомъ.

У СКОБЕЛЕВА.

Какъ-то утромъ, пріѣзжаю я въ Адріанополь, и въ тотъ же день отправляюсь къ Скобелеву. Онъ жилъ въ прекрасномъ домѣ, принадлежавшемъ какому-то пашѣ. Сначала я зашелъ къ штабнымъ офицерамъ. Большинство ихъ было хорошо мнѣ знакомо. Тутъ я встрѣтилъ Баранка, Ушакова, Маркова. Пріятель мой, красивый осетинъ Абадзіевъ, который еще такъ недавно былъ

простымъ всадникомъ, теперь уже разгуливалъ въ офицерскомъ мундирѣ.

Немного погодя, иду къ генералу. Онъ очень обрадовался мнѣ и въ тотъ-же день пригласилъ обѣдать.

Обѣдъ этотъ остался у меня въ памяти, вслѣдствіе того разговора, который я тогда слышалъ.

За столомъ находилось человѣкъ 30. По правую руку отъ Скобелева сидѣлъ казачій генералъ, сѣдовласый старецъ съ грубыми чертами лица. Голосъ имѣлъ чрезвычайно басистый. По лѣвую,—артиллерійскій генералъ.

Денщикъ Скобелева, благообразный полячокъ, въ черномъ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ, первому подаетъ казачьему генералу, какъ старѣйшему чиномъ, блюдо жареной говядины съ макаронами. Кушанье это подавалось у Скобелева чуть-ли не каждый день. Генералъ беретъ кусокъ на тарелку и, разрѣзая его, громогласно восклицаетъ своимъ басистымъ голосомъ, обращаясь къ Скобелеву:

— Вы, ваше превосходительство, ежели когда будете воевать съ нѣмцами, такъ возьмите нашихъ Донцовъ—такъ, очереди двѣ. Вѣдь это составитъ 120 полковъ. Подведите ихъ къ нѣмецкой границѣ и скажите:—«все, что вы ребятушки, возьмете здѣсь, все будетъ ваше; зато ужъ не прогнѣвайтесь, ни кормить васъ не будутъ, ни жалованья не получите»,—и повѣрьте, что всѣ съ радостью бросятся туда, — и сыты будутъ. И старый генералъ, съ трудомъ пережевывая старческими челюстями, попавшійся—было ему жесткій кусокъ говядины, насупивъ свои сѣдыя щетинистыя брови, многозначительно смотритъ на Скобелева, какъ-бы желая узнать, что тотъ скажетъ. Гладко выбритыя, еще здоровыя щеки его, ярко лоснятся.

— Кха, кха, кха! прыскаетъ отъ смѣху нашъ Михаилъ Дмитріевичъ, при чемъ задираетъ голову назадъ и третъ рукой свой большой носъ. Слова заслуженнаго атамана пришлись ему какъ нельзя больше по сердцу.

— Дорого бы я далъ—кричитъ онъ, — взглянуть на Бисмарка и Мольтке, въ то время, когда эта арава броситься разносить ихъ желѣзныя дороги, мосты, телеграфы, склады оружія и запасы хлѣба! Когда такъ сказать,—и для вящшей наглядности онъ, какъ хищная птица, сжимаетъ и разжимаетъ на рукахъ пальцы,—самыя струны, на которыхъ эти господа должны играть, будутъ уничтожены.

Всѣ мы, молодежь офицеры, безмолвно слушаемъ рѣчь своего любимаго начальника.

— Ха, ха, ха! Вотъ-то запоютъ они, когда казаки, ночью, примутся вязать мирныхъ бюргеровъ, да еще, какъ-бы по ошибкѣ, свяжутъ ногу мужа съ ногою жены, и такъ потащутъ ихъ съ мягкой постели. И онъ долго еще смѣется.

Затѣмъ, переходитъ въ серьезный тонъ, и съ одушевленіемъ обращаясь къ казаку-генералу, говоритъ:

— Я вполнѣ согласенъ съ вами, ваше высокопревосходительство, что иначе намъ съ нѣмцами и не справиться. Они задушатъ насъ своею точностью и аккуратностью. Вѣдь если у нѣмцевъ какому-нибудь корпусу назначено въ такой-то день тамъ-то высадиться, то можно поручиться, что, день въ день и часъ въ часъ, корпусъ этотъ будетъ на мѣстѣ. Это не то, что у насъ, гдѣ цѣлыхъ бригадъ по недѣлямъ отыскать не могли.

Обѣдъ кончается; уже и кофе отпили; въ залѣ сильно накурено, а воинствующій «бѣлый генералъ» все еще толкуетъ со своими почтенными гостями, и все на ту же тему, — о завоеваніи нѣметчины казаками.

БЕРЕЙТОРЪ МОРКОВКИНЪ.

Послѣ обѣда отправляюсь осматривать знакомыя мѣста, и въ особенности «конакъ», гдѣ, полъ-года назадъ, мнѣ пришлось пробыть при штабѣ главнокомандующаго около мѣсяца.

На улицахъ все та же грязь. Въ крошечныхъ лавочкахъ видны все тѣ же фигуры торгашей армянъ, въ курточкахъ, перепоясанныхъ кушаками и въ фескахъ.

Въ ноябрѣ здѣсь довольно холодно. Торгаши и мѣнялы сидятъ на табуреткахъ и скамеечкахъ, поджавши ноги и безъ умолку, какъ трещотки, тараторятъ между собой, перебраниваются, и при этомъ грѣютъ руки на «мангалахъ», въ которыхъ ярко раздуваются вѣтромъ горячіе угли.

Подхожу къ «конаку». Вотъ и дверь, вотъ и подъѣздъ, гдѣ я такъ часто встрѣчалъ главнокомандующаго.

Гдѣ-то теперь весь этотъ народъ, всѣ эти служащіе: денщики, кучера, лакеи, которые, поминутно, цѣлыми днями шныряли здѣсь, пили, ѣли, веселились и, конечно, славили турокъ? Гдѣ тотъ молодчина берейторъ Морковкинъ, такой серьезный, высокаго роста господинъ, съ густыми бакенбардами? Онъ такъ степенно разгуливалъ, бывало, мимо оконъ Великаго Князя, засунувъ руки въ карманы, и о чемъ-то всегда глубокомысленно раздумывалъ.

И вотъ вспоминается мнѣ этотъ Морковкинъ у самаго этого подъѣзда, въ черномъ мундирѣ съ синимъ воротникомъ и золочеными пуговицами.

Какъ-то вечеромъ, передъ закатомъ солнца, почтительно подсаживаетъ онъ Великаго Князя на красиваго сѣраго жеребца и помогаетъ ему вдѣть ногу въ стремя.

Позади берейтора стоитъ чрезвычайно красивый кавказскій казачій генералъ, уже совсѣмъ сѣдой. Изъ-за борта его синей гвардейской черкески торчитъ слуховой рожокъ. Я стою возлѣ. Генералъ такъ любовно, такъ заботливо слѣдитъ, какъ подсаживаютъ главнокомандующаго, точно садятъ въ первый разъ на лошадь его собственное дѣтище.

Главнокомандующій уѣзжаетъ въ сопровожденіи нѣсколькихъ ординарцевъ.

Генералъ уже намѣревался уходить, какъ къ нему подхо-

дитъ Морковкинъ. Привычной рукой достаетъ у генерала изъза борта черкески трубу, подъ которую обладатель ея снисходительно подсовываетъ ухо, прикладываетъ ко рту и обиженнымъ тономъ басисто кричитъ:

— Вотъ, ваше превосходительство, кампанія кончается, а я еще ничего не получилъ,—и берейторъ, не отымая трубы отъ рта, тычетъ себѣ пальцемъ по лѣвой половинѣ груди.

Генералъ испуганно отводитъ ухо, прежде всего отбираетъ рожокъ, чтобы тѣмъ самымъ пресѣчь всякую возможность еще что-либо услышать. Пристально смотритъ на просителя, какъбы соображая что̀, и затѣмъ, кричитъ рѣшительнымъ, недопускающимъ никакихъ возраженій, тономъ, какимъ обыкновенно любятъ кричать глухіе:

— Какіе ордена имѣешь?

— Никакихъ не имѣю, ваше превосходительство, сердито отвѣчаетъ тотъ.

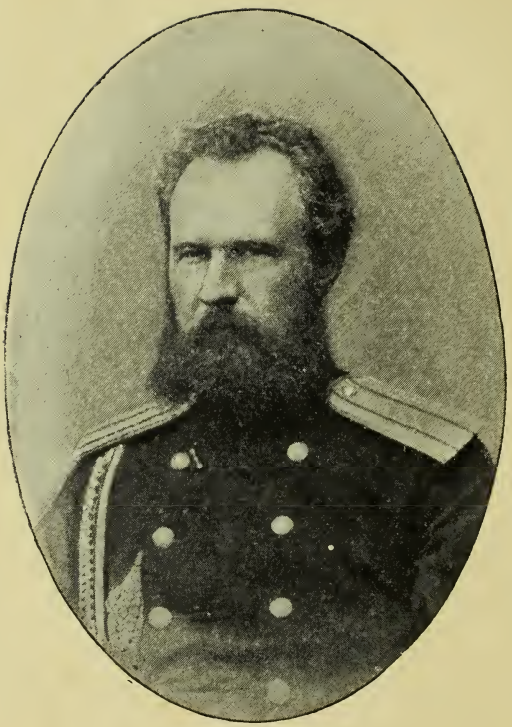
— Ну такъ получишь! Получишь! Разомъ получишь! Анну, 2-й степени!—машетъ берейтору для пущаго успокоенія трубой, такъ близко, что тотъ бѣдный откидывается назадъ, киваетъ головой и, развалистой походкой, быстро улепетываетъ въ подъѣздъ «конака», точно опасаясь, чтобы Морковкинъ не бросился за нимъ въ догонку.

Вотъ тебѣ на! думается мнѣ въ эту минуту. Разомъ Анну на шею! Вотъ такъ ловко! Тѣмъ временемъ, Морковкинъ въ раздумьѣ.

Съ видимымъ недовѣріемъ чешетъ онъ затылокъ и наконецъ медленной поступью направляется во свояси. — Получилъ онъ Анну 2-й степени или нѣтъ, я такъ и не узналъ...

ХУДОЖНИКЪ.

Одновременно съ этимъ, невольно припоминается мнѣ мое дальнѣйшее житье-бытье здѣсь.



Дмитрій Скалонъ
1877–1878 г.

Солнечное утро. Я и мой сожитель, художникъ Капаровъ, прикомандированный къ штабу главнокомандующаго, сидимъ за круглымъ столомъ и пьемъ чай.

Капаровъ былъ чрезвычайно экономенъ: чай пилъ всегда въ прикуску, или, какъ говорится, «съ угрызеніемъ», при чемъ откусывалъ крохотные кусочки сахару.

Комната наша помѣщается въ первомъ этажѣ. Грязная штукатурка съ потолка и со стѣнъ обвалилась, мебели почти никакой, ежели не считать растрепаннаго дивана, изъ котораго отовсюду лѣзла мочала, и одного безногаго стула и стола. Окна выходятъ на просторный дворъ. Въ противоположномъ краю двора видна гауптвахта. Караулъ то и дѣло выбѣгаетъ и строится.

Вдругъ дверь въ нашу комнату широко распахивается, и входитъ молодцеватый полковникъ, Скалонъ, любимецъ и личный секретарь главнокомандующаго. Румяное лицо его гладко выбрито. Самъ онъ весь точно сіяетъ.

Покручивая рыжіе усики, входитъ онъ, въ фуражкѣ, съ тѣмъ самодовольнымъ видомъ и съ сознаніемъ собственнаго достоинства, съ какимъ входитъ начальникъ къ своимъ подчиненнымъ, когда онъ чувствуетъ, что приходъ его будетъ оцѣненъ и доставитъ хозяевамъ особенное удовольствіе. На лицѣ его, казалось, такъ и написано: ну что вы тутъ подѣлываете, мелкота! Вотъ и я къ вамъ зашелъ! Говорите спасибо!

Скалонъ небрежно снимаетъ фуражку и, поколачивая ею за спиной, со свойственной ему ласковой улыбочкой, здоровается со мной за руку.

Художникъ робѣетъ и торопливо встаетъ. Полковникъ здоровается съ нимъ не такъ, какъ со мной, а какъ-то нехотя, мимоходомъ—и затѣмъ, бѣгло оглядывая взоромъ нашу комнату, весело и не безъ фамильярности восклицаетъ.

— Ну-ка, «Капарини», покажи, что ты тамъ намалевалъ!

Капаровъ суетится, застегиваетъ пиджакъ и въ то же время снимаетъ со стѣны походный альбомъ въ парусинномъ перепл-

летѣ, и подаетъ. Скалонъ, будучи немного дальнозоркъ, надѣваетъ на кончикъ носа пенсне, подходитъ поближе къ окну, съ видомъ знатока отводитъ альбомъ на должную дистанцію, и, безпрестанно слюня пальцы, самымъ безцеремоннымъ образомъ начинаетъ перелистывать рисунки.

— Это что? Это какой видъ? раздается въ комнатѣ его отрывочный, звонкій голосъ.—«А-а-а! Это мечеть султана Селима! А Великій Князь гдѣ?»

— Вотъ, вотъ! говоритъ художникъ, стоя за его спиной и искоса, черезъ очки, слѣдитъ за его взорами.

— А-а-а! Да, да! Похожъ, похожъ! Только мало рисунковъ, больше надо! авторитетно восклицаетъ онъ, и, захлопнувъ альбомъ подъ самымъ носомъ художника, дѣлаетъ привычную гримасу, отъ которой пенсне его сваливается съ носу, и, снисходительно простившись съ нами, исчезаетъ изъ комнаты.

Сожитель мой, нѣкоторое время, какъ-бы не можетъ прійти въ себя, но понемногу успокоивается, молча допиваетъ чай, надѣваетъ пальто, сѣрую шляпу, беретъ походный альбомъ, вооружается карандашами, и уныло идетъ разыскивать новыя достопримѣчательности Адріанополя, чтобы увѣковѣчить ихъ на бумагѣ.

НА ОХОТУ.

Вотъ и другая картина.

Раннее утро. Погода пасмурная. Я стою у воротъ «конака» и смотрю на большую улицу. Исподволь склоняясь, она далеко видна. Слякоть страшная. Улица, сколько хватаетъ глазъ, запружена нашими войсками, преимущественно гвардіей, обозомъ, экипажами, заводными лошадьми и разными разностями...

Войска только-что подошли къ Адріанополю и втягивались въ городъ, оборванныя, измученныя, до безконечности грязныя. Не только что у солдатъ, но и у офицеровъ, я видѣлъ, вмѣсто сапоговъ надѣты болгарскіе опанки [1]).

[1]) Башмаки изъ невыдѣланной кожи.

Множество больныхъ, хромыхъ, ковыляло, опираясь, кто на плечи товарищей, кто на палочки.

Вдругъ слышу позади себя крикъ:

— Эй, берегись!

Отбѣгаю въ сторону, смотрю, изъ воротъ «конака», на гнѣдыхъ лошадяхъ, выносятся два нашихъ полевыхъ жандарма, въ синихъ мундирахъ; скачутъ по большой улицѣ и врѣзываются въ толпу усталыхъ солдатъ.

— Сторонись! берегись! слышны ихъ крики.

Я съ замираніемъ сердца всматриваюсь въ эту грустную картину.

За жандармами горделиво выѣзжаетъ изъ воротъ открытый тарантасикъ, запряженный тройкой лихихъ кабардинокъ. Лошадьми правитъ линейный [1]) казакъ. Въ тарантасѣ сидитъ, въ пальто, высокій, сухощавый генералъ съ сѣдыми усами, безъ бороды, съ офицерскимъ Георгіемъ въ петлицѣ и, рядомъ съ нимъ красивый брюнетъ адъютантъ.

При видѣ генерала, я вытягиваюсь и отдаю честь. Вытягиваются и усталые солдаты и офицеры, мимо коихъ, съ громомъ и шумомъ, проносится по неровной, ухабистой мостовой, легкій экипажъ, съ красивыми вельможными сѣдоками.

Въ догонку за лихой тройкой, стоя на стременахъ и прижавшись чуть не къ самой шеѣ лошади, съ гикомъ мчатся два донскихъ казака, а за ними, на длинныхъ смычкахъ, едва поспѣваютъ своры гончихъ, высунувъ свои длинные красные языки.

Генералъ спѣшитъ на охоту за зайцами.

ФОТОГРАФЪ.

Только промелькнула эта картинка, за ней слѣдомъ вырастаетъ новая.

---

[1]) Линейный или кавказскій казакъ.

Время послѣ завтрака. День солнечный. Погода превосходная.

Великій Князь, главнокомандующій, стоитъ на подъѣздѣ конака, въ фуражкѣ, опираясь на трость, въ черномъ сюртукѣ съ Георгіевской звѣздой на груди, и какъ-бы смотритъ черезъ дворъ къ воротамъ.

Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Его Высочества, среди двора стоитъ фотографъ, нагнувшись надъ своимъ аппаратомъ. Онъ закрылся чернымъ сукномъ и старательно наводитъ объективъ на Великаго Князя. Адъютанты и ординарцы смирнехонько стоятъ позади и наблюдаютъ. Я тоже стою между ними. Вонъ, влѣво отъ меня, виденъ сухощавый Струковъ, покоритель Адріанополя. За нимъ, немножко позади, замѣтна самодовольная фигура полковника Скалона; далѣе видны: усатый, стройный брюнетъ князь Оболенскій; рядомъ съ нимъ—поручикъ Дерфельденъ, уланъ блондинъ, съ пріятной улыбкой на лицѣ, — и еще много другихъ.

Въ это время, смотримъ, тихохонько въѣзжаетъ во дворъ, верхомъ, на сѣрой лошади, въ сопровожденіи донского казака, старый почтенный генералъ, какъ лунь сѣдой, въ мундирѣ и шарфѣ. Завидѣвъ главнокомандующаго на подъѣздѣ, онъ торопливо соскакиваетъ съ лошади на руки своего казака, подоспѣвшаго къ нему какъ разъ во время. Отъ усталости, что-ли, генералъ сначала какъ-бы разминается, и затѣмъ прямо идетъ на Великаго Князя.

Его Высочество, стараясь стоять какъ можно смирнѣе, сначала снисходительно улыбается, а затѣмъ, машетъ рукой, чтобы тотъ остановился. Генералъ же, не замѣчая фотографа, воображаетъ, что главнокомандующій зоветъ его, поэтому еще издали снимаетъ со своей сѣдой головы фуражку, почтительно кланяется, и, неловко переваливаясь съ боку на бокъ, торопится навстрѣчу.

Главнокомандующій сердится:

— Стой! Стой! Куда! Остановись! кричитъ онъ наконецъ. А генералъ все раскланивается, да раскланивается.

Ну смѣхъ—да и только! Насилу старика остановили.

НАГРАДНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

А то вотъ и еще сценка.

Часовъ десять утра. Подхожу къ небольшому дому. Недалеко отъ «конака»,—на дверяхъ красуется небольшая, но лаконическая надпись: «Наградное отдѣленіе».

Чье военное сердце усиленно не билось при входѣ въ это отдѣленіе?

Вхожу въ прихожую. Налѣво, на дверяхъ, опять надпись: «Постороннимъ лицамъ входъ воспрещается». Но какъ я временно состоялъ при штабѣ Великаго Князя, то смѣло вхожу въ отдѣленіе. Глазамъ представляется обширная свѣтлая комната. Три большихъ стола и весь полъ завалены кипами бумагъ.

Все это списки и представленія къ наградамъ.

За ближайшимъ столомъ, спиной къ дверямъ, наклонившись надъ бумагами, сидитъ самъ начальникъ наградного отдѣленія, красавецъ брюнетъ, флигель-адъютантъ, полковникъ Дмитрій Петровичъ Кладищевъ, съ густыми бакенбардами съ просѣдью и, какъ смоль, черными усами.

Мнѣ всегда нравилась его прическа. Надо лбомъ вился небольшой кудреватый кокъ, а на вискахъ волосы гладко зачесаны впередъ. Все это придавало его лицу какое-то особое, оригинальное, чрезвычайно симпатичное выраженіе.

Полковникъ меня любилъ.

— А-а-а! Верещагинъ! Заходите, заходите, посидите! кричитъ Дмитрій Петровичъ, здоровается со мной, прерываетъ работу и, размахивая руками, сладко потягивается. Смотрю, щека у него подвязана чернымъ платкомъ.

— Что это у васъ? спрашиваю его.

Въ это время слышу, позади меня кто-то хохочетъ. Оглядываюсь, знакомый мнѣ молодой человѣкъ, помощникъ Кладищева, сидя за столомъ улыбается и немного въ носъ, протяжно, говоритъ мнѣ:

— Вотъ, вы, кажется, уже сотый спрашиваете его сегодня о зубахъ.

Въ это самое время, какъ нарочно, въ комнату входитъ пѣхотный маіоръ, тощій и чрезвычайно вертлявый.

Я зналъ его. Онъ завѣдывалъ хозяйствомъ въ полку. Былъ очень скупъ и вѣчно ходилъ въ одномъ и томъ же истрепанномъ, порыжѣломъ мундирѣ.

Для сегодняшняго же случая онъ замѣтно прифрантился. Мундиръ на немъ былъ новехонькій, даже складки отъ лежанія въ чемоданѣ еще не успѣли разгладиться. Усы прифабрены, щеки выбриты, свѣтящаяся широкая лысина, по самой серединѣ, прикрыта, точно черной лентой, узкой, длинной космой, взятой откуда-то сзади.

Начальникъ отдѣленія будто не замѣчая пришедшаго, весь погружается въ разсматриваніе какой-то бумаги, а самъ третъ рукой больную щеку. Маіоръ, при видѣ его, робко озирается, дружески киваетъ мнѣ головой, какъ-бы для того, чтобы я помогъ ему узнать, что нужно,—слегка откашливается въ кулакъ, и затѣмъ только рѣшительно направляется впередъ.

— Что это съ вами, полковникъ? заискивающимъ тономъ спрашиваетъ онъ.

— Зубы болятъ! отвѣчаетъ начальникъ съ кислой миной, стараясь не раскрывать рта.

— Вы бы, знаете, попробовали это мѣсто іодомъ намазать!— услужливо разсказываетъ мой знакомый и пальцемъ указываетъ въ своемъ беззубомъ рту, гдѣ намазать.

— Да ужъ вы, маіоръ, пожалуйста, оставьте всѣ ваши средства, а лучше прямо скажите, какую вамъ справку сдѣлать?—

нервно восклицаетъ Кладищевъ, очевидно, теряя терпѣніе отъ нескончаемыхъ посѣтителей.

Проситель не только что не смущается такимъ холоднымъ пріемомъ, а, напротивъ, даже радостно вскрикиваетъ:

— Ахъ! Ужъ если возможно, такъ нельзя-ли узнать, — что представленіе обо мнѣ?..

— Прошло — прошло! капризно отвѣчаетъ ему Дмитрій Петровичъ, и не глядя протягиваетъ руку.

Съ восторгомъ ловитъ маіоръ протянутую руку, трясетъ ее, горячо прижимаетъ къ сердцу, послѣ чего, съ сладчавой ужимочкой, кланяется мнѣ, вертитъ головой направо и налѣво, точно шея у него была какая-то резиновая, и съ сіяющимъ лицомъ выходитъ изъ комнаты.

Я вижу, какъ онъ, уже на улицѣ, шевелитъ что-то губами и едва замѣтно креститъ чуть повыше живота.

ГЛАВА XVI.

Татаръ-Базарджикъ.

ВЪ НАЧАЛѢ ІЮНЯ 1879 года, я вторично возвращался изъ отпуска въ Турцію. Въ это время нашъ полкъ стоялъ въ городѣ Татаръ-Базарджикѣ. Полковника Левиса уже не было. Онъ былъ произведенъ въ генералы и уѣхалъ на Кавказъ. Его мѣсто занялъ полковникъ Панинъ. Все это я узналъ еще въ Петербургѣ.

Пріѣзжаю въ Одессу. Здѣсь, въ гостинницѣ, вижу на доскѣ надпись «Панинъ».

— Кто онъ такой? спрашиваю номерного.

— Казачій полковникъ, ѣдутъ-сь въ Турцію! отвѣчаетъ тотъ.

Ну, это вѣрно нашъ командиръ, подумалъ я, и немедленно же отправляюсь ему представиться.

Оказалось, дѣйствительно, мой полковой командиръ. Это былъ высокаго роста господинъ, лѣтъ 45, стройный, пріятной наружности, бороду брилъ, носилъ одни усы. Хотя я былъ принятъ имъ весьма любезно, и полковникъ очень обрадовался мнѣ, въ особенности, какъ попутчику, но все-таки онъ показался значительно суровѣе Левиса.

Генералъ-маіоръ Панинъ.

Утромъ мы сѣли на пароходъ, а на другой день къ вечеру уже были въ Рущукѣ. Городъ расположенъ на крутомъ берегу Дуная. Онъ почти нисколько еще не поправился отъ недавней бомбардировки. Во многихъ домахъ наши снаряды сдѣлали въ стѣнахъ сквозныя пробоины. Просвѣчивая на солнцѣ, онѣ ярко блестѣли и останавливали на себѣ взоры прохожихъ. Нѣкоторыя изъ нихъ были такъ круглы и ровны, что можно было думать, точно онѣ сдѣланы нарочно.

Городъ былъ чрезвычайно оживленъ, и торговля въ немъ, повидимому, такъ и кипѣла.

На другой же день, утромъ, мы отправились дальше и къ вечеру пріѣхали въ Татаръ-Базарджикъ,—глухой маленькій городишко, вдали отъ моря и желѣзной дороги. Остановился я, по обыкновенію, у своего пріятеля, хорунжаго Петровича.

Съ вечера легъ спать довольно рано. Утромъ просыпаюсь— Петровича уже нѣтъ, ушелъ въ канцелярію. Погода чудесная. Открытыя низенькія окна выходили прямо въ садъ. Я одѣваюсь и иду прогуляться.

Мнѣ всегда ужасно нравились въ Турціи сады. Вѣдь вотъ и этотъ садикъ, хотя и невеликъ, а чего-чего только въ немъ нѣтъ! Какихъ деревьевъ не хватаетъ? Вотъ груши, персики, абрикосы; вотъ великолѣпный грецкій орѣхъ, вотъ миндальное дерево, разные ягодные кустарники. И какъ все здѣсь устроено! Какъ тихо, спокойно, какой чудный воздухъ — не вышелъ бы.

Нагулявшись до-сыта, отправляюсь провѣдать товарищей.

Прежде всего иду къ худощавому, тонкому Петру Ивановичу, прикомандированному къ нашему полку. Онъ, оказывается, жилъ какъ разъ черезъ домъ отъ Петровича. Отпираетъ дверь знакомый казакъ въ синемъ полиняломъ бешметѣ.

— Здорово, Корень!

— Здравія желаю, ваше высокоблагородіе!

— Баринъ дома?

— А вышли до канцеляріи, сейчасъ придутъ! Пожалуйте, барыня дома,—отвѣчаетъ тотъ.

— Какая барыня? Неужели ихъ супруга съ Кавказа пріѣхала? съ удивленіемъ спрашиваю я.

Никакъ нѣтъ!—заминается казакъ,—мамзель Роза! онѣ изъ Варны пріѣхали, да вотъ уже другой мѣсяцъ гостятъ.

Пока мы такъ разговаривали, смотрю, черезъ улицу переходитъ Петръ Ивановичъ, въ черномъ ластиковомъ бешметѣ, при кинжалѣ. Онъ былъ раненъ во время войны въ ногу, и теперь шелъ, слегка опираясь на палочку. Онъ издали увидалъ меня, крутитъ свой длинный черный усъ и лукаво улыбается. Мы здороваемся довольно дружески.

— Ну проходи, напьемся кофею! снисходительнымъ тономъ зоветъ меня пріятель, и въ то же время самъ проходитъ впередъ и куда-то скрывается.

Я остаюсь одинъ въ небольшой свѣтлой комнатѣ. Повсюду замѣтно присутствіе женщины. Вотъ на маленькомъ столикѣ соломенная корзинка съ рукодѣльемъ. На подоконникѣ лежитъ шиньонъ рыжихъ волосъ съ воткнутыми шпильками. Владѣтельница, очевидно, не предполагала, чтобы его могъ увидать такой ранній гость. Вонъ, на гвоздикѣ, виситъ шляпка, а рядомъ бѣлая кофточка. Не прошло и минуты, какъ вбѣгаетъ казакъ, торопливо схватываетъ съ окна шиньонъ и пропадаетъ. Такъ, минутъ черезъ десятокъ, двери въ боковую комнату торжественно растворяются, и входитъ Петръ Ивановичъ, а за нимъ субтильненькая, очень недурненькая блондинка, лѣтъ 18, съ розовыми губками и мелкими веснушками на лицѣ. Одѣта въ утренній бѣлый пеньюаръ.

— Позволь представить—мадмуазель Роза,—весело рекомендуетъ мнѣ хозяинъ свою подругу.

Мы знакомимся, усаживаемся за столикъ и начинаемъ весело разговаривать, перемѣшивая русскія и нѣмецкія слова. Хозяинъ, во время разговора, изрѣдка поглядываетъ, то на меня,

то на свою подругу, самодовольно улыбается и продолжаетъ крутить свой длинный усъ. Черезъ нѣкоторое время казакъ подалъ кофе.

Когда я взялъ чашку и началъ пить, то мнѣ невольно пришло на мысль: а что, ежели бы теперь сюда къ намъ пожаловала съ Кавказа законная супружница, достопочтенная Степанида Никитишна, со своими пятью дочерьми—невѣстами и тремя сыновьями кадетами, о которыхъ Петръ Ивановичъ мнѣ такъ часто разсказывалъ? Что бы сдѣлалось съ нимъ? Осталась ли бы на его лицѣ эта самодовольная улыбка?

Мадмуазель Роза весело сообщила мнѣ, что на-дняхъ она ѣздила съ Петромъ Ивановичемъ въ Варну, гдѣ тотъ купилъ ей золотой браслетъ и тальму. Браслетъ былъ у нея надѣтъ и очень красиво блестѣлъ на ея бѣлой нѣжной ручкѣ. Роза, видимо, была совершенно счастлива, и въ душѣ, вѣроятно, молила Господа о продленіи нашей оккупаціи.

— Ты куда отсюда, къ Костѣ? спрашиваетъ Петръ Ивановичъ, когда я взялъ папаху и сталъ прощаться. Пойдемъ, я тебѣ укажу, гдѣ онъ живетъ. Видишь, во-о-нъ его домикъ, вонъ, гдѣ окошки открыты! Только я полагаю, что его барыня еще спитъ. И онъ, замѣтивъ, что я широко открылъ глаза отъ изумленія, улыбается, жметъ мою руку и уходитъ.

— Вотъ тебѣ на! думаю я, направляясь черезъ дорогу. Неужели Костя, этотъ отчаянный наѣздникъ и храбрецъ, тоже попался? А что же его Лизочка во Владикавказѣ, о которой я столько слышалъ отъ него? Что она скажетъ? Значитъ, теперь ее по-боку! Не можетъ быть, онъ такъ ее любитъ.

Другъ мой былъ уже на ногахъ и увидалъ меня въ окошко. Онъ что-то весело крикнулъ мнѣ и скрылся. Вхожу въ калитку. Костя встрѣчаетъ меня на крыльцѣ, радостный и довольный.

— Эхъ, братъ, какую я покажу тебѣ барыню,—Юлію Генриховну, вотъ-то прелесть! говоритъ онъ и безъ церемоніи та-

щитъ меня за руку къ себѣ въ комнату. Здѣсь насъ встрѣчаетъ прехорошенькая брюнетка. Одѣта въ легонькое сѣрое платье. Парочка, видимо, освоилась со своимъ положеніемъ, и поэтому разговоры у насъ пошли разомъ совершенно непринужденно. На Костю съ его подругой было любо смотрѣть; ну точь въ точь молодые.

Юлія Генриховна очень порядочно говорила по-русски и забросала меня вопросами: когда я пріѣхалъ, откуда, что въ Россіи дѣлается, не ждутъ ли опять войны? Когда же я сообщилъ ей, что войны никакой не предвидится, и, что, вѣроятно, мы скоро пойдемъ на Кавказъ, она замѣтно смутилась. Веселое настроеніе ея значительно поубавилось, такъ что я даже пожалѣлъ, что началъ объ этомъ разговоръ.

— Скажи-ка пожалуйста, гдѣ живетъ Ѳедоръ Ивановичъ? спрашиваю Костю, прощаясь съ нимъ.

— Охота тебѣ итти къ нему! недовольнымъ тономъ восклицаетъ онъ. Вотъ ужъ мурло-то подцѣпилъ. Вѣришь ли, голубчикъ, ну чистая обезьяна, да еще и старая. А ужъ влюбленъ какъ въ нее, ну, просто, глазъ не сводитъ. Вѣдь, подумай, человѣку за 60 лѣтъ. Она, просто, какъ всѣ увѣрены, приворожила его. И Костя ведетъ меня къ нему ближайшей дорогой, черезъ сады и огороды.

Ѳедоръ Ивановичъ, вмѣстѣ со своей Дульцинеей, сидѣли на балконѣ, выходящемъ въ прелестный садикъ, и благодушествовали.

Онъ увидалъ меня, спускается съ балкона и идетъ навстрѣчу. Сѣренькій легкій бешметъ его разстегнутъ. Широкіе ластиковые шаравары стянуты на объемистомъ животѣ шелковымъ краснымъ очкуромъ, котораго длинныя кисти ярко выдѣлялись на черномъ фонѣ шараваръ. Съ виду Ѳедоръ Ивановичъ казался весьма суровымъ, а на самомъ дѣлѣ былъ предобрый человѣкъ. Средняго роста, очень широкій въ плечахъ, голова стрижена подъ гребенку, подбородокъ гладкій, лоснящійся. Около ушей виднѣ-

лись маленькія бакенбарды. Ходилъ сбычившись и говорилъ осипшимъ басомъ. Фигурою своею онъ всегда напоминалъ мнѣ Собакевича: неладно скроенъ, да крѣпко сшитъ.

— А-а-а, очень радъ, очень радъ, наконецъ-то пожаловать изволилъ! кричитъ онъ еще издали. Мы обнимаемся, при чемъ, когда я почувствовалъ на своихъ плечахъ его широкія мясистыя ладони, мнѣ показалось, будто я попалъ въ лапы медвѣдя, до того руки его были тяжелы и сильны.

— Что это, Ѳедоръ Ивановичъ, и вы барыней обзавелись? смѣясь говорю я, и головой указываю на собесѣдницу. Что это сдѣлалось со всѣми вами? къ кому ни придешь, все съ барыней, да съ барыней!

— Да вѣдь что станешь дѣлать, живешь, живешь одинъ, да и наскучитъ. Объ отъѣздѣ ничего не слышно,—вотъ мы и обзавелись,—серьезнымъ тономъ оправдывается Ѳедоръ Ивановичъ, и при этомъ, какъ-бы въ доказательство своихъ словъ, такъ больно жметъ мнѣ руки, что я чуть не кричу.

Подымаемся на балконъ. Къ намъ навстрѣчу, съ засученными рукавами своего розоваго ситцеваго платья, подходитъ весьма дородная барыня.

— Guten Morgen, гнусливо говоритъ она, конфузливо присѣдаетъ и протягиваетъ руку.

— Аделаида Карловна, рекомендую, отрывочно знакомитъ Ѳедоръ Ивановичъ. Она у меня хозяйка. Видите ли, вишневое варенье варитъ! разсказываетъ хозяинъ, замѣтно желая выручить свою хозяйку изъ неловкаго положенія. Затѣмъ, рѣшительно добавляетъ: — Она по русски не понимаетъ, что хочешь говори.

Аделаида Карловна была въ полномъ смыслѣ добродушная, раскормленная нѣмка, очень некрасивая. Рыжіе волосы на головѣ спереди жирно намазаны какимъ-то масломъ, а сзади неряшливо собраны и заколоты въ комокъ. Лицо рябое. Носъ и губы толстые. Несмотря на то, что ей уже навѣрно было за

сорокъ, одѣта она въ какой-то фантастическій костюмъ: въ корсажъ съ коротенькой розовой юбкой. Грудь сильно декольтирована. Ноги толстыя, какъ бревна, обуты въ вычурныя высокія ботинки, при чемъ передъ ихъ кокетливо зашнурованъ розовымъ шнурочкомъ. Однимъ словомъ, моя новая знакомка сильно смахивала на тѣхъ шансонетныхъ пѣвицъ, которыхъ всегда можно было встрѣтить во время войны въ Бухарестѣ въ каждомъ хорѣ.

Аделаида Карловна, послѣ нѣкотораго молчанія, снова принимается за свою работу, чистку вишенъ. Хотя еще и не было полудня, но уже становилось жарко. По раскраснѣвшемуся, полному лицу ея текли крупныя капли пота. Спадая на дебелыя плечи, онѣ катились далѣе и оставляли по себѣ темноватыя мокрыя полосы. Ѳедоръ Ивановичъ любовно посматривалъ на свою хозяйку. Хотя я и зналъ о его пристрастіи къ разнымъ сладостямъ, но мнѣ трудно было опредѣлить, что онъ болѣе цѣнилъ въ это время въ своей сожительницѣ: пышныя ли ея прелести, или ея искусство варить варенье?

ГЛАВА XVII.

Кафе-шантанъ.

УЖЕ СТЕМНѢЛО. По песчаной пыльной дорогѣ я съ Петровичемъ тихонько направляемся къ низенькому каменному зданію, гдѣ помѣщался кафе-шантанъ.

По пути къ намъ присоединяются товарищи-офицеры. Кто въ буркѣ, кто въ черкескѣ, а кто въ форменномъ пальто. Входимъ. Довольно просторный залъ тускло освѣщенъ нѣсколькими стѣнными лампами. Въ концѣ зала, на эстрадѣ, возсѣдалъ хоръ пѣвицъ-нѣмокъ, человѣкъ двѣнадцать. Эстрада, для пущаго эффекта, была ярко освѣщена, и блѣдныя личики хористокъ отчетливо выдѣлялись въ общемъ полумракѣ. Пѣвицы весело разговаривали между собой и, очевидно, поджидали насъ. Залъ былъ почти пустой, если не считать нѣсколькихъ болгаръ, одѣтыхъ по европейски, въ сюртукахъ, и сидѣвшихъ за отдѣльнымъ столомъ. На другомъ концѣ эстрады, въ углу, пріютился оркестръ цыганъ-румынъ съ цымбалами и скрипками. Мы разсаживаемся попарно за столики, кто съ кѣмъ дружнѣе.

Съ нашимъ появленіемъ оркестръ немедленно принимается играть свой избитый національный мотивъ. Скрипки визжатъ немилосердно.

Одновременно съ этимъ, у насъ начинаются разговоры. То тутъ, то тамъ слышны возгласы.

— Эй! руманешти! Bier давай!

Сонный румынъ, въ засаленномъ пиджакѣ, едва успѣваетъ исполнять приказанія.

Тѣмъ временемъ нѣмки-хористки, что-то шепчутся, разсаживаются поудобнѣе, всѣ въ рядъ, поближе къ свѣту и, когда цыгане кончили, онѣ дружно начинаютъ свою любимую пѣсню.

«Mein Vater ist ein Lehrer»....

Конецъ каждаго куплета этой пѣсни сопровождался такими дружными взвизгиваніями, движеніями плечъ и всего корпуса, что всѣ мы невольно вторимъ имъ, совершенно забывая, что кафе-шантанъ существовалъ не для насъ однихъ, а и для посторонней публики. Насъ, офицеровъ, сидитъ человѣкъ пятнадцать, посторонней же публики набралось гораздо больше.

Но вотъ мой пріятель Пригорковъ подымаетъ бокалъ шампанскаго и, устроивъ изъ своей ладони родъ рупора, кричитъ осипшимъ голосомъ по направленію къ оркестру:

— Эмма! Хорошенькая брюнетка, въ пунцовомъ шелковомъ лифѣ, сильно декольтированномъ, миловидно улыбается въ сторону Пригоркова и продолжаетъ пѣть.

— Эмма! настойчивѣе раздается тотъ же голосъ. Эмма опять улыбается. Подруги наклоняются и шепчутъ ей что-то на ухо. Эмма покорно встаетъ, спускается по ступенькамъ эстрады и идетъ къ Пригоркову. Хоръ съ небольшими передышками продолжаетъ пѣть одну пѣсню за другой. Залъ наполняется табачнымъ дымомъ. Хлопанье пробокъ, стукъ посуды, шумъ, смѣхъ, разговоры сливаются въ одинъ общій гулъ, за которымъ пѣсни становятся едва слышны.

Вдругъ по залѣ визгливо раздается наша излюбленная пѣсня: «Du-u bist der klei-ei-ne Postillon».

Говорю «излюбленная», потому что рѣдкій изъ насъ не зналъ ее наизусть, до того она прожужжала намъ уши по всей Румыніи, Болгаріи и Турціи.

— Die ganze Welt bereist' ich schon! вторитъ имъ Пригорковъ. Хористки невольно хохочутъ; за ними хохочемъ и мы, и вся прочая публика. Дѣйствительно, невозможно было не разсмѣяться, такимъ серьезнымъ тономъ запѣлъ Пригорковъ, точно онъ пѣлъ по найму, за деньги.

— Gretchen, сюда, komm hier! повелительно раздается знакомый мнѣ голосъ одного сотеннаго командира. Командиръ уже навеселѣ. Онъ сердится. Ему надоѣло сидѣть съ казакомъ-товарищемъ. Его чувствительная натура жаждетъ женскаго сообщества. И вотъ онъ зоветъ знакомую хористку.

Gretchen—смазливенькая дѣвочка, очень худенькая, въ зеленомъ шелковомъ платьецѣ, сильно затянутая въ корсетъ, пугливо озирается на своихъ подругъ. Тѣ, не прерывая пѣнія, киваютъ ей головой въ знакъ согласія. Очевидно, раздавшійся голосъ былъ имъ тоже знакомъ, и онѣ знали, что упорствовать было бы неудобно. Gretchen быстро направляется на голосъ.

Часа черезъ два послѣ нашего прибытія, на эстрадѣ остается всего штучки четыре-пять хористокъ, самыхъ неказистыхъ. Что онѣ пѣли, уже трудно было разобрать.

Въ это время въ залъ входитъ командиръ полка въ черной форменной черкескѣ, съ солдатскимъ «Георгіемъ» въ петлицѣ и «Владиміромъ» на шеѣ. При его появленіи всѣ мы встаемъ. Полковникъ направляется въ нашу сторону. Дорогой со всѣми привѣтливо раскланивается и проситъ садиться.

— Ну, что же, пойдемъ сыграемъ «пятишаровую», картавя говоритъ онъ Петровичу и улыбается.

Петровичъ страшно любилъ играть, и хотя игралъ скверно, но зато готовъ былъ играть цѣлую ночь напролетъ.

Я иду съ ними въ сосѣднюю комнату, гдѣ стоялъ плохенькій биліардикъ съ широчайшими лузами. За нами входятъ еще нѣсколько офицеровъ-зрителей.

Петровичъ замѣчательно смѣшно игралъ: прежде чѣмъ сдѣлать шара, онъ ерзалъ кіемъ по пальцу столько времени, что выводилъ изъ терпѣнія самаго спокойнаго игрока. Но вотъ они играютъ. Петровичу подставка. Желтый шаръ стоитъ у самой лузы. Въ этомъ шарѣ у него партія. Онъ весь дрожитъ отъ радости. Добродушное лицо его широко осклабляется. Бережно загибаетъ онъ полы своей коричневой черкески, чтобы не мѣшали, перегибается черезъ биліардъ и давай ерзать кіемъ.

— Да будетъ вамъ! Вѣдь вы такъ сукно продерете! Чего тутъ стараться, и промахнуться-то нельзя! недовольнымъ тономъ усовѣщиваетъ его полковникъ. Но Петровича не вдругъ урезонишь. Онъ уперъ глаза въ шаръ,—ерзаетъ, ерзаетъ кіемъ, и въ концѣ концовъ киксуетъ.

— Кх-кх-кх, хохочетъ полковникъ. Отъ смѣха онъ даже перегнулся и обхватилъ руками животъ.

Петровичъ конфузливо улыбается, по привычкѣ, судорожно поддергиваетъ локтями, сквозь черкеску, опустившіеся было, отъ такого неожиданнаго казуса, шаравары, и съ новой надеждой принимается мѣлить кій. Игра затягивается.

Было далеко за полночь, когда я, не дождавшись окончанія игры, одинъ выхожу изъ кафе-шантана. Воздухъ чистый. Дышется легко. Кругомъ полнѣйшая тишина. Луна величественно катится по темносинему небу, изрѣдка какъ-бы дозволяя загораживать себѣ на мгновеніе путь легкимъ, какъ дымка, едва замѣтнымъ бѣлымъ облачкамъ. Чуднымъ, пріятнымъ, серебристымъ блескомъ освѣщаетъ она бѣловатыя стѣны домовъ и красныя черепичныя крыши. Свѣтло, какъ днемъ. Мнѣ кажется, я узналъ бы въ лицо человѣка на противоположномъ концѣ

улицы. Надъ тѣнистыми садами, далеко видиѣются остроконечныя вершины стройныхъ тополей. Они, подобно какимъ-то таинственнымъ стражамъ, наблюдаютъ, все-ли кругомъ спокойно. Городъ спитъ глубокимъ сномъ. Даже лая собакъ не слышно.

— Чу! Это что такое? До меня доносятся звуки знакомой казацкой пѣсни. Останавливаюсь, прислушиваюсь. Ближе, ближе. Вотъ уже разбираю слова.

— Ой, да по бережку... За ними въ тишинѣ делеко раздаются въ тактъ гулкіе раскаты тулумбаса.

— У-у-у.

— Да это цѣлый хоръ нашихъ пѣсенниковъ, думаю я. Которой же это сотни?

— А-а-а! вспомнилъ! вспомнилъ!

У Ѳедора Ивановича сегодня пирушка, и онъ, по своей привычкѣ, разводитъ гостей съ пѣснями по домамъ. Производилъ онъ это всегда очень торжественно, не взирая ни на какую погоду и поздній часъ. Бралъ гостя подъ руку,—запѣвало впередъ, зурна и тулумбасъ рядомъ, а за ними и весь хоръ. Доведетъ до дверей, обниметъ, поцѣлуетъ и затѣмъ съ пѣснями провожаетъ другого. Случалось, Ѳедоръ Ивановичъ провожалъ такъ до разсвѣта.

Вотъ, наконецъ, показывается изъ-за угла темная сплоченная толпа нашихъ казаковъ. Они идутъ въ ногу, и дружно, стройно поютъ. Ихъ характерныя фигуры, въ длинныхъ черныхъ широкихъ буркахъ и папахахъ, отчетливо виднѣлись при блескѣ луны.

Хоръ пересѣкаетъ улицу и понемногу скрывается за угломъ.

— У-у-у..... далеко раздается надъ спящимъ городомъ.

— Да похаживала!.. хлестко заливается звонкій теноръ. Вонъ изъ окна пугливо высовывается чья-то голова. Тревожно прислушивается, ворчитъ что-то и прячется. А вонъ тамъ, дальше, выбѣгаютъ двѣ женскія фигуры. Опрометью бросаются онѣ за уголъ, куда скрылся хоръ и черезъ нѣкоторое время тихонько

возвращаются, толкуя что-то между собой. Звуки пѣсни доносятся все слабѣе и слабѣе. Только басистые раскаты тулумбаса нѣтъ, нѣтъ, да и долетятъ по вѣтру до моихъ ушей, совершенно явственно, точно вотъ тутъ и есть. Я прихожу домой и ложусь въ постель. Уже поздно, пора бы спать. Такъ нѣтъ, въ ушахъ все слышится:

— Да похаживала-а!.. а въ глазахъ такъ и мерещится, ярко залитый свѣтомъ серебристой луны, хоръ нашихъ пѣсенниковъ, въ черныхъ широкихъ буркахъ и папахахъ, пересѣкающій улицу. Заснулъ я только на разсвѣтѣ.

ГЛАВА XVIII.

Добруджа.

КАКЪ-ТО ВЕЧЕРОМЪ прихожу домой и узнаю, что за мной только-что присылалъ командиръ полка. Отправляюсь къ нему. Полковникъ встрѣчаетъ съ озабоченнымъ видомъ и объясняетъ, что онъ долженъ послать меня въ Добруджу, на слѣдствіе, по очень важному дѣлу, и показываетъ мнѣ бумагу изъ корпуснаго штаба, а съ ней вмѣстѣ и цѣлую толстую переписку.

Оказывается, что уже около года тому назадъ, вскорѣ послѣ раздѣленія Добруджи на русскую и румынскую, наши посты поспорили изъ-за чего-то съ жителями Румынами, и дѣло будто-бы дошло до драки. Наши никому объ этомъ не дали знать. Румыны-же тотчасъ сообщили въ свой «Букарешти», тѣ въ Петербургъ, изъ Петербурга, дипломатическимъ путемъ, передали въ Константинополь послу Игнатьеву, тотъ командующему войсками графу Тотлебену; оттуда корпусному командиру, и въ концѣ концовъ добрались до нашего полка. Пока все это творилось, прошло, какъ я уже сказалъ,

безъ малаго годъ времени. Изъ дѣла видно было, что наши казаки кого-то обидѣли, но гдѣ и кого, трудно было узнать. Необходимо было проѣхать всю нашу пограничную линію.

На другой день, чуть свѣтъ, сажусь на лошадь и, въ сопровожденіи двухъ казаковъ, отправляюсь въ путь. Дорога вначалѣ шла обширными хлѣбными полями, а затѣмъ степями съ высокой зеленой травой. Къ вечеру доѣхалъ до небольшой рѣчки. Здѣсь я остановился и переночевалъ въ бѣдной румынской хатѣ. Въ первый день я сдѣлалъ верстъ 60. На другой день утромъ, когда выѣхалъ, я замѣтилъ, что мѣстность порядочно измѣнилась: стали появляться холмы, пригорки, овраги. Повсюду была масса травы, самой роскошной. Я ѣхалъ, если только такъ возможно выразиться, по разноцвѣтному ковру съ изумруднымъ фономъ. Такого богатѣйшаго подножнаго корму я давно не встрѣчалъ. Зато жилья почти совершенно не было видно. Что за причина, уже не знаю. Думаю оттого, что нигдѣ не замѣтно было ни рѣчекъ, ни ручьевъ.

Съ водой, должно быть, происходитъ здѣсь не малое затрудненіе, въ чемъ я самъ убѣдился, когда пришлось остановится у колодца, чтобы напоить лошадь.

Къ колодцу былъ прилаженъ воротъ, которымъ добываютъ воду, и затѣмъ разливаютъ ее по длиннымъ желобамъ. Вода находится здѣсь на такой глубинѣ, о какой у насъ въ Россіи, полагаю, и понятія не имѣютъ. Самъ я этого и не зналъ, да казакъ объяснилъ.

— Ваше высокоблагородіе, мы хоша и у колодца, а воды намъ здѣсь не достать, убѣдительно восклицаетъ тотъ.

— Почему это? спрашиваю я.

— Потому веревки нѣтъ, а кромѣ того до воды здѣсь, ваше высокоблагородіе, не добраться: говорятъ, саженей 40, а нѣтъ и 50 будетъ. Я, ваше высокоблагородіе, распрашивалъ въ городѣ хозяина нашего про дорогу. Тотъ бывалъ въ здѣшней сторонѣ, такъ сказывалъ, что только по деревнямъ воды достанете.

Я очень удивился словамъ казака. Подхожу къ колодцу и смотрю, не увижу ли воды. Куда — ничего не видно. Внутреннія стѣны шли въ видѣ уширяющагося кувшина, и выложены были узенькими кирпичиками.

Чтобы узнать, далеко-ли вода, беру камушекъ, бросаю и прислушиваюсь. Проходитъ нѣсколько секундъ, прежде чѣмъ я услышалъ слабый звукъ плеска воды.

— Да, подумалъ я, дѣйствительно, глубина страшная. Ежели есть 50 сажень, какъ говорили казаку, то вѣдь это, значитъ, глубина равняется вышинѣ Исакіевскаго собора, да еще и съ крестикомъ»!

Къ вечеру слѣдующаго дня добрался я до нашихъ постовъ, и отсюда началъ свои розыски.

Долго я не могъ добиться истины и напасть на слѣдъ. Только на другой день, къ ночи, когда уже почти стемнѣло, на одномъ посту казакъ объяснилъ мнѣ, что у него, прошлой осенью, дѣйствительно вышла небольшая ссора съ румыномъ сосѣдней деревни изъ-за топора.

— Топоръ мнѣ, ваше высокоблагородіе, понадобился, дровъ наколоть. Смотрю, сосѣдъ мой, во-о-онъ, что въ той хатѣ живетъ, и казакъ рукой указываетъ на одинъ изъ домовъ, — топоромъ что-то тюкаетъ. Я и попросилъ у него. Тотъ не даетъ, а я отнялъ, да и говорю:

— Чего тебѣ жалко, вѣдь сейчасъ назадъ принесу; — и дѣйствительно, такъ черезъ полъ-часа и отдалъ. А въ деревнѣ и всполошились, сейчасъ своему нàбольшему дали знать, а тотъ на постъ. Должно быть, ваше высокоблагородіе, это самое дѣло и есть, — объяснялъ казакъ. А съ румыномъ этимъ мы и по сейчасъ пріятели, добавилъ онъ.

По его указанію я распросилъ румына, — оказалось дѣйствительно все такъ, какъ разсказывалъ казакъ. Время этого дѣйствія и мѣстность тоже какъ разъ подходили. Румынъ объяснилъ, что онъ въ то время ничего не имѣлъ противъ казака,

но что сосѣди, видѣвшіе, какъ у него отняли топоръ, дали знать объ этомъ ближайшему посту, а тамъ, конечно, раздули изъ этого пустяка Богъ знаетъ что, и дѣло достигло Бухареста въ страшно преувеличенномъ видѣ.

Такимъ образомъ и вышло, что наши посты объ этомъ ничего не знали, а въ Румыніи поднялось цѣлое дѣло о насиліи, совершенномъ нашими постами на румынской границѣ.

Я записалъ всѣ эти подробности и, на пятый день по выѣздѣ моемъ изъ Татаръ-Базарджика, доложилъ обо всемъ полковому командиру.

Тѣмъ это дѣло объ отобраніи нашимъ казакомъ топора у румына и кончилось.

ГЛАВА XIX.

Поѣздка въ Систово.

Въ ТАТАРЪ-БАЗАРДЖИКѢ мы пробыли мѣсяца два, и затѣмъ нашъ полкъ перешелъ въ Силистрію.

Здѣсь какъ-то получаю письмо отъ брата Василія, съ просьбой съѣздить въ Систово, поискать его альбомъ съ этюдами, который былъ затерянъ его услужливыми пріятелями.

Я немедленно отпросился у полкового командира на нѣсколько дней, и на другой же день утромъ сѣлъ на пароходъ и, ежели не ошибаюсь, вечеромъ былъ въ Систовѣ.

Пароходъ принадлежалъ Австрійской компаніи. Помню, капитанъ парохода, какъ только увидалъ меня, казацкаго офицера, въ черкесской формѣ, очень любезно пригласилъ къ себѣ въ каюту, и здѣсь угощалъ свѣжей икрой изъ Дунайской стерляди, а затѣмъ повелъ на капитанскій мостикъ. Тутъ мы весело сидѣли до самаго Систова, посматривали на живописные берега, и разговаривали о пароходствѣ по Дунаю.

Подъ конецъ разговора мой капитанъ вдругъ точно измѣнился. Въ голосѣ его дрогнула непріятная нотка. Видно было, что разговоръ этотъ задѣлъ его за живое.

— И чего вы стремитесь къ намъ на Дунай! Вѣдь мы же не лѣземъ къ вамъ на Волгу! кричалъ онъ, весь взволновавшись. Смуглое лицо его разгорѣлось, потные волосы выбились на лобъ изъ-подъ форменной фуражки и свисли на глаза. Старинная, закоренѣлая злоба на русскихъ такъ и проявилась у него въ эту минуту.

Я постарался поскорѣй прекратить этотъ разговоръ. Къ тому же и Систово уже было въ виду.

Разстались мы друзьями.

Въ Систово я пріѣхалъ уже послѣ полудня. Поднялся на крутой берегъ и остановился недалеко отъ пристани, въ маленькой грязной гостинницѣ, скорѣе похожей на кабакъ.

Братушки повсюду такъ и шныряли въ своихъ курточкахъ и широчайшихъ шаравархъ. Торговая жилка, должно быть, всучена въ нихъ во всѣхъ отъ самаго рожденія. Повсюду видишь ихъ озабоченныя лица, потныя, красныя. Кто въ первый разъ увидалъ-бы здѣсь болгаръ, навѣрное подумалъ-бы, что на Систово сейчасъ будетъ нападеніе непріятеля. А между тѣмъ ничуть не бывало. Это они просто бѣгаютъ и суетятся по своимъ торговымъ дѣламъ.

Такъ какъ итти въ городской совѣтъ и разыскивать альбомъ брата уже было поздно, то я отправился осматривать знакомыя мнѣ мѣста; въ особенности домъ, гдѣ мы останавливались со Скобелевымъ въ первый разъ послѣ переправы нашихъ войскъ черезъ Дунай. Затѣмъ спустился съ крутого берега и пошелъ прогуляться вдоль Дуная. Вотъ мѣсто, гдѣ встрѣтился я и познакомился съ нашимъ бригаднымъ священникомъ. Вотъ лавочка, гдѣ онъ, грустный, сидѣлъ, подперши локтемъ свою косматую львиную голову и раздумывалъ, — по поводу того, какъ у него отнялъ кто-то изъ своихъ-же верхо-

вую лошадь, — о превратностяхъ человѣческой судьбы. — Иду дальше, выхожу за городъ.

Здѣсь, на ровной площадкѣ, вижу толпа жителей разлеглась на зеленой травѣ. Она съ любопытствомъ наблюдаетъ, какъ нашъ унтеръ-офицеръ, инструкторъ, здоровенный дѣтина, съ черными усами и маленькими николаевскими бачками, учитъ молодежь болгаръ ружейнымъ пріемамъ. Унтеру лѣтъ подъ 50. Житье ему у болгаръ, очевидно, хорошее, такъ какъ онъ раздобрѣлъ, вслѣдствіе чего мундиръ на немъ застегнутъ на одну верхнюю пуговицу. Два Георгіевскихъ креста далеко блестѣли на его широкой груди. Въ походные сапоги небрежно заправлены черные шаравары. Кепи заломлено на бокъ. Все это придавало ему лихой воинственный видъ.

— На пле-е-е-чо! хрипло командуетъ онъ, подбоченясь одной рукой, другой же крутитъ усъ и въ то же время грозно оглядываетъ изъ-подъ насупившихся бровей свое воинство. Тѣ, человѣкъ съ полъ-сотни, кто одѣтъ по европейски, въ пиджакахъ и въ шляпѣ котелкомъ, кто въ своемъ національномъ костюмѣ: курткѣ и широкихъ шараварахъ, старательно вскидываютъ на плечо.

Унтеръ замѣтно доволенъ успѣхами своихъ учениковъ и, какъ-бы въ благодарность за хорошее ученіе, подходитъ къ одному рослому смуглому болгарину, въ черной барашковой шапкѣ, беретъ отъ него ружье и начинаетъ выдѣлывать имъ различные фокусы; какъ тростинку высоко подкидываетъ его надъ головой, подхватываетъ, повертываетъ, крутитъ имъ въ воздухѣ и въ концѣ концовъ ловко ставитъ въ разрѣзъ плеча.

Публика одобрительно покачиваетъ головами и хлопаетъ въ ладоши. Но всего болѣе поражаетъ ихъ, когда нашъ старый служака вставляетъ въ стволъ ружья палецъ и на вытянутой рукѣ, весь побагровѣвъ отъ усилія, медленно подымаетъ его отъ земли наравнѣ съ головой.

— Добре! добре! молодчина, Миколай Ивановичъ! браво-о-о! яростно оретъ публика.

Тихонько прохожу я мимо этой оживленной толпы и пристально всматриваюсь въ ихъ веселыя радостныя лица.

Унтеръ торжествуетъ. Съ достоинствомъ возвращаетъ онъ ружье оторопѣвшему болгарину, который въ это время смотрѣлъ на своего учителя, какъ на какое-то божество, и тѣмъ заканчиваетъ ученье.

На другой день, часовъ въ семь утра, выхожу прогуляться. Погода превосходная. Солнце ярко свѣтитъ. Въ воздухѣ пахнетъ сыростью и дымомъ. Систово удивительно скоро поправилось и отстроилось. Два года назадъ городъ этотъ, можно сказать, представлялъ груду развалинъ, теперь же его и не узнать.

Посреди самаго города я нашелъ вновь разбитый очень хорошенькій городской садикъ, устроенный въ европейскомъ вкусѣ, съ клумбами и аллеями. Сажусь на скамейку и невольно раздумываю о томъ, какая богатѣйшая сторона эта Болгарія. Выдержала такую войну, прокормила всю нашу армію, а теперь и слѣда нѣтъ, чтобы это ей хоть чуть было трудно. Болгарія даже какъ будто разбогатѣла отъ войны.

Раздумывая такъ, смотрю, около меня присаживается, съ тросточкой въ рукахъ, съ грустнымъ видомъ, нашъ интендантскій чиновникъ, въ форменномъ сюртукѣ, въ фуражкѣ съ краснымъ околышемъ и Станиславомъ на шеѣ. Усы рыжіе, щетинистые; видъ сонливый, недовольный.

Я уже давненько не видалъ никого изъ нашихъ русскихъ, поэтому обрадовался случаю, чтобы поговорить съ нимъ и распросить, нѣтъ ли чего новаго.

— Здравствуйте, маіоръ! говорю ему.

— Мое почтеніе! отвѣчаетъ тотъ.

Мы знакомимся.

— Что это вы изволите здѣсь такъ долго оставаться? спрашиваю его.

— Да, вотъ, знаете, я завѣдывалъ складомъ, да на меня сдѣлали начетъ,—такъ вотъ все и держатъ здѣсь, отвѣчаетъ онъ глухимъ голосомъ, охаетъ, кашляетъ, при чемъ въ глаза мнѣ не смотритъ, а куда-то въ сторону.

— Да неужели-же еще здѣсь остались гдѣ наши склады? спрашиваю его.

— Да нѣтъ-съ, помилуйте, ежели гдѣ какіе запасы и были, такъ уже ихъ всѣ, во время оккупаціи, постарались израсходовать! Мой маіоръ понемногу становится веселѣе и разговорчивѣе.

— А вотъ, вы вѣрно не слыхали, какой недавно случай былъ, разсказываетъ онъ, подвигаясь ко мнѣ поближе, щупаетъ ладонями бока, карманы, разстегиваетъ сюртукъ, достаетъ изъ портъ-сигара папироску, сначала подчуетъ меня, а затѣмъ уже и самъ закуриваетъ.

— Не скажу вамъ, гдѣ именно, а только былъ у насъ здѣсь въ Болгаріи складъ сѣна, разсказываетъ онъ, пропуская дымъ черезъ ноздри. Въ голосѣ его въ это время уже слышалась не грусть, а какое-то злорадное чувство.

— Когда войска наши пошли въ Россію, то складъ этотъ назначено было закрыть, продолжаетъ свой разсказъ чиновникъ, слегка ежась отъ свѣжаго утренняго воздуха,—поэтому предписано было сдать оставшееся сѣно командиру ближайшей кавалерійской бригады.

— Командиръ бригады, забылъ фамилію генерала!—сердито восклицаетъ мой новый знакомый и машетъ съ досады рукой, получилъ это предписаніе, беретъ, знаете, адъютанта, двухъ казаковъ, и, въ назначенный для пріемки день, ѣдетъ въ складъ. Не то, чтобы окончательно принять, а такъ, чтобы, значитъ, переговорить, какъ поудобнѣе это дѣло сдѣлать.

— Ну, разумѣется, тамъ его встрѣчаетъ завѣдующій складомъ, нашъ братъ чиновникъ, и объясняетъ ему, что вотъ, молъ, ваше превосходительство, въ этихъ двухъ скирдахъ столько-то

тысячъ пудовъ сѣна, въ этихъ столько-то... Генералъ видитъ, куда—тамъ и десятой доли того нѣтъ — отказывается принять.

— Съ вѣсу, ежели угодно, приму, говоритъ, а самъ сидитъ на лошади, достаетъ, знаете, папироску, закуриваетъ, прощается и уѣзжаетъ. Только отъѣхалъ это онъ, такъ съ полъверсты, казакъ сзади и кричитъ генералу:

— Ваше превосходительство, гляньте-ка назадъ! Смотритъ, а складъ этотъ, значитъ, со всѣхъ сторонъ и горитъ—и мой маіоръ ухмыляется и многозначительно поглаживаетъ усы. На рыжемъ съ веснушками лицѣ его, казалось, такъ и было написано: «что же, вѣдь не у меня у одного были недохватки, да вотъ сходило-же съ рукъ».

— Ну и что же, чѣмъ дѣло кончилось? спрашиваю его, заинтересовавшись разсказомъ.

— А вслѣдъ затѣмъ поступилъ на этого генерала рапортъ по начальству, что де, молъ, его превосходительство, осматривая складъ, изволили курить, гдѣ не полагается, и по неосторожности, заронили огонь, вслѣдствіе чего произошелъ пожаръ, и сгорѣлъ весь складъ. Вотъ-съ, какъ-съ! добавляетъ разсказчикъ, бросаетъ папироску на землю и тщательно затаптываетъ ногой, точно боясь, какъ-бы и тутъ не случился пожаръ.

— Вотъ мошенникъ-то! невольно восклицаю я.

— Да уже тамъ, какъ хотите, зовите! самодовольно возражаетъ мой собесѣдникъ, зѣваетъ, креститъ ротъ и что-то задумчиво принимается чертить своей тросточкой на пескѣ.

— Ну, а вы что-же, долго еще намѣрены здѣсь оставаться? спрашиваю его.

— Да вотъ какъ судъ! Вѣдь уже меня приговорили лишить всѣхъ чиновъ, орденовъ, да я подалъ снова прошеніе, не знаю, что будетъ,—говоритъ онъ и, не приподымая головы, продолжаетъ чертить палочкой.

— Вотъ она штука-то какая! разсуждаю я самъ съ собой. Очень нужно было мнѣ съ нимъ знакомиться, и я, точно ужа-

ленный, невольно подскакиваю, прощаюсь съ дорогимъ соотечественникомъ и скорымъ шагомъ направляюсь къ градскому совѣту.

Тамъ у меня оказались знакомые: самъ предсѣдатель совѣта и еще нѣсколько человѣкъ.

Всѣ они съ великой охотой принялись помогать мнѣ разыскивать альбомъ брата. Мы перерыли и пересмотрѣли всѣ склады, всѣ чуланы, архивы, гдѣ только могли быть сложены дѣла, бумаги и какія-либо вещи, принадлежавшія русскимъ, но нигдѣ не нашли ничего и похожаго.

Сколько я ни бился, сколько ни обѣщалъ наградить того, кто мнѣ найдетъ альбомъ, ничто не помогло, — альбомъ какъ въ воду канулъ.

На третій день послѣ выѣзда, я былъ уже обратно въ Силистріи.

ГЛАВА XX.

Прощаніе съ Турціей.

ВЪ СИЛИСТРІИ МЫ оставались тоже недолго.

Около половины Іюля намъ приказано было садиться на суда и подъ пароходомъ ѣхать по Дунаю въ Рени, а оттуда по желѣзной дорогѣ въ Россію.

Какъ теперь помню этотъ знаменательный для насъ день. Съ ранняго утра потянулись къ пристани сотенные и полковые фургоны. Пристань была съ версту за городомъ. Вонъ потянулись и казаки наши, сотня за сотней. Я сажусь съ Лапинымъ въ фаэтонъ, и рысью ѣдемъ къ пристани. Тамъ уже шла дѣятельная работа. Три громадныя барки, причаленныя къ берегу Дуная, грузились казацкими вещами, повозками и лошадьми.

Очень интересно смотрѣть, какъ грузятъ въ трюмъ лошадей, при помощи подъемнаго крана. Лошадь подводятъ къ люку, затѣмъ пропускаютъ ей подъ брюхо два широкихъ ремня,

скрѣпляютъ наверху и начинаютъ подымать. Сначала, пока ремни не натянулись, лошадь только тревожно водитъ ушами, но вотъ она чувствуетъ что-то неладное, ремни натягиваются все туже и туже, — лошадь вдругъ начинаетъ бѣшено биться, глаза и вся морда ея выказываютъ отчаянный испугъ. Но какъ только она теряетъ подъ ногами почву, моментально покоряется своей участи, опускаетъ голову и медленно скрывается въ люкъ.

Когда я подъѣхалъ къ пароходной пристани, смотрю, на капитанскомъ мостикѣ стоитъ мой старый пріятель, командиръ Лукоморской сотни Кобіевъ, и весело наблюдаетъ за нагрузкой. Онъ почему-то тоже ѣхалъ съ нами. Я живо выхожу изъ экипажа и затѣмъ бѣгу къ нему.

Видъ отсюда превосходный. Погода восхитительная. Было такъ часовъ шесть утра. Яркое солнце стражалось въ рѣкѣ и далеко позолотило зеркальную поверхность Дуная.

Облокачиваюсь на перила и невольно думаю: вотъ вѣдь этотъ Дунай, какой онъ красивый, заманчивый! Такъ и тянетъ окунуться въ него. А какой онъ въ то же время безжалостный! Ему и горюшка мало, что еще такъ недавно, во время знаменитой переправы Драгомірова, удивившей вѣсь свѣтъ, сотни нашихъ солдатъ нашли себѣ здѣсь безвременную могилу. Дунай гонитъ себѣ свои мутныя зеленоватыя воды къ Черному морю, нимало не заботясь о томъ, кому будетъ принадлежать тотъ или другой берегъ.

Пары тихо подымаются съ воды и легкими облачками уносятся въ пространство. Ласточки и другія птички быстро летаютъ надъ рѣкой, щебечутъ, опускаются, кружатся, ловятъ что-то и опять взвиваются къ небу. Вонъ, изъ-за тумана, ясно очерчивается большая лодка. Нѣсколько человѣкъ, нагнувшись, копошатся что-то на днѣ. Должно быть, рыбаки. Такъ и есть— одинъ изъ нихъ приподымаетъ голову, обмотанную чѣмъ-то бѣлымъ, и начинаетъ ретиво выбрасывать изъ лодки сѣти;

еще одинъ рыбакъ, котораго я, было, сначала не замѣтилъ, держитъ весло у кормы лодки. По всей рѣкѣ тишина и спокойствіе. Небо голубое. Кой-гдѣ виднѣются бѣлоснѣжныя облачка, слегка позолоченныя солнцемъ. Дышется легко. Я прихожу въ восторженное настроеніе и думаю: наконецъ-то покончили мы съ нашимъ скитаніемъ по Турціи и Болгаріи. Полной грудью вдыхаю свѣжій здоровый рѣчной воздухъ и любуюсь на гордый Дунай.

Въ это время слышу знакомый, захлебывающійся смѣхъ Кобіева.

— Кха! кха! кха! Верещагинъ, полюбуйся-ка, ваши то, «семейные», хороши, нечего сказать! Посмотри, въ какую шеренгу выстроились!

Оглядываюсь, смотрю, Кобіевъ покатывается отъ смѣху, и въ то же время указываетъ рукой на фаэтоны, которые стояли на берегу противъ пристани. Они вытянулись длинной зеленоватой вереницей, штукъ 7—8. Противъ меня какъ разъ находился Петръ Ивановичъ со своей Розочкой. Другихъ же узнать невозможно, такъ какъ было далеко, и только синіе околыши фуражекъ, да верхушки папахъ доказывали, что и тамъ присутствовали мои же товарищи.

Мы смотримъ съ Кобіевымъ на Петра Ивановича. Тотъ между тѣмъ съ вершины берега и не подозрѣвалъ, что за нимъ такъ пристально наблюдаютъ.

Петръ Ивановичъ наклоняется и что-то съ жаромъ объясняетъ своей Розочкѣ. Вотъ онъ беретъ ея ручку, подноситъ къ устамъ и цѣлуетъ; та жеманится и что-то говоритъ ему.

Невозможно было безъ смѣху смотрѣть, какъ онъ, при своей воинственной фигурѣ, въ папахѣ, въ черкескѣ, проводилъ послѣднія минуты со своей возлюбленной.

— А знаешь что, сыграемъ-ка съ ними штуку, — смѣясь говоритъ мнѣ Кобіевъ. Посмотри, какъ они у насъ сейчасъ закопошатся. И онъ берется за мѣдную ручку свистка, дер-

гаетъ, и протяжный, жалобный свистокъ далеко оглашаетъ окрестности.

Только свистокъ раздался, сѣдоки, точно по командѣ, бросаются обниматься со своими подругами.

Бѣдный же Петръ Ивановичъ, очевидно, совсѣмъ потерялъ голову. Онъ обнялъ свою Розу, приподнялъ ее съ сидѣнья, и казалось, просто хотѣлъ бѣжать съ ней къ намъ на пароходъ. Но, должно быть, до ихъ ушей дошелъ нашъ хохотъ, такъ какъ всѣ они скоро опять успокоились и попрежнему мирно разсѣлись въ экипажахъ.

Въ это время меня потребовали на барку, и я вернулся какъ разъ во время 3-го свистка.

Колеса уже начали слегка двигаться, когда я вскочилъ на пароходъ. Причалки отдали, паровикъ пыхтѣлъ и дрожалъ отъ накопившихся паровъ. Прохожу мимо машины, смотрю, между трубой и люкомъ лежитъ, уткнувшись носомъ въ палубу, мой милѣйшій Петръ Ивановичъ. Я, пожалуй, и не замѣтилъ бы его, да хорунжій Петровичъ меня остановилъ и говоритъ:

— Смотри-ка, что съ нимъ дѣлается, совсѣмъ ошалѣлъ!—и при этомъ начинаетъ трясти его.

— И что онъ убивается объ ней,—его Роза, вонъ смотри, уже съ кѣмъ-то стоитъ обнявшись,—и Петровичъ показываетъ мнѣ рукой на берегъ.

Въ это время пароходъ уже нѣсколько отошелъ отъ пристани. Фаэтоны все еще красовались на томъ же мѣстѣ, и женскій персоналъ, стоя въ экипажахъ, махалъ намъ платками. Роза тоже махала, придерживаясь рукой за какого-то господина въ цилиндрѣ.

— Петръ Ивановичъ! Да встань же ты! Взгляни послѣдній разъ на свою Розу; она съ какимъ то мужчиной стоитъ! жалобно кричитъ Петровичъ въ самое ухо и немилосердно теребитъ его за плечи.

Тотъ быстро вскакиваетъ на ноги, бросается къ борту и

начинаетъ отчаянно махать платкомъ. Я какъ увидалъ его лицо, такъ чуть не вскрикнулъ, до того оно было заплакано.

— Прощай, прощай, моя радость, моя жизнь, захлебывающимся отъ слезъ голосомъ, лепеталъ Петръ Ивановичъ. Лицо его было багрово-красное, глаза дикіе, воспаленные. Роза, въ это время, весело помахивала платочкомъ, продолжая опираться на плечо своего знакомаго. Она не дала пароходу хорошенько отвалить, какъ усѣлась съ пріятелемъ въ фаэтонъ и преспокойно направилась въ городъ.

Петръ Ивановичъ, шатаясь, поплелся къ своему прежнему мѣсту, между трубой и люкомъ, и снова улегся на палубѣ— носомъ къ полу. О другихъ «семейныхъ» я умалчиваю, такъ какъ не наблюдалъ за ними. Но какъ потомъ слышалъ, нѣкоторые изъ нихъ были не въ лучшемъ положеніи.

Исподволь натягиваетъ пароходъ буксиры, и барка за баркой, вытянувшись, какъ по линейкѣ, плавно слѣдуютъ за пароходомъ. Казаки обнажаютъ свои стриженныя головы, и набожно крестятся, при чемъ, по привычкѣ, ищутъ глазами по берегу православной церкви съ крестомъ. Но церкви нигдѣ не замѣтно. Остроконечные же минареты виднѣлись то тутъ, то тамъ.

— И гремитъ слава трубой
Мы дрались за Лабой...

съ какимъ то остервенѣніемъ выкрикиваетъ запѣвало на кормѣ парохода.

— Бумъ, бумъ, гудитъ тулумбасъ.

Всѣ мы невольно, при этихъ звукахъ, приходимъ въ веселое настроеніе. Пароходъ смѣло разсѣкаетъ зеркальную поверхность рѣки. Колеса дружно и хлестко, съ глухимъ однообразнымъ звукомъ, хлопаютъ широкими лопастями по водѣ. Вода пѣнится и дробится подъ колесами въ милліоны мельчайшихъ брызгъ. Мы оставляемъ за собой слѣдомъ цѣлую полосу темносинихъ волнъ. Чѣмъ дальше за барками, тѣмъ волны становятся меньше

и меньше, а вонъ тамъ, съ версту отъ насъ, волненіе и пропадаетъ.

Силистріи уже не видно. Правый берегъ Дуная крутой, обрывистый, весь изрытый отверстіями для гнѣздъ стрижей и ласточекъ. Кой-гдѣ, на берегу, видны то кустики, то деревья, то высокіе земляные курганы, когда-то въ старину, вѣроятно, служившіе наблюдательными постами для воюющихъ народовъ. По лѣвому берегу виднѣются обширныя селенія съ каменными постройками и тѣнистыми садами.

Пѣсни кончились. На пароходѣ тишина. Слышится только стукъ колесъ, да рѣдкая, отрывистая команда капитана парохода. Я прохожу мимо Петра Ивановича. Онъ все-еще лежитъ ничкомъ, какъ убитый, и все на томъ-же мѣстѣ.

Бѣдный, какъ мнѣ его жалко! Его даже не веселитъ мысль о семьѣ, которую онъ такъ скоро долженъ увидать, послѣ трехлѣтней разлуки.

Въ Рени прибыли на другой-же день утромъ безъ всякихъ приключеній. Отсюда мы уже направились во Владикавказъ по желѣзной дорогѣ, гдѣ надо сказать, я никогда не былъ.

Моему самолюбію очень льстило, что я, отправившись на войну молодымъ сотникомъ, субалтерномъ, черезъ два года являлся во Владикавказъ заслуженнымъ войсковымъ старшиной. Между прочимъ, я былъ назначенъ командиромъ эшелона. Въ заботахъ о немъ во время пути я и не замѣтилъ, какъ мы прибыли въ Ростовъ на Дону, а отсюда, уже безо-всякихъ пересадокъ, поѣхали прямо во Владикавказъ. Здѣсь мы высадились за городомъ.

Все населеніе Владикавказа пожелало почтить нашъ полкъ торжественнымъ обѣдомъ. Наканунѣ мы всю ночь чистились и приводили себя въ порядокъ, а на другой день торжественно двинулись въ городъ. По пути къ намъ присоединились вер-

хами: Левисъ, уже произведенный въ генералы, и раненый подъ Ловчей и лишенный правой руки, войсковой старшина Астаховъ.

Встрѣча полку дѣйствительно была самая сердечная. Послѣ молебна былъ обычный парадъ, гдѣ я, командуя сотней, немного сконфузился, скомандовавъ слишкомъ тихо. Моя сотня запоздала тронуться, и вышло легонькое замѣшательство. Хотя мнѣ и было совѣстно, но я утѣшилъ себя тѣмъ, что Скобелевъ тоже плохо умѣлъ командовать на парадахъ. Разсказывалъ мнѣ одинъ пріятель, что послѣ Шейновскаго дѣла, за Балканами, когда Главнокомандующій Великій Князь Николай Николаевичъ подъѣхалъ къ войскамъ, чтобы поздравить съ побѣдой, то Скобелевъ съ безпокойствомъ спрашивалъ у начальниковъ частей:

— Господа, гдѣ мое мѣсто? гдѣ мнѣ стать?

Странное дѣло, для меня парады всегда были чуть-ли еще не хуже сраженій. Я чувствовалъ себя на нихъ прескверно. Мнѣ все думалось,—ладно-ли я скомандую, да ладно-ли пройдетъ моя часть?

Торжество закончилось прекраснымъ обѣдомъ въ городскомъ саду.

ГЛАВА XXI.

На Кавказѣ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ, ОБЛАСТНОЙ ГОРОДЪ Терской области, перерѣзается Терекомъ на двѣ половины—Русскую и Осетинскую. Городъ расположенъ на плоскости, верстахъ въ четырехъ отъ подножія Кавказскихъ горъ. Когда подъѣзжаешь къ Владикавказу по желѣзной дорогѣ, то города какъ-то и не замѣчаешь, до того увлекаешься видомъ снѣжныхъ вершинъ, вздымающихся амфитеатромъ.

Въ концѣ сентября, мнѣ пришлось итти съ 3-ей сотней на военно-грузинскую дорогу, смѣнить 2-ю сотню нашего полка и занять посты отъ Владикавказа до Коби, что составляло около 60 верстъ.

Я съ удовольствіемъ отправлялся на эту службу. Мнѣ надоѣло цѣлыхъ два мѣсяца ничего не дѣлать. Къ тому-же очень хотѣлось познакомиться съ Кавказомъ и знаменитымъ военно-грузинскимъ трактомъ.

Выступила моя сотня такъ часа въ четыре, послѣ обѣда. Нужно было пройти 25 верстъ по шоссе. За Владикавказомъ

мѣстность тянется довольно ровная. Верстахъ-же въ четырехъ равнина кончается, и начинаются горы. Онѣ идутъ уступами, что дальше, то выше, и подъ конецъ, далеко — далеко, ихъ снѣговыя вершины сливаются съ облаками.

Приближаемся къ Тереку. Вдругъ, съ противоположнаго берега раздается точно пушечный выстрѣлъ. Смотримъ,—что такое случилось? Видимъ, съ вершины крутой горы, въ облакѣ сѣрой пыли, упираясь угловатыми боками въ землю, тяжело катится громадный камень, величиной съ порядочный домъ, и останавливается въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ небольшой сакли.

Интересно, думалось мнѣ въ эту минуту, что осталось бы отъ этой сакли, если бы камень попалъ въ нее.

Уже мы почти подошли къ самымъ горамъ, а ущелья, гдѣ проходитъ шоссе, все еще не могу отыскать глазами. Но вотъ мы подходимъ еще ближе, и я замѣчаю, что дорога заворачиваетъ немного влѣво къ берегу, а затѣмъ мы попадаемъ подъ громадный скалистый сводъ. Дорога продолжаетъ итти вдоль Терека.

Изъ различныхъ описаній, мнѣ почему то представлялся Терекъ большой рѣкой, и вдругъ, какое разочарованіе: я вижу сердитый, узенькій потокъ, и ничего больше. Со дна торчатъ зеленоватые ослизлые камни. Зато, чѣмъ дальше мы подаемся, тѣмъ шумъ отъ воды становился все сильнѣе и сильнѣе. Окружающая мѣстность становится все величественнѣе. Кой-гдѣ, на вершинахъ сѣрыхъ скалъ, темными пятнышками одиноко торчатъ вѣтвистыя деревья. А вонъ тамъ, вправо отъ насъ, изъ середины громадной отвѣсной горы, какъ изъ стѣны, точно по волшебству, бьетъ каскадъ. Широкой струей падаетъ хрустальная вода на скалистую почву и бѣлымъ жемчужнымъ облачкомъ высоко взлетаетъ кверху. Конечно, мнѣ попадались въ Турціи виды замѣчательно красивые, но тамъ, можно сказать, все это было въ миніатюрѣ. Такихъ поразительно высокихъ горъ и скалъ, такихъ глубокихъ ущелій я тамъ не встрѣчалъ.

Верстахъ въ 25-ти отъ Владикавказа, влѣво отъ дороги, на ровной площадкѣ стоитъ небольшая каменная казарма. Мѣстечко это называется «Джерахъ», по ближайшему аулу, который виднѣлся въ полуверстѣ. Здѣсь-то и помѣщался штабъ нашей сторожевой сотни. Хуже здѣшней казармы мнѣ рѣдко случалось видѣть. Полы несколочены, щели такія, что крысы бѣгали, по выраженію казаковъ, какъ собаки. Въ окна дуло, въ двери тоже. Все криво, косо, вездѣ вонь, грязь и нечистота. Однимъ словомъ, по пріѣздѣ моемъ сюда, перспектива моего житья меня не порадовала. Но когда я вспомнилъ Турцію, гдѣ часто приходилось спать на сырой землѣ, то и съ этимъ помѣщеніемъ можно было мириться. Меня только возмущало одно: вѣдь отпускаются-же суммы на ремонтъ этихъ казармъ! Куда-же онѣ тратятся?

Сторожевые посты по военно-грузинской дорогѣ совершенно необходимы. Мѣстность здѣсь настолько пересѣченная, что того и смотри, изъ-за какого-нибудь холмика или ущелья, налетитъ на почту шайка разбойниковъ Ингушей или Кабардинцевъ, да и ограбитъ ее. Здѣсь, какъ я узналъ впослѣдствіи, ни одинъ годъ не обходится безъ такихъ катастрофъ. Случалось даже, что и казакамъ, сопровождавшимъ почту, тоже попадало отъ разбойниковъ.

На другой день по пріѣздѣ въ Джерахъ, отправляюсь смѣнять посты.

Дорога, что дальше, то все становится живописнѣе и грандіознѣе. Одна чудная картина смѣняетъ другую, еще чудеснѣе. Повсюду разнообразіе. Вотъ мы приближаемся къ Дарьяльскому ущелью. Здѣсь Терекъ спертъ въ своемъ теченіи отвѣсными скалами. Онъ реветъ, бурлитъ и бѣшено несется по уклону. Теченіе его въ этомъ мѣстѣ чрезвычайно сильное.—Издали самой воды даже и не замѣтно, а видишь только крутящуюся пѣну. Шумъ отъ Терека такой, что разговаривать возможно только носъ къ носу, а то ничего и не услышишь.

Видъ Дарьяльскаго ущелья, съ его гигантскими отвѣсными скалами, торчащими кой-гдѣ на вершинахъ старинными башенками, превзошелъ все, что я могъ предполагать. Глядя на эти взвивающіяся къ небесамъ громады, мнѣ даже страшно становилось. Человѣкъ долженъ чувствовать здѣсь свое полнѣйшее ничтожество. Мнѣ невольно приходило въ голову, ну ежели эти скалы подадутся еще хоть чуточку одна къ другой, что тогда отъ всѣхъ насъ останется? Небо просвѣчивало надъ головой синей узенькой полоской, и бѣлыя облачки то тутъ, то тамъ, какъ-то нѣжно, таинственно, окутывали вершины горъ, точно желая скрыть ихъ отъ нашихъ взоровъ,—и затѣмъ опять разлетались. Тишина полная. Вѣтру никакого. Ѣду далѣе. Шоссе, высѣченное у подножія скалъ, вьется узенькой полоской все выше и выше. Вотъ мы поднимается на самый гребень горы. Влѣво отъ меня, на днѣ ущелья, мелькаетъ Терекъ стальной ленточкой. Деревья, кустарники и разныя растенія густою зеленью оттѣняютъ бока кручи и склоны сѣрыхъ скалъ. Картина настолько красива, что я невольно останавливаю лошадь и любуюсь. Я стою почти на краю пропасти. Смотрю внизъ, и странное дѣло, меня такъ и потянуло броситься въ пропасть. Ухъ, страхъ какой! Скорѣй пячу лошадь назадъ. Вправо виднѣется громадная бѣлая вершина, почти круглая. Она точно подпираетъ небо.

— Ваше высокоблагородіе, вотъ это самый Казбекъ и есть, говоритъ мнѣ казакъ и плетью указываетъ на вершину горы.

Стою и любуюсь на эту громаду. Чѣмъ дольше всматриваешься, тѣмъ Казбекъ кажется все выше и величественнѣе. Ну, просто поражаешься, его высотой и могучестью. Всѣ остальныя вершины кажутся передъ этой—малютками. Ѣдемъ далѣе.

Около станціи Казбекъ, по обѣ стороны дороги, на откосахъ горъ, виднѣлись раздѣланныя поля. Хотя время года было и позднее, но овесъ еще не былъ убранъ. Здѣшняя мѣстность

значительно выше, а потому и климатъ холоднѣе. Хлѣба запаздываютъ здѣсь болѣе чѣмъ на мѣсяцъ.

Мы порядочно отъѣхали, а Казбекъ все такъ же грозенъ и великъ.

Боже! что за вышина! невольно восклицаю я, глядя на него. Въ эту минуту густое сѣрое облако окутываетъ его бѣлоснѣжную вершину и скрываетъ отъ нашихъ глазъ. Подулъ холодный, рѣзкій вѣтеръ и заставилъ меня крѣпче завернуться въ бурку. Кругомъ, куда ни посмотришь, вездѣ голыя безлѣсныя скалы и дикія ущелья. Холодно и непривѣтливо.

— Хорошъ Кавказъ, невольно думается мнѣ, дикъ и величественъ, но жить здѣсь я не желалъ-бы. Мнѣ кажется, надо родиться на Кавказѣ, чтобы полюбить его и понять всю прелесть горъ.

Сзади казармы, въ полуверстѣ, протекалъ Терекъ, а спереди, саженяхъ въ сотнѣ, виднѣлось военно-грузинское шоссе.

Время послѣ завтрака. Мнѣ надоѣло сидѣть въ душной комнатѣ. Читать нечего, поговорить тоже не съ кѣмъ. Мой субалтернъ Абессаловъ, укутавшись въ бурку, спитъ на деревянной кровати, свѣсивъ черезъ спинку длинныя тощія ноги, обутыя въ стоптанные чувяки. Пойду-ка, думаю, прогуляюсь до шоссе. Трактъ большой, вѣрно встрѣчу проѣзжающихъ, такъ хоть посмотрю на нихъ, да поразсѣюсь. Надѣваю шубу на черныхъ мелкихъ мерлушкахъ. Шубу эту я заказалъ во Владикавказѣ и хотя заплатилъ за нее 100 рублей, что̀ по здѣшнимъ цѣнамъ были большія деньги, но въ Петербургѣ такую и за 300 не сдѣлаешь, до того мѣхъ былъ хорошо подобранъ.

Подтягиваю шубу ремнемъ при кинжалѣ, надѣваю папаху и выхожу на улицу. Погода пасмурная. Небо заволокло снѣжными тучами. Дуетъ пронзительный холодный вѣтеръ. Снѣгъ

изрѣдка падаетъ на землю отдѣльными крупными хлопьями. Кругомъ начинаетъ бѣлѣть. Я иду и сажусь около дороги на свое излюбленное мѣсто. Громадный камень защищалъ меня отъ вѣтра, а другой, маленькій, служилъ сидѣньемъ.

Вотъ слышенъ отдаленный глухой звукъ со стороны Тифлиса. По шоссе гулъ далеко раздается. Ближе, ближе, вонъ изъ-за угла скалы показывается тяжелый дилижансъ, запряженный шестеркой почтовыхъ лошадей съ форейторомъ. Избитые, заморенные кони, повидимому напрягаютъ послѣднія силы. Но что это такое у правой выносной — колѣни совершенно ссажены; кровь такъ и струится изъ ранъ. Только что я обратилъ на это вниманіе, какъ бѣдное животное спотыкается, падаетъ и на всемъ ходу упирается больными мѣстами о жесткіе камни. Оказывается, какъ потомъ я узналъ, вслѣдствіе того, что шоссе постоянно идетъ съ горы на гору, лошади здѣсь чрезвычайно скоро разбиваются и, при спускѣ въ тяжелыхъ экипажахъ, падаютъ на колѣни и ранятъ ихъ.

Сквозь стекла дилижанса виднѣются фигуры армянъ, въ ластиковыхъ черныхъ бешметахъ и черныхъ папахахъ. У нѣкоторыхъ на груди болтаются серебряныя шейныя цѣпочки отъ часовъ. Они гордо посматриваютъ на меня съ чувствомъ собственнаго достоинства. Одинъ изъ нихъ держится рукой за окно, и на большомъ пальцѣ его блеститъ перстень съ крупной бирюзой.

Дилижансъ съ громомъ и шумомъ проносится мимо.

Съ противоположной стороны отъ Владикавказа, вижу, тащатся какія-то повозки. Вотъ уже онѣ совсѣмъ близко. Я сразу узнаю въ нихъ молоканскіе фургоны. Такъ называютъ ихъ здѣсь казаки.

Вотъ передній поровнялся со мной. Не знаю, на что прежде любоваться, — на самый ли фургонъ, или на лошадей? Четверикъ превосходныхъ гнѣдыхъ коней, горбоносыхъ, съ длинными черными косматыми гривами и хвостами, легко тащилъ тяжелый фургонъ. Лошади сытыя, круглыя. Груди и шеи какія-

то особенно широкія. Прочная хозяйственная сбруя пригнана отлично, такъ что на лошадяхъ не замѣтно нигдѣ никакой ссадины. А уже фургонъ такой прочный, что казалось, хоть кидай его съ Ивана Великаго, такъ и то не разбился бы. Я, просто, залюбовался. И вѣдь ихъ проходитъ четыре подводы, и одна лучше другой. Лошадей, какъ я потомъ узналъ, молокане покупаютъ по восточному берегу Чернаго моря, отчего и лошади эти слывутъ здѣсь подъ названіемъ «черноморскихъ». Хозяева шли сзади въ бѣлыхъ холщевыхъ куртках, заправленныхъ въ такіе-же шаравары. Поверхъ были надѣты что-то въ родѣ нашихъ полушубковъ, только короткихъ. На головахъ папахи.

Прошли и молокане. Я все сижу и смотрю. Передо мной, за шоссе, идетъ уступомъ довольно высокая гора. На уступѣ расположенъ небольшой ауль Джерахъ. Бѣдныя сакли, съ плоскими крышами, непривѣтливо выглядывали съ горы. Вонъ изъ одной выходитъ молодая стройная осетинка съ кувшиномъ на плечѣ; она тихонько спускается по извилистой тропинкѣ. Вотъ она у колодца, налила кувшинъ водой, ставитъ его на плечо и, нѣсколько изогнувшись, тяжело направляется къ саклѣ. «Боже, какая даль идти ей съ кувшиномъ, да еще въ такую крутую гору»! думаю я. Дѣвушка останавливается, отдыхаетъ, смотритъ въ мою сторону и, кажется, замѣчаетъ меня. Въ воображеніи моемъ, эта осетинка рисуется черноокой красавицей черкешенкой, про какихъ я читалъ у Лермонтова и Пушкина. Но разстояніе было довольно большое, и я не могъ разсмотрѣть ея. Надо, думаю, непремѣнно поручить Абессалову разузнать, что эта осетинка дѣйствительно ли хорошенькая, или такъ только издали кажется. Дѣвушка отдыхаетъ, и затѣмъ такъ же медленно подымается дальше въ гору.

Смотрю, еще выше, надъ ауломъ, такъ пожалуй, съ полъ-версты, на небольшой площадкѣ, виднѣлся хорошенькій бѣленькій домикъ съ зеленой крышей, выстроенный въ европейскомъ вкусѣ. Издали онъ казался бѣлымъ гнѣздышкомъ. Я знаю,—это домикъ

тоставного генерала Дударова, осетина. Каково, думаю, жить на такой высотѣ, на самомъ юру, вдали отъ людей! Я ни одной минуты, кажется, не былъ бы спокоенъ. Мнѣ все представлялись бы тамъ разбойники, да разные злые люди.

Кругомъ домика виднѣлся красивый зеленый лужокъ; въ противоположность общей непривѣтливой скалистой почвѣ — лужокъ этотъ пріятно веселилъ взоры.

Только что я хотѣлъ направится домой, смотрю, изъ аула Джераха спускается горецъ-осетинъ, верхомъ на конѣ, въ буркѣ и папахѣ. Красивая темносѣрая лошадь опустила голову, и привычной осторожной поступью спускалась по скалистой тропинкѣ. Я знаю этого всадника: это молодой Дударовъ. Онъ лихой наѣздникъ, и лошадь у него превосходная. Когда, случалось, онъ пріѣзжалъ къ намъ во дворъ казармы, то казаки гурьбой выбѣгали полюбоваться на его коня. А Дударовъ еще нарочно пускался джигитовать и продѣлывать самые удивительные фокусы. Мнѣ всегда бывало досадно смотрѣть, когда Дударовъ карьеромъ несся по нашему маленькому двору, вымощенному крупнымъ булыжникомъ, и затѣмъ сразу осаживалъ коня, такъ что тотъ бѣдный, какъ на салазкахъ, скользилъ нѣсколько шаговъ на заднихъ ногахъ.

Дударовскій конь невольно напоминалъ мнѣ Лермонтовскаго «Карагеза». Онъ, должно быть, точно такъ же былъ быстръ, статенъ и неутомимъ. Голова у него была маленькая, глаза большіе, на выкатѣ, ноздри широкія и тонкія, грива небольшая, шелковистая. А ужъ ноги какія были, чисто какъ точеныя, каждая жилка виднѣлась.

Разъ какъ-то пріѣзжаетъ ко мнѣ самъ старикъ Дударовъ и зоветъ къ себѣ въ гости.

Это былъ человѣкъ лѣтъ 70, очень высокаго роста, сухощавый. Морщинистое лицо его съ длинной черной бородой и на-

висшими бровями, было совершенно землистаго цвѣта. Одѣтъ въ коричневую черкеску. Говорилъ чистымъ русскимъ языкомъ съ легкимъ осетинскимъ акцентомъ. Я, конечно, съ удовольствіемъ принялъ его приглашеніе, и въ назначенный день, послѣ обѣда, вмѣстѣ съ Абессаловымъ, въ сопровожденіи казака, направляемся верхами въ горы, черезъ аулъ Джерахъ. Подъѣзжаемъ къ бѣлому хорошенькому домику. Отдаемъ лошадей казаку, а сами входимъ въ домъ. Первая комната довольно обширная, называлась «кунацкая»; въ ней толпилось человѣкъ десять молодежи — туземцевъ, — кто въ черкескахъ, кто въ бешметахъ. На поясахъ у всѣхъ вписѣли кинжалы, въ черныхъ ножнахъ, отдѣланныхъ серебромъ. Слѣдующая комната имѣла видъ зала. Довольно низенькая, — полы желтые, крашенные. Мебели въ комнатѣ—никакой.

Хозяинъ встрѣчаетъ насъ очень любезно и ведетъ въ залъ, гдѣ и усаживаетъ на раскинутыя бурки. Мы садимся по турецки, ноги подъ себя. Подаютъ кофе въ маленькихъ чашечкахъ. Пока мы угощаемся, комната понемногу наполняется молодежью обоего пола. Появляются молоденькія хорошенькія осетинки, въ разноцвѣтныхъ платьяхъ, преимущественно зеленыхъ, съ длинными, узкими рукавами, гораздо длиннѣе рукъ. Дѣвушки все брюнетки, все худенькія, стройныя, съ быстрыми глазами, черными какъ угольки. Осетинки выстраиваются противъ насъ въ одну линію вдоль стѣны, и съ любопытствомъ поглядываютъ въ нашу сторону. Сзади насъ и по бокамъ толпится молодежь-осетины. Видимо, что-то готовилось.

Хозяинъ свѣсилъ голову на грудь, насупилъ брови и что-то думаетъ. Въ залѣ стихаетъ. Замѣтно было, что старикъ-деспотъ, и что всѣ его боятся! Вдругъ онъ что-то бормочетъ и киваетъ головой на одну изъ осетинокъ. Та моментально выступаетъ впередъ. Старикъ бормочетъ еще что-то, и изъ-за моей спины выбѣгаетъ молодой осетинъ, красавецъ брюнетъ, съ подстриженной бородкой, и оба, точно въ запуски, припи-

маются танцовать лезгинку. Присутствующіе хлопаютъ тактъ въ ладоши и поютъ какую-то заунывную пѣсню. Я какъ сейчасъ вижу эту красавицу, ея оживленное блѣдное лицо съ большими черными глазами. Гибкія руки согнуты надъ головой, и сама она, въ такомъ видѣ, неслышно несется по залѣ на самыхъ носкахъ, а длинные зеленые рукава красиво развѣваются по вѣтру. Когда первая пара окончила и стала на свои мѣста, старикъ снова повелительно бормочетъ, и новая пара принимается кружиться и плясать. Такъ продолжалось часа полтора. Затѣмъ намъ подаютъ на кругломъ столикѣ превосходный шашлыкъ, и мы запиваемъ его знаменитымъ дигорскимъ пивомъ. Уже стемнѣло, когда мы вернулись домой.

Какъ-то утромъ сижу я въ казармахъ и разговариваю съ Абессаловымъ. Въ это время входитъ казакъ и докладываетъ, что какіе-то два господина желаютъ меня видѣть.

— Проси ихъ сюда,—говорю ему. Входятъ два молодца, блондина, очень высокаго роста, повидимому нѣмцы. Одѣты въ сѣрыя охотничьи куртки съ зелеными отворотами. Я не ошибся. Они рекомендуются мнѣ гвардейскими лейтенантами прусской службы, баронами, и объясняютъ, что путешествуютъ по Кавказу съ научной цѣлью. Пріѣхали сюда прямо изъ Тифлиса, гдѣ тоже лазили по горамъ и, въ доказательство того, что они не шпіоны, представляютъ свидѣтельство отъ высшаго тифлисскаго начальства, которое просило предъявителямъ сихъ свидѣтельствъ оказывать при проѣздѣ всякое содѣйствіе. Бароны были родные братья, и хорошо говорили по русски; я же, зная немного по нѣмецки, очень радъ былъ случаю поговорить съ ними на этомъ языкѣ. Бароны, оказывается, намѣрены были погостить у меня дня два-три, осмотрѣть мѣстность и поохотиться на туровъ. Около Казбека туровъ водилось много. Я немедленно дѣлаю распоряженіе приготовить для гостей комнату, постели,

и, въ то же время, чтобы угостить ихъ на славу, посылаю во Владикавказъ за разными закусками, виномъ, пивомъ, и даже велѣлъ взять пару шампанскаго. Пускай, думаю, знаютъ нѣмцы, какъ живутъ казаки на Кавказѣ.

Три дня у меня было, что называется, разливное море.

Наконецъ, мои бароны заявляютъ, что на утро желали-бы уѣхать во Владикавказъ. Я приказываю приготовить для нихъ двухъ верховыхъ лошадей съ провожатыми.

На другой день просыпаюсь довольно поздно; напился чаю и выхожу на улицу. Смотрю, уже мои казаки вернулись изъ города, и съ сумрачными лицами разсѣдлывали лошадей. Слышу, какъ товарищи спрашиваютъ ихъ:

— Ну что, получили? сколько?

— Сколько? сколько?—передразниваетъ одинъ изъ провожавшихъ.—Тьфу! Вотъ сколько!—дергаетъ за поводъ лошадь и сердитый направляется въ конюшню.

Дѣйствительно, это было обидно: казаки, какъ няньки, возились съ этими господами, ухаживали за ними, чуть не на рукахъ носили по тропинкамъ и по ущельямъ, плясали, пѣли, джигитовали, и въ результатѣ—ни гроша на водку.

Я страшно былъ золъ на этихъ нѣмцевъ.

СМЕРТЬ ЛЕВИСА.

Здѣсь, на военно-грузинскомъ шоссе, меня провѣдалъ мой бывшій командиръ полка, генералъ-маіоръ Левисъ, проѣздомъ въ Тифлисъ, и пробылъ почти цѣлый день. Уѣхалъ онъ поздно ночью. Я провожалъ его со взводомъ казаковъ, съ факелами, пѣснями и джигитовкой до слѣдующей станціи. Дорогой экипажъ безпрестанно останавливался, происходила надлежащая вышивка, казакамъ подносили по чаркѣ чихирю, и громкое «ура», и «многая лѣта», далеко оглашали окрестности. Я, то садился къ Левису въ экипажъ, чтобы поболтать и полобызаться

съ нимъ, то, вдохновляясь воинственнымъ духомъ и боевыми воспоминаніями, снова садился на лошадь и карьеромъ несся, въ сопровожденіи казаковъ, по широкому шоссе. «Ура» эхомъ раздавалось въ ночной тиши по дикимъ ущельямъ горъ.

Какъ сейчасъ вижу моего командира, когда мы прощались съ нимъ въ Джерахѣ. Ночь поздняя. Ѣхать давно пора. Добродушное, полное лицо Левиса такъ все и раскраснѣлось. Черкеска разстегнута, кинжалъ въ дорогихъ серебряныхъ съ вызолоткой ножнахъ, и съ такимъ же прибором на ременномъ поясѣ, лежитъ возлѣ него на столѣ. Генералъ въ самомъ добродушномъ настроеніи.

— Ну, пріѣзжайте ко мнѣ въ Тифлисъ! Погуляемъ! Найдемъ все, что вы любите!—весело восклицаетъ онъ, и на прощанье береть стаканъ вина и, чуть не въ сотый разъ, чокается со мной.— Думалъ-ли я въ эту минуту, что мы прощаемся съ нимъ, почти навсегда.

Лѣтъ шесть спустя, встрѣчаю въ Петербургѣ, на Невскомъ, пріятеля моего, бывшаго товарища по полку, есаула Гайтова.

— Ты знаешь, Оскаръ Александровичъ здѣсь!—оживленно восклицаетъ онъ.

— Какъ! Левисъ здѣсь? Гдѣ же онъ остановился?—радостно кричу я.

— Да онъ больной, въ клиникѣ лежитъ; ему операцію будутъ дѣлать; у него ракъ въ желудкѣ,—сумрачно разсказываетъ Гайтовъ и, зная, что это извѣстіе должно сильно опечалить меня, старается не смотрѣть мнѣ въ глаза. При этихъ словахъ, невольная дрожь пробѣгаетъ по всему моему тѣлу. — Бѣдный Левисъ! Какъ онъ долженъ страдать, — подумалъ я. Машинально прощаюсь съ Гайтовымъ, сажусь на извозчика и прямикомъ ѣду въ клинику. Послѣ цѣлаго ряда мытарствъ изъ палаты въ палату, я, наконецъ, узнаю, что мой бѣдный генералъ лежитъ въ отдѣленіи извѣстнаго профессора Коломнина.

Не безъ трепета подхожу, отворяю дверь, смотрю,—большая свѣтлая комната; въ сторонѣ стоитъ, какъ мнѣ показалось, пустая кровать. Вѣрно, думаю, больной вышелъ куда нибудь.

— Здравствуйте, Верещагинъ!—вдругъ слышу съ кровати слабый сиплый голосъ. Всматриваюсь хорошенько, вижу, изъподъ сѣраго байковаго одѣяла выглядываетъ сѣдая, стриженная голова, а далѣе и самое лицо, малюсенькое, сморщенное, какъ выжатый лимонъ. Боже! Неужели это «онъ», мелькаетъ въ моей головѣ, и отъ ужаса я чуть не кричу. Неужели это тотъ самый Левисъ, который, сравнительно еще такъ недавно, лихо командовалъ своимъ звонкимъ голосомъ, объѣзжая полкъ и, подбоченясь, плетью горячилъ коня. Я даже никогда и не предполагалъ, чтобы болѣзнь могла такъ псказить человѣка. Левисъ, этотъ здоровякъ, молодчина, теперь лежалъ на кровати въ видѣ какого-то комочка. Въ довершеніе моего ужаса, больной судорожно высовываетъ изъ-подъ одѣяла руку и протягиваетъ ее мнѣ. Съ замираніемъ сердца жму я эту руку, когда-то сильную, мускулистую, теперь-же представляющую ничто иное, какъ кости, обтянутыя дряблой блѣдной кожей.

Да Левисъ-ли это? Не мерещится-ли мнѣ? И я невольно пристальнѣе всматриваюсь въ его лицо, желая припомнить знакомыя черты. Только добрые, голубые глаза его остались тѣже, да небольшой тонкій носъ, еще болѣе заострившійся. Остальныя же части лица, щеки, скулы, все такъ исхудало, такъ измѣнилось, что и узнать невозможно. Борода посѣдѣла и отросла, что̀ старило Левиса чуть не на 30 лѣтъ.

Ѣдкое чувство горести душило мнѣ горло. Между тѣмъ Левисъ вцѣпился своими костлявыми пальцами въ мою руку и какъ-бы искалъ себѣ помощи. Смотрю, изъ глазъ его текутъ слезы. Ежели бы больной въ это время охалъ, или стоналъ, и вообще жаловался бы на свое положеніе, мнѣ было бы легче. Но это безмолвное страданіе, этотъ умоляющій о помощи взглядъ, пе-

ресниваютъ меня; — я опускаюсь на колѣни, схватываю его руку и плачу, какъ дитя.

— Вотъ! Вотъ, гдѣ моя смерть! Вотъ отчего умираю!— глухимъ голосомъ шепчетъ мнѣ Левисъ, и заставляетъ ощупывать у себя подъ ложечкой. Вотъ! вотъ! Чувствуете, какое затвердѣніе! Вотъ оно-то и не даетъ ничего ѣсть! И Левисъ вдругъ начинаетъ отчаянно стонать, и на лицѣ его выражаются невыносимыя страданія.

— Что это у васъ, Оскаръ Александровичъ, рука перевязана марлей? Что вы съ нею сдѣлали?—говорю ему, когда онъ немного успокоился, желая хоть на минутку отвлечь его отъ настоящей причины страданій.

— Это мнѣ дѣлали переливаніе крови, хотятъ мои силы поднять, чтобы я могъ вынести операцію,—шепчетъ онъ, и въ то же время судорожно продолжаетъ давить мои пальцы у себя подъ ложечкой, точно надѣялся этимъ облегчить боль.

— Мишу, Мишу, сынишку жалко! Хоть бы мнѣ взглянуть на него въ послѣдній разъ!—вскрикиваетъ бывшій мой командиръ и новыя слезы капаютъ съ рѣсницъ по его исхудалому лицу. Въ это время приходитъ сидѣлка съ какимъ-то лѣкарствомъ, и я пользуюсь этой минутой, чтобы выйти изъ комнаты и узнать отъ доктора, въ чемъ именно заключалась болѣзнь Левиса. Докторъ Трояновъ, чрезвычайно симпатичный и обязательный господинъ, объяснилъ мнѣ, что у Левиса образовалось раковидное затвердѣніе въ пищеводѣ, которое и не пропускало пищу въ желудокъ. Больной умиралъ голодной смертью.

До операціи Левисъ не дожилъ и умеръ въ страшныхъ мученіяхъ. Жаль мнѣ его было очень. Любилъ я его крѣпко.

ЧАСТЬ II

ЗА-ГРАНИЦЕЙ

Его Императорское Высочество Великій Князь
ВЛАДИМИРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

ГЛАВА I.

Петербургъ 1880 г.

ВЪ НАЧАЛѢ ЯНВАРЯ 1880 г. открылась выставка картинъ брата моего Василія въ С.-Петербургѣ, на Фонтанкѣ, въ домѣ Безобразова. Вечеромъ картины показывались при электрическомъ освѣщеніи.

Выставка состояла изъ двухъ частей: изъ Индійской, куда относились картины и этюды изъ путешествія по Индіи; и изъ Русской, съ картинами изъ послѣдней Русско-Турецкой войны 1877—1878 годовъ.

О братѣ и о картинахъ его столько было передъ этимъ писано во всѣхъ газетахъ, что безъ преувеличенія можно сказать, весь Петербургъ разомъ бросился смотрѣть выставку. Какъ днемъ, такъ и вечеромъ давка стояла превеликая. Электрическій свѣтъ устроилъ самъ изобрѣтатель Яблочковъ и устроилъ его отлично. При этомъ надо сказать, что

электричество для картинъ было тогда новинкой, за которую художника нѣкоторыя газеты сильно порицали.

Я заранѣе списался съ братомъ и просилъ у него позволенія пріѣхать съ Кавказа въ Петербургъ, помогать въ устройствѣ выставки.

Помѣщеніе для картинъ мы нашли превосходное: семь залъ, изъ коихъ самый большой, по недостатку дневного свѣта, освѣщался и днемъ электричествомъ.

Плату за входъ братъ назначилъ пять копѣекъ.

Передъ открытіемъ, выставку посѣтилъ Великій Князь Владиміръ Александровичъ. Осматривалъ до малѣйшихъ подробностей и, повидимому, остался очень доволенъ. Братъ тутъ-же представилъ меня Его Высочеству.

Спустя порядочно времени, въ самый разгаръ, когда публика валила къ намъ ежедневно тысячами, мы узнаемъ, что Императоръ Александръ II, непремѣнно желаетъ видѣть картины, и не на выставкѣ, а у себя въ Зимнемъ дворцѣ.

А надо сказать, что всѣ картины были въ рамахъ, и нѣкоторыя изъ нихъ колоссальныхъ размѣровъ. Поэтому можно себѣ представить, сколько намъ предстояло затрудненій. Главная-же задача заключалась въ томъ: какъ быть съ публикой? Но все устроилось отлично. Объявили въ газетахъ о перерывѣ, а затѣмъ, въ назначенный день, утромъ, къ намъ явилась, не помню, рота или двѣ великановъ Преображенцевъ. Они подхватили картины, какъ есть, въ рамахъ лежмя, и понесли ихъ прямо во дворецъ. Я сопровождалъ ихъ. Потомъ пріѣхалъ туда самъ художникъ и, въ день—два, картины были прекрасно разставлены въ бѣлой Николаевской залѣ. Брату крайне не нравилось одно только, что залъ былъ бѣлый, и что снѣгъ, который изображался на нѣкоторыхъ его военныхъ картинахъ, выходилъ желтѣе стѣнъ зала.

При осмотрѣ картинъ Государемъ, братъ не присутствовалъ. Я же, хотя и былъ въ залѣ, но передъ самымъ прихо-

домъ Государя, ко мнѣ вышелъ завѣдующій дворцомъ генералъ Дель-Саль и объявилъ, что Его Величество желаетъ осматривать картины совершенно одинъ. Впослѣдствіи братъ передавалъ мнѣ, что Государь почти передъ каждой картиной останавливался, качалъ головой и съ грустью восклицалъ: «Все это вѣрно, все это такъ было!»

Черезъ нѣсколько дней выставка снова была открыта и публика съ удвоеннымъ интересомъ бросилась туда.

Обыкновенно, публика толпилась больше всего у «Панихиды».

Вотъ, стою я вечеромъ у этой картины. Несмотря на то, что здѣсь собралось болѣе сотни человѣкъ, тишина царитъ полнѣйшая. Всѣ стоятъ точно пригвожденные, и не сводятъ глазъ съ картины. Со стороны можно было подумать, что присутствуешь при дѣйствительной панихидѣ. Я ухожу вглубь комнаты, сажусь на подоконникъ и смотрю на публику. Мнѣ очень нравилось присматриваться и прислушиваться, что̀ говорятъ и ка̀къ относятся къ выставкѣ. Вонъ одна барыня, съ бѣлымъ шерстянымъ платкомъ на плечахъ, видно, ка̀къ смотрѣла въ бинокль, та̀къ и не хочетъ его опустить; держитъ у щеки и пристально вглядывается въ картину, точно хочетъ найти знакомое лицо. Тоскливо качаетъ она головой, достаетъ изъ кармана платокъ и украдкой вытираетъ выступившія слезы.

Вдругъ, чувствую, кто-то дергаетъ меня за рукавъ. Смотрю, братъ Василій зоветъ, чтобы я шелъ за нимъ.

— Что такое! говорю ему.

— Пойдемъ-пойдемъ! отвѣчаетъ онъ.

Осторожно, чтобы насъ не узнали, протискиваемся сквозь толпу, совсѣмъ близко къ шнуру, замѣнявшему барьеръ.

— Смотри-ка, смотри, какъ Суворинъ-то [1]) уставился въ «Панихиду», шепчетъ мнѣ братъ, и довольно безцеремонно по-

[1]) Издатель «Новаго Времени».

ворачиваетъ мою голову, и пальцемъ, украдкой, указываетъ на господина въ черномъ сюртукѣ; волосы длинные, какъ у художника. Онъ свѣсилъ руки, прижалъ подбородкомъ черную длинную бороду къ груди, и нѣсколько исподлобья пристально всматривался черезъ очки въ картину, какъ-бы желая, разъ навсегда, запечатлѣть въ памяти всѣ ея мельчайшія подробности.

Я много слышалъ отъ брата о Суворинѣ, но самого его до той поры никогда не видалъ, и потому съ интересомъ глядѣлъ на него, но къ сожалѣнію, публика такъ сильно стала напирать на меня, что я долженъ былъ уступить свое мѣсто.

На другой день, утромъ, прихожу на выставку довольно рано. Публику еще не впускали. Прислуга кой-гдѣ подметала полы, стирала пыль съ золоченыхъ рамъ, вытряхивала ковры и т. п. Въ это время вижу, входитъ братъ, сумрачный, подаетъ мнѣ «Новое Время» и восклицаетъ:

— Не даромъ вчера Суворинъ такъ внимательно разсматривалъ «Панихиду», прочти-ка, что тамъ написано! Читаю, и удивляюсь: въ газетѣ, на чемъ свѣтъ стоитъ, кто-то разноситъ и картину и ея автора.

Мнѣ очень было досадно то, что газета обрушилась именно на «Панихиду», тогда какъ эта картина, сколько я ни наблюдалъ, безусловно приковывала взоры каждаго, кто на нее смотрѣлъ.

Впослѣдствіи я объѣздилъ съ картинами брата почти всѣ главнѣйшіе города Европы и повсюду «Панихида» производила потрясающее впечатлѣніе. Объ ней всегда были самые восторженные отзывы.

Вслѣдъ затѣмъ, по поводу этой статьи произошла сильнѣйшая полемика между «Новымъ Временемъ» и «Голосомъ». За своего сотрудника вступился въ «Новомъ Времени» самъ Суворинъ,—а въ «Голосѣ», за брата Василія—Стасовъ.

Тогда-то вотъ, по выраженію Гоголя, и «пошла писать губернія». Недѣли двѣ подрядъ, каждый день появлялись статьи.

Публика-же чрезъ это все сильнѣе интересовалась и наполняла залы выставки.

Здѣсь, на выставкѣ, я нерѣдко встрѣчалъ Михаила Дмитріевича Скобелева. Онъ часто забѣгалъ полюбоваться на картину «Скобелевъ подъ Шейновымъ». Какъ извѣстно, «бѣлый генералъ» изображенъ здѣсь скачущимъ на бѣломъ конѣ, вдоль фронта солдатъ, при чемъ срываетъ съ головы своей фуражку и кричитъ имъ въ привѣтъ: «именемъ отечества, именемъ Государя, спасибо братцы!»

Скобелевъ каждый разъ приходилъ въ великій азартъ отъ картины, и ежели при этомъ народу въ залѣ было не особенно много, то бросался душить автора въ своихъ объятіяхъ. Я точно сейчасъ слышу, какъ онъ, обнимая брата, сначала мычитъ, а потомъ восклицаетъ: «Василій Васильевичъ! Какъ я васъ люблю!» а иногда, въ избыткѣ чувствъ переходилъ на «ты» и кричалъ: «тебя люблю». Случалось, что обнимая брата, генералъ нѣтъ-нѣтъ да и меня обниметъ.

Въ одно изъ такихъ свиданій, Михаилъ Дмитріевичъ обращается ко мнѣ и говоритъ:

— Вы знаете, что я, вѣроятно, скоро буду назначенъ командующимъ войсками Закаспійскаго края. Будемъ съ Текинцами воевать. Надѣюсь, вы со мной?—Я, конечно, съ восторгомъ поблагодарилъ генерала, и съ тѣхъ поръ моей завѣтной мечтой было, какъ-бы поскорѣй попасть въ этотъ походъ. А это было не легко. Желающихъ попасть къ Скобелеву въ его личное распоряженіе была масса. Къ нему безпрестанно являлась молодежь - офицеры съ рекомендательными письмами ото всѣхъ сильныхъ міра сего. Конкуренція была громадная. Но, благодаря брату, я—таки попалъ штабъ-офицеромъ по порученіямъ.

Чаще-же всѣхъ встрѣчалъ я на выставкѣ нашего почтеннаго поэта Якова Петровича Полонскаго. Пріютившись гдѣ нибудь на подоконникѣ въ глубинѣ комнаты, и слегка опираясь

на свои костыли, онъ съ видимымъ интересомъ прислушивался къ разнообразнымъ толкамъ публики. Если-же въ это время ему случалось поймать въ толпѣ самого художника, то тогда бесѣдѣ ихъ и конца не было.

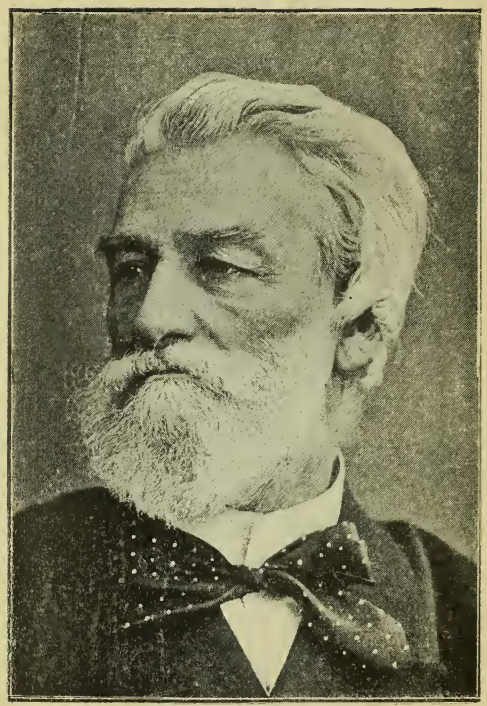
По окончаніи выставки, братъ рѣшилъ распродать свои картины, для чего онъ устроилъ аукціонъ на самой выставкѣ. Распродажу эту любезно принялъ на себя извѣстный знатокъ и любитель живописи, литераторъ Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ.

Въ газетахъ былъ заранѣе объявленъ день торговъ. Аукціонъ удался вполнѣ. Съѣхалось множество любителей и, можно сказать, богатѣйшихъ людей Россіи. Кто самъ не могъ почему либо пріѣхать, тотъ или послалъ замѣстителя, или заранѣе просилъ Григоровича за такую-то картину пти до такой-то суммы. Цѣны были назначены братомъ, сравнительно для Петербурга, очень высокія. Помню, многихъ поражало то обстоятельство, что этюды, величиною всего какихъ нибудь 6 вершковъ длины и 4 вышины, вдругъ оцѣнены были въ 1000—1500 руб.

Вообще, такого аукціона Петербургъ до той поры еще не видалъ.

АУКЦІОНЪ.

Погода прекрасная. Сквозь спущенныя шторы, солнце мягко освѣщаетъ всю серію индійскихъ картинъ, выставленныхъ въ просторномъ залѣ. Посреди зала за столомъ расположились аукціонисты. Возлѣ нихъ я вижу, откинувшуюся въ креслѣ, заложивъ ногу на ногу, представительную фигуру Григоровича, съ карандашомъ въ одной рукѣ и съ каталогомъ въ другой. Слегка украшенное вьющимися сѣдоватыми бакенбардами лицо его—озабоченное, торжественное. Рядомъ съ нимъ сидитъ извѣстный художественный критикъ, Владиміръ Васильевичъ Стасовъ, другъ и пріятель брата моего. Громадный ростъ, длинные сѣдые волосы и такая же борода, рѣзко выдѣляютъ его



Дм. Вас. Григоровичъ.

изъ всей публики. Стасовъ наклонилъ свою сѣдую голову къ Григоровичу и, прикрывшись рукой, шепчетъ ему что-то на ухо. Тотъ въ отвѣтъ многозначительно киваетъ головой. Далѣе, полукругомъ сидятъ человѣкъ 60—70 жаждущихъ пріобрѣсти картины. Все любители, да все, по выраженію Стасова, самые тузовые. Вонъ въ сторонкѣ, скромно сложивъ руки на груди, стоитъ въ черномъ сюртукѣ Третьяковъ, Павелъ Михайловичъ. Лицо его, какъ и Григоровича, тоже озабоченное, но не торжественное. Уже нѣсколько прекрасныхъ вещей успѣли, что называется, вырвать у него изъ горла. На лицѣ его скорѣе можно прочесть глубокую скорбь. Вонъ сидитъ Базилевскій, Федоръ Ивановичъ, рядомъ съ нимъ полковникъ, флигель-адъютантъ, маленькаго роста, очень подвижной. Полковникъ суетится, и все что-то показываетъ Базилевскому карандашомъ въ каталогѣ.

Далѣе видны: князь Львовъ, Лопухинъ-Демидовъ, Д. П. Боткинъ, князь Воронцовъ, князь Меншиковъ, Нарышкинъ, графъ Строгановъ, Зиновьевъ, Ханенко, Терещенко,—да всѣхъ и не перечтешь.

Аукціонъ въ полномъ разгарѣ.

— 4550 руб., второй разъ! громко раздается голосъ аукціониста въ безмолвствующемъ залѣ.

Третьяковъ съ озабоченнымъ видомъ подходитъ къ продаваемой картинѣ, долго и пристально разсматриваетъ ее со всѣхъ сторонъ и затѣмъ уходитъ на свое мѣсто. Казалось, послѣ такого тщательнаго осмотра, онъ сразу накинетъ сотню, а нѣтъ и двѣ, рублей.

— Рупь! слышенъ чей-то робкій, убитый голосъ со стороны Третьякова. Смотрю на Павла Михайловича, чтобы узнать, онъ ли отвалилъ такую сумму. Но по лицу его, ничего не узнать. Глаза полузакрыты и вся фигура его невозмутима.

Акціонистъ недоволенъ. Ему хотѣлось бы, чтобы все сотнями, а нѣтъ—тысячами прибавляли, чтобы скорѣй къ дѣлу.

Свирѣпо взглядываетъ онъ на Третьякова, и затѣмъ, быстро обращаясь къ остальной публикѣ, осипшимъ голосомъ выкликаетъ:

— 4551 рубль, кто больше?

Торгъ идетъ о небольшомъ этюдѣ Индійскаго храма «Таджъ», величиною менѣе квадратнаго аршина.

Мраморный храмъ, причудливой индійской архитектуры, ярко блестѣлъ на ослѣпительномъ солнцѣ своей бѣлизной и, утопая въ тѣни тропической зелени, отражался въ зеркальной поверхности озера. Глаза съ трудомъ можно было отвести отъ этой картины.

Общее молчаніе.

— 4551 рубль! снова вопрошаетъ аукціонистъ и уже берется за молотокъ. Казалось, вотъ-вотъ, этюдъ останется за Третьяковымъ.

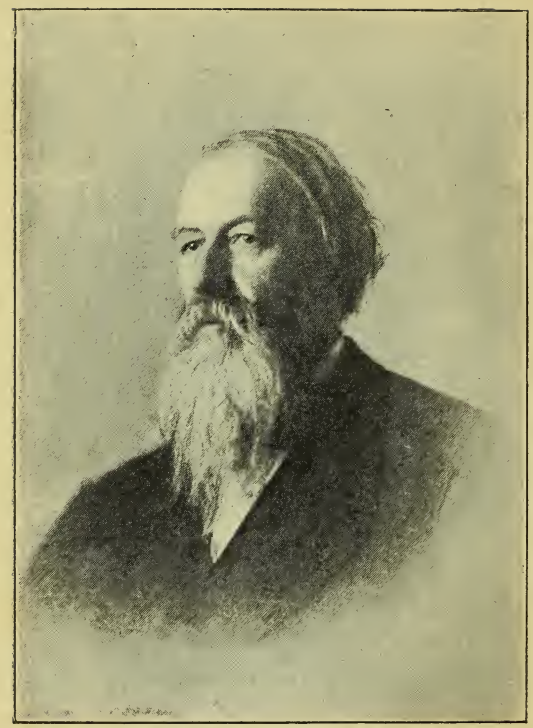
— 100 рублей!

— 200 рублей!

— 100 рублей! кто басомъ, кто теноркомъ—вдругъ точно что подтолкнуло любителей, посыпались надбавки съ разныхъ сторонъ. Аукціонистъ едва успѣвалъ выкрикивать цѣны: 4651! 4851! 4951!

Оживленно расширенными зрачками поглядывалъ онъ по сторонамъ, ожидая новыхъ и новыхъ надбавокъ. Въ то же время онъ искоса, какъ бы боязливо, бросалъ взоры и на Третьякова. Аукціонистъ, очевидно, не любилъ «рубля».

— Пятьсотъ! неожиданно раздается изъ сосѣдней залы. Кто бы это такой? думаю. Заглядываю въ дверку—въ большомъ залѣ, на эстрадѣ для музыкантовъ, возсѣдалъ на стулѣ, поджавъ подъ себя ногу, князь Демидовъ-Санъ-Донато, въ той же самой темносиней визиткѣ, въ какой я видѣлъ его въ послѣдній разъ въ Зимнемъ дворцѣ, когда онъ приходилъ съ Васильчиковымъ, передъ самымъ прибытіемъ Государя, взглянуть на выставку брата. Демидовъ сидѣлъ и любовался «Великимъ



B. Cmacot

моголомъ въ своей мечети». Освѣщенная яркимъ электрическимъ свѣтомъ, картина была очень эффектна. Любуясь ею, князь въ то же время чутко прислушивался и къ торгамъ. Онъ иначе не прибавлялъ, какъ или 500, или 1000.

— 5451 рубль—кто больше? раздается снова тотъ же осипшій голосъ аукціониста.

— Рупь! опять слышится знакомый, хотя и робкій, но настойчивый голосъ Третьякова. Аукціонистъ даже не взглядываетъ, откуда идетъ эта прибавка. Онъ хорошо изучилъ голоса покупателей.

Въ концѣ концовъ, «Таджъ» остается за Базилевскимъ съ чѣмъ-то за семь тысячъ рублей.

Долго бился почтенный Павелъ Михайловичъ удержать за собой эту вещь, но оказался не въ силахъ. Вѣдь онъ желалъ, по возможности, пріобрѣсти всю коллекцію, тогда какъ остальные господа торговались только на то, что̀ имъ въ особенности нравилось, и, конечно, поэтому, имѣли громадное преимущество предъ Третьяковымъ. Такъ, напримѣръ, и Базилевскій, очень богатый человѣкъ, онъ заранѣе рѣшилъ купить этотъ этюдъ, и, впослѣдствіи, самъ сознавался своимъ пріятелямъ, что пошелъ бы не только до 7-ми, но и до 17-ти тысячъ.

Въ первый день, къ 5-ти часамъ вечера, была продана только часть индійскихъ картинъ, всего 45 штукъ, и выручено было 52 тысячи руб. Григоровичъ, замѣтивъ утомленіе публики, во̀ время остановилъ аукціонъ до слѣдующаго дня. На другой день проданы были остальныя индійскія вещи, 56-ть картинъ, за сумму около 65 тысячъ рублей. Такъ что всего братъ выручилъ болѣе 117 тысячъ рублей. Публика съ нетерпѣніемъ ожидала продажи военныхъ картинъ, но ихъ рѣшено было не продавать, а везти за-границу и тамъ показывать.

Не могу не разсказать про курьезный случай, который произошелъ у насъ по окончаніи выставки, при укладкѣ картинъ.

Всей плотничной работой, по установкѣ и упаковкѣ, завѣдывалъ у брата плотникъ Яковъ Михайловъ,—костромичъ, Кологривскаго уѣзда. Красивый брюнетъ, съ окладистой бородой и быстрыми глазами, Яковъ былъ очень широкъ въ плечахъ и силенъ.

Такъ вотъ, какъ-то подъ вечеръ, когда время было уже шабашить, самый этотъ Яковъ обращается ко мнѣ и, съ усмѣшкой, говоритъ:

— Пойдемъ-ка, баринъ, я тебѣ что покажу! и ведетъ въ одно изъ залъ, гдѣ работало человѣкъ 8-мъ обойщиковъ, подъ руководствомъ хозяйскаго сына, парня лѣтъ 20-ти, съ блѣднымъ одутловатымъ лицомъ, съ черными усиками. Сюртукъ разстегнутъ, и на жилетѣ болталась серебряная цѣпочка отъ часовъ. Хозяйскій сынъ, какъ и остальные рабочіе, уже забиралъ свои инструменты: молотокъ, гвозди, тиски, и все это укладывалъ въ мѣшокъ. Обойщики съ самаго утра снимали прекрасный малиноваго цвѣта плюшъ, которымъ были декорированы картины. Плюшу этого у брата было больше тысячи аршинъ.

Яковъ спокойно подходитъ къ обойщику, тычетъ его, какъ будто шутя, подъ мышки, или по-просту говоря «подъ микитки», и весело восклицаетъ:

— Что ты, Андрей Ивановичъ, больно толстъ сталъ? Тотъ, не оборачиваясь, сердито огрызается и, видимо, торопится уходить.

— Да постой-постой! пристаетъ къ нему Яковъ, ласково обнимаетъ, щупаетъ бока и въ то же время ловко выдергиваетъ рубашку изъ подъ жилетки. Обойщикъ, оказывается, былъ весь толсто обмотанъ плюшемъ.

— Ай да на-а-арень! Ты не хозяйскій сынъ, а просто... сынъ! укоризненно говоритъ Яковъ. Тотъ, между тѣмъ, сконфуженный, стоялъ растопыря руки, точно его облили ушатомъ воды.

Чрезвычайно забавно было смотрѣть, какъ на глазахъ всѣхъ своихъ же рабочихъ, этотъ малый, по мѣрѣ того, какъ Яковъ сматывалъ съ него плюшъ, вертѣлся на одномъ мѣстѣ точно чурбанъ какой.

— Да ну же, вертись-вертись! «скоряе»! покрикивалъ Яковъ, и безцеремонно тыкалъ его въ бока кулакомъ.—Ишь, стерва, ей-Богу, аршиновъ 20 сперъ-бы. Право! Ну, убирайся же! кричитъ онъ, когда плюшъ былъ аккуратно сложенъ при помощи этого же самаго обойщика.—Да «мотри», разскажи своему батькѣ, какъ ты сегодня влопался!

ГЛАВА II.

Сборы за границу.

ТО БЫЛО ВЪ АПРѢЛѢ 1881 г. Михаилъ Дмитріевичъ Скобелевъ, безъ сюртука, страшно фальшиво насвистывая какой-то маршъ, нервно разгуливалъ большими шагами по мягкимъ коврамъ обширнаго кабинета, въ домѣ князей Бѣлосельскихъ-Бѣлозерскихъ, что нынѣ дворецъ великаго князя Сергія Александровича.

Генералъ не въ духѣ. Онъ только что вернулся изъ дворца, гдѣ представлялся Императору Александру III и вкратцѣ докладывалъ Его Величеству о Текинской экспедиціи. Сердито разглаживаетъ онъ заразъ обѣими руками, направо и налѣво, свои рыжіе раздушенные бакенбарды и поправляетъ на шеѣ сбившихся Георгіевъ. Затѣмъ засовываетъ руки въ карманы своихъ генеральскихъ рейтузъ, заправленныхъ въ высокіе лакированные сапоги, и снова принимается шагать по кабинету. Я стою у окна и поглядываю на проѣзжающихъ по Невскому проспекту.

— Попросите, пожалуйста, полковника Баранка [1])! говоритъ мнѣ генералъ своимъ картавымъ голосомъ. Но Баранокъ уже входилъ, какъ всегда, насупившись, съ толстымъ портфелемъ подъ мышкой.

— Отстаньте вы съ вашими бумагами! надоѣли! капризно кричитъ Михаилъ Дмитріевичъ.—Лучше поговоримте вотъ о чемъ: я ѣду за-границу, слышите? на дняхъ, въ Парижъ! Затѣмъ обращается ко мнѣ и спрашиваетъ.

— А вы, ѣдете со мной?

— Съ удовольствіемъ, ваше высокопревосходительство. Я уже писалъ брату, что непремѣнно хочу пріѣхать сейчасъ послѣ экспедиціи, отвѣчаю ему.

— Ну вотъ и отлично! Ушаковъ [2]) тоже ѣдетъ. Такъ собирайтесь, готовьте себѣ заграничный паспортъ! И генералъ протягиваетъ мнѣ руку въ знакъ того, чтобы я оставилъ его заниматься бумагами съ Баранкомъ.

Алексѣй Никитичъ Баранокъ, какъ я убѣдился, проведя съ нимъ два похода, Турецкій и Текинскій, былъ замѣчательный человѣкъ. У себя ли дома, или въ походной палаткѣ, — при докладѣ ли у генерала, когда, порой, нашъ почтенный Михаилъ Дмитріевичъ капризно разносилъ бѣднаго, измученнаго, не спавшаго нѣсколько ночей Алексѣя Никитича, или во время самаго жаркаго сраженія, когда тотъ верхомъ, на изнуренной лошади, скакалъ съ приказаніемъ въ самую передовую цѣпь стрѣлковъ — Баранокъ все тотъ же, невозмутимый, хладнокровный.

Росту онъ былъ средняго, коренастый, широкоплечій, волосы носилъ короткіе, щеки и подбородокъ гладко брилъ, даже въ походѣ. Щетинистые усы придавали его лицу суровое выраженіе.

Выносливъ Баранокъ былъ замѣчательно. Хорошо помню, въ Текинскомъ походѣ, послѣ цѣлаго дня бѣшеной скачки за

---

[1]) Старшій адъютантъ Скобелева по строевой части.

[2]) Адъютантъ генерала Скобелева.

генераломъ по раскаленнымъ степямъ, при жарѣ свыше 50 градусовъ, Баранокъ вечеромъ садится писать дѣловыя бумаги, и пишетъ всю ночь на пролетъ, до самаго утра, пока генералъ не проснется и не позоветъ его къ новому докладу.

ДЕНЩИКЪ ПЕТРОВЪ.

Выхожу отъ генерала въ сосѣднюю комнату. Тамъ сидѣлъ Михаилъ Ивановичъ Ушаковъ, и мы съ нимъ разговорились о нашемъ предстоящемъ путешествіи за-границу. Я любилъ поговорить съ Ушаковымъ. Онъ всегда, бывало, сообщитъ что-нибудь интересное. Такъ случилось и теперь.

— Что это, спрашиваю Ушакова — не видно Петрова [1]) у генерала?

— А вы развѣ не знаете, что случилось съ нимъ въ Астрахани? отвѣчаетъ онъ. Впрочемъ, вѣдь вы поѣхали прямо на Кавказъ; поэтому и не знаете, улыбаясь разсказывалъ Михаилъ Ивановичъ.

— Помните, какой вообще Петровъ былъ невѣжа? По пріѣздѣ же въ Астрахань, гдѣ генералъ ночевалъ на пароходѣ, съ нимъ просто сладу не стало. Надѣлъ, знаете, генеральскій китель съ золочеными пуговицами, руки въ карманы и разыгрываетъ себѣ роль чуть не главнаго покорителя текинцевъ. Я, знаете, все терпѣлъ до поры до времени, пока онъ не нагрубилъ нашему Филиппу Александровичу [2]), просто обругалъ того, бѣднаго. Ну, тогда я уже, конечно, доложилъ генералу, въ чемъ дѣло. А Михаилъ Дмитріевичъ мнѣ сказалъ: прикажите, говоритъ, посадить его въ трюмъ и съ первымъ же рейсомъ отправьте обратно въ Красноводскъ. Пускай тамъ его разсчитаютъ; онъ мнѣ больше не нуженъ. Какъ вамъ нравится?

---

[1]) Петровъ денщикъ генерала Скобелева во время Текинской экспедиціи. Здоровенный дѣтина съ рыжими усами.

[2]) Имя вымышленное.

М. Ушаковъ

Превосходно! восклицаю я. Но интересно знать, какъ вы его посадили? Ничего, сразу покорился? Вѣдь онъ дѣтина здоровый? спрашиваю его.

— Э! очень просто! Я передалъ приказаніе капитану парохода, тотъ свистнулъ и четверо здоровыхъ матросовъ подходятъ къ Петрову. А тотъ, надо вамъ сказать, только что купилъ себѣ новое ватное пальто въ городѣ, и въ самое это время входилъ на пароходъ. Матросы предлагаютъ ему слѣдовать за ними. Куда! и слышать не хочетъ. Тогда тѣ, безъ дальнихъ разговоровъ, подхватываютъ его подъ руки, и какъ онъ былъ, въ обновкѣ, подтаскиваютъ къ люку и давай его туда пропихивать. А пальто претолстое, не лѣзетъ! едва-едва пропихали. Ну просто потѣха была! добавилъ Ушаковъ.

— И отлично! превосходно!—съ искренней радостью восклицаю я.

— Только знаете, Михаилъ Ивановичъ, вѣдь генералъ самъ избаловалъ Петрова. Вѣдь это на моихъ глазахъ было въ Бами [1]). Петровъ подаетъ одѣваться и, не помню, что-то не потрафилъ. Михаилъ Дмитріевичъ оборачивается и бацъ того кулакомъ въ ухо. Конечно, ударилъ не Богъ вѣсть какъ! Да и что сдѣлаешь такому верзилѣ! А Петровъ не дуракъ; сейчасъ корчитъ плаксивую морду и отходитъ въ сторону. Генералъ же, вѣрно вспомнилъ, что я былъ свидѣтелемъ такого проступка, за который онъ самъ строго преслѣдовалъ офицеровъ, скорѣй достаетъ изъ кошелька сторублевую бумажку и суетъ тому въ руку. Ну, сами посудите, не баловство-ли же это? Ну, извинись! Ну, дай 5 рублей, 10 рублей,—но за что же давать сто?.. говорю ему.

---

[1]) Мѣстечко въ Ахалъ-Текинскомъ оазисѣ.

МИРАЖЪ.

Вскорѣ послѣ этого разговора, встрѣчаю опять Ушакова и спрашиваю его:

— А что, Михаилъ Ивановичъ, не разсказывалъ я вамъ, какъ нашъ генералъ на Черномъ морѣ миражемъ любовался?

— Нѣтъ, нѣтъ! пожалуйста, разскажите!—восклицаетъ тотъ.

— Постараюсь передать вамъ, точь-въ-точь, тѣми же словами, какъ самъ слышалъ отъ Баранка!—говорю ему.

— Это, знаете, было, когда генералъ возвращался изъ Турціи въ 1879 году. Сѣлъ онъ, кажется, въ Буюкъ-Дере на громадный пароходъ добровольнаго флота «Россія». Вмѣстѣ съ нимъ былъ посаженъ цѣлый пѣхотный полкъ, со всѣмъ обозомъ и лошадьми. Ну, вы конечно поймете, что при такой массѣ народу, услѣдить за порядкомъ было очень трудно. День чудный. Солнце ярко сіяло. Генералъ сидѣлъ въ каютъ-компаніи въ обществѣ офицеровъ N полка и, по обыкновенію, занималъ ихъ своими боевыми разсказами. Вдругъ вбѣгаетъ командиръ парохода и торопливо докладываетъ генералу:

— Ваше превосходительство, неугодно-ли будетъ полюбоваться рѣдкимъ явленіемъ на Черномъ морѣ—миражемъ?—Генералъ встаетъ, а за нимъ, конечно, и всѣ офицеры. Скобелевъ подымается за капитаномъ на мостикъ.

— Вотъ, ваше превосходительство, не угодно ли взглянуть: передъ нами совершенно ясно видно устье Дуная, тогда какъ по курсу мы находимся болѣе 100 верстъ отъ берега,—торжественнымъ голосомъ объясняетъ капитанъ. Мы смотримъ и любуемся. Устье Дуная, его берега, даже деревья отчетливо виднѣлись. Миражъ, казалось, становился все рѣзче и отчетливѣе, и чѣмъ дальше подаемся, тѣмъ Дунай становился виднѣе, даже цвѣтъ воды отдѣлялся замѣтнѣе.

— Въ это время всѣ видятъ, какъ красивый пѣхотный офицеръ Абадзіевъ, который состоялъ при Скобелевѣ, ловко

взобрался на самую верхушку мачты и оттуда наблюдаетъ за горизонтомъ. Мачта шибко качается и дрожитъ.

— Слѣзайте прочь, Абадзіевъ! Я васъ подъ арестъ посажу? Какъ вы смѣете лазить безъ спросу?—сердито кричитъ на него Скобелевъ, боясь, чтобы тотъ не свалился.

— Не прикажете-ли лотъ бросить?—не безъ нѣкотораго смущенія, вполголоса спрашиваетъ капитана его помощникъ. Тотъ въ недоумѣніи.

— Да, пожалуй, прикажите? И затѣмъ, какъ бы въ свое оправданіе передъ генераломъ, кричитъ, не отрывая глазъ отъ бинокля:

— Да вѣдь курсъ-то вы провѣряли?

— Такъ точно, —отвѣчаетъ тотъ.

Бросаютъ лотъ—40 футъ глубины. Мы какъ есть полнымъ ходомъ валяемъ въ берегъ.

— Стопъ машина!—командуетъ капитанъ.

Что такое? Шумъ! Переполохъ! Оказывается, солдаты, сколько за ними ни слѣдили, успѣли навалить цѣлую груду ружей, шашекъ, штыковъ, какъ разъ возлѣ компаса. Ну, конечно, стрѣлку и отклонило.

— Вотъ вамъ и миражъ!—смѣясь говоритъ Ушаковъ.— Нечего сказать, угостили генерала рѣдкимъ явленіемъ на Черномъ морѣ.

ГЛАВА III.

Отъѣздъ.

АПРѢЛЯ 15 НА ВАРШАВСКОМЪ вокзалѣ собрались родные и знакомые проводить Михаила Дмитріевича Скобелева. Онъ уѣзжалъ за границу. Генералъ былъ въ сѣренькомъ штатскомъ пальто и въ сѣромъ цилиндрѣ. Не скрою, что видъ его въ этомъ костюмѣ, по крайней мѣрѣ для меня, былъ нѣсколько комиченъ. Скобелеву не шло штатское платье. Его манера держаться, его походка, расчесанные направо и налѣво бакенбарды, постоянно напоминали военнаго. Но вотъ раздается второй звонокъ. Скобелевъ входитъ въ вагонъ. За нимъ слѣдуетъ бывшій его воспитатель, французъ Жирардѣ, господинъ почтенныхъ лѣтъ, маленькій, худенькій, очень подвижной, съ всклокоченной сѣдоватой бородкой.

Скобелевъ очень любилъ Жирардѣ. Затѣмъ вхожу и я. Ко мнѣ заходитъ въ вагонъ, проститься, братъ мой, Николай Васильевичъ, извѣстный дѣятель по молочному хозяйству. Я по-

знакомилъ его съ генераломъ, и тотъ такъ сердечно обошелся съ братомъ, точно и вѣкъ знакомъ былъ. Братъ до сихъ поръ не можетъ забыть этой встрѣчи. Надо правду сказать, Михаилъ Дмитріевичъ умѣлъ покорять сердца людей.

Сосѣднее отдѣленіе нашего вагона занялъ знакомый Михаила Дмитріевича, нѣкто П. Онъ тоже ѣхалъ въ Парижъ.—П. оказался преостроумнымъ господиномъ, и всю дорогу потѣшалъ Скобелева своими разсказами.

Надо прибавить, что я заграницей никогда не бывалъ, если не считать Турціи и Румыніи, поэтому, чѣмъ дальше подвигались мы къ западу, тѣмъ для меня все становилось интереснѣе и интереснѣе.

ВЪ БЕРЛИНѢ.

Въ Берлинѣ мы пробыли сутки. Остановились въ гостинницѣ «Петербургъ». Утромъ, напившись кофе, Скобелевъ пошелъ со мною прогуляться по главной улицѣ «Unter den Linden». Улица эта очень мнѣ понравилась, широка и чисто содержана; зданія же, на мой взглядъ, не представляютъ собой ничего особеннаго. Первое, что поразило меня здѣсь, это пара громадныхъ договъ, пепельной масти. Запряженные въ маленькую телѣжку, они мирно лежали на панели при входѣ въ какую-то лавочку, высунувъ свои длинные красные языки.

Дорогой Скобелевъ зашелъ въ лучшій книжный магазинъ и заказалъ переслать ему въ Россію все, что вышло замѣчательнаго, касающагося до военнаго дѣла за послѣдніе два-три года. Заказъ этотъ, какъ потомъ я узналъ, обошелся моему генералу приблизительно около тысячи марокъ.

Когда мы шли обратно въ гостинницу, то встрѣтили около Бранденбургскихъ воротъ полкъ солдатъ съ музыкой. Толпа мальчишекъ шла впереди и старалась попадать въ ногу. Солдаты франтовски одѣты и повидимому хорошо содержаны.

Когда знамя полка поравнялось съ нами, Скобелевъ, чтобы отдать честь, высоко поднимаетъ надъ головой шляпу. Только что прошелъ полкъ, смотрю, намъ навстрѣчу, ѣдетъ въ открытой коляскѣ Императоръ Вильгельмъ. Его характерное лицо, съ сѣдыми бакенбардами и закрученными кверху усами, трудно было не признать. Скобелевъ опять снимаетъ свой сѣрый цилиндръ, и когда Вильгельмъ проѣхалъ, съ нѣкоторымъ пафосомъ говоритъ мнѣ: я очень люблю этого человѣка, онъ достоинъ уваженія.

Что непріятно поразило меня въ Берлинѣ, это страшная солдатчина. Она проглядывала во всемъ и на каждомъ шагу.

Вотъ навстрѣчу намъ идетъ молодой офицеръ, стройный, бѣлокурый. Лицо гладко выбрито, рыжіе усики тонко закручены кверху. Посмотрите, до чего оригинальна вся его фигура: плечи подняты чуть не до ушей, грудь какъ-то неестественно выпячена, и такая высокая, какой я не встрѣчалъ у самыхъ здоровыхъ моихъ казаковъ. Мнѣ ужасно хотѣлось узнать, не подложено ли было у него тамъ чего нибудь, въ родѣ ватки. Лѣвой рукой офицеръ слегка придерживалъ золоченый эфесъ сабли, а правую горделиво засунулъ за бортъ сюртука. При этомъ локтями такъ вывертывалъ, точно они были у него на пружинахъ. И, что мнѣ въ особенности странно показалось, при встрѣчѣ съ прохожими, офицеръ этотъ, какъ будто никого не замѣчалъ, шелъ совершенно прямо, точно всѣ были обязаны давать ему дорогу. А ужъ важности въ лицѣ его было столько, что и разсказать нельзя. Я увѣренъ, что у самого Мольтке такой важности и десятой доли никогда не бывало. За этимъ офицеромъ встрѣтили мы десятка два другихъ, и у всѣхъ видъ былъ точно такой-же, и всѣ были съ богатырскими грудями.

— И чего они такъ важничаютъ, думаютъ, что уже это очень умно, что-ли? говорю дорогой моему генералу. Такъ Скобелевъ мнѣ на это съ досадой отвѣтилъ:

— А что станешь дѣлать! Они могутъ важничать; они имѣютъ право на это!

ОТЪ БЕРЛИНА ДО КЕЛЬНА.

Поѣздъ мчится съ замѣчательной быстротой. Я смотрю въ окно вагона и любуюсь видомъ окрестностей. Селенія за селеніями, городъ за городомъ, такъ и мелькаютъ, точно во снѣ. И какая громадная разница съ Россіей. Нѣтъ здѣсь соломенныхъ крышъ, нѣтъ этого длиннаго ряда бревенчатыхъ домиковъ, выстроенныхъ въ одинъ порядокъ. Нѣтъ этой невылазной грязи на улицахъ. Постройки здѣсь все каменныя, прочныя, крытыя большею частію черепицей. Улицы мощеныя. Вездѣ чистота.

Начинаетъ темнѣть. Поѣздъ несется все съ той-же стремительностью. Не помню, отъ какой станціи, по обѣ стороны дороги начались фабрики и заводы, и что дальше, то больше. Такого громаднаго количества фабрикъ, сосредоточенныхъ въ одномъ раіонѣ, я никогда и не предполагалъ. Ночь уже совсѣмъ наступила. Я продолжаю смотрѣть въ окно, и не могу оторвать глазъ отъ этой удивительной картины. Мнѣ рѣшительно представляется, что я ѣду по какому-то заколдованному міру гномовъ. Тысячи трубъ извергаютъ столбы огненнаго дыма. Чудовищныя печи, раскаленныя до красна, въ ночной темнотѣ, зловѣще пылаютъ. Огненные языки по временамъ вырываются изъ жерлъ печей и, какъ-бы облизывая самый остовъ трубы, высоко взлетаютъ къ небу. Тысячи оконъ въ громадныхъ фабричныхъ зданіяхъ, освѣщенныхъ электричествомъ, мелькаютъ на темномъ фонѣ, подобно звѣздамъ. Озаренныя огнемъ лица рабочихъ, снующихъ около печей, среди моря дыму и пламени, дополняютъ эту волшебную картину. И эта картина тянется не двѣ, не три версты, а нѣсколько станцій. Стоитъ только проѣхать отъ Берлина до Кельна, чтобы понять удивительную заводскую дѣятельность Германіи.

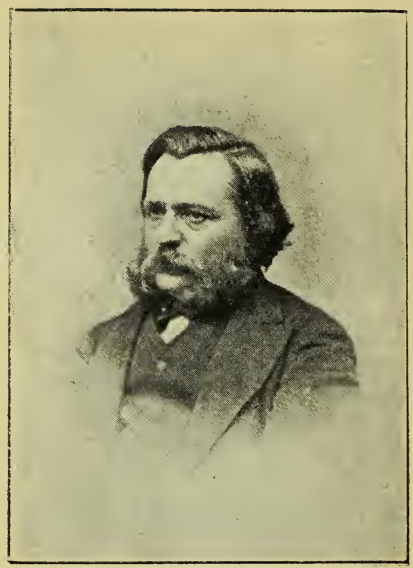
ЖИРАРДѢ.

До нѣмецкой границы мы ѣхали въ отдѣльномъ купэ. Далѣе-же, по Германіи, въ общемъ вагонѣ 1-го класса. Здѣсь насъ всю дорогу смѣшилъ своимъ поведеніемъ господинъ Жирардѣ. Онъ, какъ истый французъ и патріотъ, вообще не любилъ нѣмцевъ; со времени же войны 1870 года, возненавидѣлъ ихъ всей своей душей. А потому, какъ только мы усѣлись въ нѣмецкій вагонъ и поѣхали по нѣмецкой землѣ, нашего Жирардѣ, до того времени болтливаго и веселаго, какъ и всѣ французы, невозможно было узнать, такъ онъ стихъ, прижался въ уголъ и только изрѣдка мрачно поглядывалъ изъ подлобья. Если-же Скобелевъ, смѣясь, обращался къ нему съ какимъ-либо вопросомъ, чтобы хотя сколько-нибудь развеселить его, то Жирардѣ сухо, коротко и даже грубо отвѣчалъ, и затѣмъ снова впадалъ въ прежнее меланхолическое настроеніе. Онъ просто не могъ слышать гнусливаго восклицанія кондукторовъ на станціяхъ: «Bitt' aufsteigen, ihr Platz nehmen».

Каждый разъ, какъ онъ слышалъ эти слова, то саркастически улыбался, и вполголоса презрительно повторялъ псковерканнымъ манеромъ эту фразу. Зато надо было видѣть этого француза, когда, наконецъ, раздалось давно ожидаемое имъ «Erquelines», названіе пограничной станціи.

Жирардѣ точно переродился. Какъ-то выросъ, выпрямился. Маленькая круглая шапочка, надвинутая было на брови, теперь съѣхала на затылокъ. Онъ такъ повеселѣлъ, что готовъ былъ на каждой станціи цѣловаться, не только что съ кондукторомъ, но даже съ каждымъ смазчикомъ.

Я, въ душѣ, сравнивалъ его въ это время съ самимъ собой, когда бывало, въ юности, возвращался изъ Петербурга на родину: когда подъѣзжалъ я къ нашей деревнѣ, готовъ былъ тоже броситься на шею первому встрѣчному крестьянину, лишь бы онъ былъ «нашъ». Когда же мы вступили въ первый разъ



Жирарде—воспитатель М. Дм. Скобелева.

на французскую платформу, Жирардѣ сдѣлался просто смѣшонъ. Онъ былъ въ какой-то ажитаціи. То онъ хваталъ Скобелева подъ руку и тащилъ его, что-то показывать, то П., то меня. Все онъ находилъ здѣсь прекраснымъ, цѣлесообразнымъ и въ десять разъ лучшимъ, чѣмъ на нѣмецкихъ дорогахъ. Онъ даже уговорилъ меня зайти въ буфетъ и спросить бульону и чашку кофе. Но бульонъ оказался очень плохого качества, а кофе подали въ какой-то полоскательной чашкѣ, со столовой ложкой, вмѣсто чайной, такъ неаппетитно, что я и пить не сталъ. Когда-же мы тронулись дальше, и я замѣтилъ Жирардѣ, что нѣмецкіе вагоны гораздо удобнѣе и лучше французскихъ, онъ не на шутку обидѣлся и сказалъ, будто я говорю это только для того, чтобы его разсердить. Жирардѣ не могъ допустить, чтобы у нѣмцевъ было что либо лучше чѣмъ у французовъ. Въ этомъ отношеніи онъ увлекался до крайности. Какъ сейчасъ смотрю на него: сидитъ онъ у окна вагона, вертитъ между пальцами свою маленькую серебряную табакерку и съ жаромъ объясняетъ Скобелеву. Сѣдая бородка его такъ и трясется. Онъ видимо расхваливаетъ своему сосѣду воздѣланныя и обработанныя окрестности. «Voila, voila!... et ces canaux!.. les Allemands... aucune idée... долетаютъ до меня его отрывочныя восклицанія.

Окрестности дѣйствительно очаровательны. Поля, парки, сады—восхитительныя, какъ игрушки дачки, каналы, мосты, шоссе, такъ и мелькаютъ передъ глазами. Нигдѣ не видно ни пяди невоздѣланной земли, все обработано. Вездѣ видна рука человѣческая.

Пока я такъ любовался окрестностями, вдругъ слышу позади себя сердитый голосъ П.

— Чортъ знастъ! да куда же онъ дѣвался?

Смотрю, мой соотечественникъ, съ заспаннымъ сердитымъ лицомъ, стоитъ въ своей сѣренькой визиткѣ, наклонившись и чего-то ищетъ. На правой ногѣ надѣтъ ботинокъ, а на лѣвой нѣтъ.

— Да вы искали ли подъ скамейкой? говорю ему.

— Да уже вездѣ искалъ! Мы принимаемся шарить вмѣстѣ. Элегантно разодѣтые пассажиры-французы, мущины и дамы, которые во множествѣ усѣлись на послѣднихъ станціяхъ подъ Парижемъ, вѣжливо сторонятся, и не безъ улыбки позволяютъ намъ искать кругомъ. Ботинокъ точно въ воду канулъ. Не иначе, какъ его выкинулъ погой, по неосторожности, кондукторъ, который ночью заходилъ провѣрять билеты. Вагоны же устроены такъ, что изъ каждаго отдѣленія дверь выходитъ наружу.

Въ это время поѣздъ круто, почти съ полнаго ходу, останавливается, и раздается магическій возгласъ: «Paris». Говорю магическій, потому что это слово, какъ электрическій токъ, пронизало меня, и мои спутники, вѣроятно, тоже почувствовали что то необыкновенное.

Я устремляюсь изъ вагона за Скобелевымъ и Жирардѐ. Въ это время чувствую, кто-то дергаетъ меня за пальто. Смотрю П., уже въ туфляхъ, стоитъ нѣсколько сконфуженный и проситъ меня ѣхать съ нимъ вмѣстѣ покупать ботинки.

Такъ я и сдѣлалъ.

ГЛАВА IV.

Парижъ.

Я УЖЕ ГОВОРИЛЪ, что до этого времени нигдѣ за-границей, кромѣ Турціи и Румыніи, не бывалъ. Поэтому все, что я увидѣлъ здѣсь, казалось для меня совершенной диковинной. Роскошныя зданія, чудныя мостовыя, толкотня на улицахъ, элегантные костюмы, роскошные экипажи, все поражало и удивляло меня по своей новизнѣ и оригинальности. Мнѣ почему то казалось, что все это только и существуетъ, въ Парижѣ, и нигдѣ больше; хотя многое изъ всего этого, можно было встрѣтить и въ другихъ городахъ Европы.

Прежде всего удивили меня, когда мы вышли на вокзалъ—здѣшніе извощики. Ихъ нельзя было даже съ Берлинскими сравнивать, не только съ Петербургскими.

Сначала, когда я увидалъ ихъ, то принялъ за собственные экипажи. Глаза мои по привычкѣ искали нашихъ «ванекъ» съ открытыми обтрепанными дрожками и несчастными заморенными лошаденками. И что же! вдругъ, эти элегантныя одноконн-

ныя каретки, запряженныя красивыми рослыми лошадьми, оказались извощичьими экипажами. Кучера, въ своихъ синихъ ливреяхъ, съ блестящими металлическими пуговицами, въ высокихъ шляпахъ, съ какими то громадными бутоньерками на бокахъ, показались мнѣ такими важными господами, что ежели бы не П., то я не сразу рѣшился-бы нанимать ихъ.

Надо правду сказать, я долго не могъ привыкнуть къ здѣшнимъ кучерамъ. Каждый разъ, когда мнѣ случалось нанимать подобнаго господина, когда тотъ, закинувъ голову на кузовъ кареты, сложивъ по Наполеоновски руки на груди, величественно отдыхалъ, и прежде чѣмъ согласится вести, окидывалъ меня съ ногъ до головы своимъ высокомѣрнымъ взглядомъ, рука моя невольно тянулась къ шляпѣ, дабы извиниться, что я осмѣлился нарушить его спокойствіе.

Помѣстился я въ гостинницѣ «Grand-Hôtel». Оставилъ въ номерѣ свои вещи, взялъ провожатаго и тотчасъ-же побѣжалъ съ нимъ осматривать Парижъ.

Трудно описать то чувство, которое я испытывалъ здѣсь въ первые дни, послѣ цѣлаго года, проведеннаго въ текинскихъ пескахъ, гуляя по великолѣпнымъ улицамъ и бульварамъ этого удивительнаго города. Вѣдь впослѣдствіи живалъ же я подолгу въ другихъ большихъ городахъ, напримѣръ: въ Берлинѣ, Вѣнѣ, Брюсселѣ, но ничего и близко похожаго на Парижъ я тамъ не нашелъ.

Хорошо помню, что когда усядешься бывало поудобнѣе на скамеечкѣ, гдѣ нибудь въ «Champs Elysées», или въ саду Тюльери, или въ другомъ подобномъ прелестномъ мѣстечкѣ, откуда одновременно можно спокойно наблюдать и дѣтскія игры, и хорошенькія личики боннъ и гувернантокъ, и роскошныхъ барынь красавицъ въ дорогихъ экипажахъ, запряженныхъ тысячными лошадьми, и разодѣтыхъ въ роскошные костюмы отъ Ворта, и въ удивительныхъ шляпкахъ отъ Феликса,— я чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ нигдѣ.

И вспомнился мнѣ тутъ разсказъ брата Василія о томъ, какъ онъ разъ, вскорѣ послѣ Турецкой войны, встрѣтилъ въ самомъ этомъ саду Тюльери знакомаго старика, генералъ-адъютанта, князя N, и тотъ, на вопросъ брата: «что вы, князь, здѣсь дѣлаете»? умильно улыбаясь отвѣтилъ: «на боннушекъ смотрю, смерть боннушекъ люблю»...

Въ Парижѣ мнѣ очень понравилась бульварная жизнь. Здѣсь, чуть не на каждомъ углу, можно сѣсть на скамейку или стулъ, спросить себѣ кружку пива или чашку кофе и, попивая, любоваться на самую разнообразную публику. Одно это уже доставляло мнѣ несказанное удовольствіе.

Въ первый день по пріѣздѣ въ Парижъ, я столько обѣгалъ и осмотрѣлъ, столько увидѣлъ новаго, восхищался и удивлялся, что когда поздно вечеромъ вернулся домой и легъ спать, то въ головѣ моей образовался какой-то сумбуръ, а ноги отъ усталости такъ заныли, точно ихъ кто палками отколотилъ.

Улегся я въ постель и началъ припоминать, гдѣ былъ и что видѣлъ. Прежде всего представился мнѣ дворецъ Лувръ. И странное дѣло! отъ чрезмѣрнаго утомленія что-ли, только ни одна изъ тѣхъ картинъ, которыми я такъ восхищался, не воскресла въ моей памяти; а вотъ нѣсколько оборванцевъ, которые мирно почивали на роскошныхъ диванахъ, какъ живые выросли передо мной. Помню, что меня тогда еще поразило, почему никто изъ прислуги не воспрещалъ имъ спать тутъ. За Лувромъ возстаетъ въ памяти биржа, и опять таки не по своей замѣчательной архитектурѣ, а потому, какъ я стою на хорахъ и смотрю внизъ на маклеровъ, которые точно сумасшедшіе, во все горло выкликаютъ цѣны на разныя бумаги и фонды. Въ ушахъ такъ и слышится: «Рапата! Рапата»!

Съ биржи, точно вѣтромъ, переноситъ меня на верхушку башни св. Якова. Ухъ! какъ высоко! Весь Парижъ, точно на блюдечкѣ.

И много-много чего припомнилось мнѣ въ эту ночь, но все какъ въ туманѣ.

Въ «Grand-Hôtel» оставался я недолго, всего дня 3—4. А затѣмъ Жирардѐ нашелъ мнѣ двѣ меблированныхъ комнаты, очень чистенькія, во второмъ этажѣ, въ самомъ центрѣ города, съ прислугой и утреннимъ кофе съ булкой и масломъ, и всего за 105 франковъ въ мѣсяцъ, что, конечно, было крайне дешево. Вѣдь это на наши деньги составляло всего 42 рубля.

Жирардѐ, крѣпко заботясь о томъ, чтобы я устроился въ Парижѣ какъ можно дешевле, повелъ меня разъ въ одинъ ресторанъ, гдѣ, по его словамъ, можно было получить чрезвычайно дешевый домашній столъ.

Когда мы пришли туда, я чуть не расхохотался.

Въ длинной полутемной комнатѣ стоялъ узенькій столъ, за которымъ сидѣло человѣкъ 20 мужчинъ, и точно нарочно подобранные, все старички, маленькіе, сѣденькіе, худенькіе. Въ концѣ стола, здоровеннѣйшая хозяйка, въ голубомъ платьѣ и бѣломъ передникѣ, стояла съ засученными по локоть рукавами. Молодая, красивая, грудь очень высокая. Хозяйка разливала супъ по тарелкамъ, и положительно казалась Геркулесомъ передъ своими гостями. Я съ Жирардѐ примащиваемся на край стола.

Мнѣ очень интересно было узнать, неужели въ Парижѣ можно получить за $1^1/_2$ франка порядочный обѣдъ. Пробую супъ—тепленькая водичка, пахнетъ какой-то зеленью. Я съѣлъ для виду нѣсколько ложекъ, чтобы не обидѣть хозяйки. Та, въ это время, окончивъ разливать, величественно посматривала на насъ, подпершись въ бока своими голыми розовыми руками. Въ залѣ тишина. Слышится только прихлебываніе горячей жижицы, да сопѣніе стариковъ.

«Permettez moi, Madame, encore un peu!» вдругъ слышу жалобно ноетъ мой сосѣдъ, плюгавый старикашка съ большими очками на носу. Завѣшенный салфеткой, какъ дитя, онъ дрожащими руками протягиваетъ хозяйкѣ тарелку. Его голосъ и манеры удивительно напомнили мнѣ въ эту минуту пансіонъ, гдѣ школьникъ за обѣдомъ робко проситъ надзирательницу при-

бавить ему кушанья. Признаться сказать, я удивился смѣлости моего сосѣда. Казалось, не только что отъ одного маха руки дебелой хозяйки, а даже отъ одного ея «помаванія» бровями, какъ выражается Гнѣдичъ въ своемъ переводѣ Иліады, все это старичье должно было-бы свалиться подъ столъ. Но все обошлось благополучно; хозяйка что-то бурчитъ стоящей за ея спиной горничной въ такомъ-же бѣломъ передникѣ и бѣломъ чепцѣ, почти не глядя плещетъ на тарелку ложку супу, и затѣмъ также величественно продолжаетъ наблюдать за своими «habitués». Намъ подали еще по куску говядины, и дали какое-то сладкое, похожее на мороженное.

Больше я не пошелъ туда, ужъ очень скучно показалось.

ВСТРѢЧА СЪ БРАТОМЪ.

По пріѣздѣ въ Парижъ я немедленно написалъ брату письмо въ «Maisons Laffite», гдѣ у него была своя дача, и въ тотъ-же день получилъ отвѣтъ, что онъ ждетъ меня.

На вокзалѣ «St. Lazare» сажусь въ вагонъ, и черезъ полъ-часа поѣздъ останавливается у станціи «Maisons Laffite», или, какъ кондуктора выкликали, просто: «Maisons».

Я очень любилъ брата и страстно желалъ его увидать. Не безъ волненія сажусь въ извощичій фіакръ и велю везти себя на «Place de Napoleon».

«Chez M-er Wereschaguine? Vous êtes le frère de Monsieur? Vous lui ressemblez beaucoup!» восклицаетъ кучеръ, красивый черноватый мущина, съ плохо выбритымъ подбородкомъ и щетинистыми черными усами. Онъ пристально смотритъ на меня и, не обарачиваясь къ лошади, продолжаетъ нахлестывать ее длиннымъ гибкимъ бичемъ.

— Quel est votre nom? спрашиваю я.

— Henri! отвѣчаетъ кучеръ.

— Et vous connaissez mon frère? не безъ удовольствія

спрашиваю я, гордясь въ душѣ за брата, что его такъ хорошо здѣсь знаютъ.

— Mais comment donc! Tout le monde le connait! восклицаетъ тотъ.

Окрестности, гдѣ жилъ братъ, пресимпатичныя. И такъ какъ онъ искалъ уединенія, вдали отъ городского шума, то лучшаго мѣста, гдѣ онъ выстроилъ себѣ дачу, трудно было найти. Дорога шла сначала городомъ, а затѣмъ тѣнистыми бульварами, одинъ другого лучше. Минутъ такъ черезъ 5—6 мелькнулъ въ концѣ бульвара бѣленькій домикъ.

— Voici la maison de monsieur votre frère! весело восклицаетъ Henri, указывая бичемъ. Мы круто заворачиваемъ и останавливаемся у калитки рѣшетчатаго забора. Я щедро разсчиталъ кучера и направляюсь черезъ дворикъ въ домъ. Братъ встрѣтилъ меня на подъѣздѣ. Мы сердечно поздоровались. Домъ былъ очень мило и удобно выстроенъ. Большую часть его занимала громадная мастерская, въ 30 метровъ длины. Самыя большія картины казались въ этой мастерской совсѣмъ не такъ велики. Онъ жилъ одинъ съ женой, совершеннымъ отшельникомъ; по близости его даже не было никакихъ построекъ. Братъ рѣдко ѣздилъ въ Парижъ и весь былъ преданъ своей работѣ. Онъ показалъ мнѣ кой-какія свои новыя работы. Затѣмъ мы позавтракали превосходнымъ «ragoût», погуляли, поговорили, а вечеромъ я отправился пѣшкомъ на вокзалъ.

На обратномъ пути я былъ удивленъ, когда увидѣлъ, какъ старики французы, бодрые, коренастые, снявъ верхнюю одежду, весело играли на бульварахъ вмѣстѣ съ мальчиками въ шары. У насъ въ Россіи навѣрно приняли-бы этихъ старичковъ за сумасшедшихъ, думалось мнѣ, а здѣсь это, вѣроятно, такъ принято.

У СКОБЕЛЕВА.

Утро. Такъ часовъ въ 9, сажусь въ фіакръ и ѣду къ Скобелеву въ «Rue du Colysée». День солнечный, теплый. Жирардѐ нашелъ генералу отличное помѣщеніе. Это былъ совершенно отдѣльный маленькій домикъ въ три этажа, окнами на улицу.

Въ каждомъ этажѣ было всего по три небольшихъ комнаты. Генералъ помѣстился въ среднемъ этажѣ, Жирардѐ внизу, а Ушаковъ наверху. Михаилъ Дмитріевичъ еще только одѣвался, когда я взошелъ къ нему. Онъ находился въ отличномъ настроеніи духа. Жирардѐ былъ тутъ-же, тоже веселый, суетился и леталъ какъ на крыльяхъ, что̀ между прочимъ нисколько̀ не мѣшало ему разсказывать анекдоты и потѣшать Михаила Дмитріевича. Ещѐ подымаясь по лѣстницѣ, я услыхалъ, сквозь открытыя настежь двери и окна, веселый, картавый смѣхъ Скобелева и его восклицаніе, относящееся къ Жирардѐ: «Ахъ бебѐ, ты меня уморишь отъ смѣха!»

— А-а-а! гдѣ вы пропадаете? Я думалъ, что вы запутались въ Парижѣ, кричитъ онъ, увидѣвъ меня. Я уже за вами посылалъ моего бебѐ! Такъ называлъ генералъ, въ веселыя минуты, своего Жирардѐ; и генералъ протягиваетъ мнѣ руку. Ну, что братъ вашъ, Василій Васильевичъ? Надо къ нему съѣздить, провѣдать его! говоритъ онъ.

Я, будучи заранѣе предупрежденъ братомъ, чтобы отговорить генерала отъ этой поѣздки, передаю ему, что братъ самъ на дняхъ пріѣдетъ къ нему.

Пока мой Михаилъ Дмитріевичъ одѣвался, смотрю на улицу, и вижу, какъ мимо оконъ, съ портфелемъ подъ мышкой, прогуливается какой-то высокій господинъ съ рыжими бакенбардами и подстриженными усами, въ сѣромъ клѣтчатомъ длинномъ пальто съ клапаномъ назади. Брюки тоже клѣтчатыя, подвернуты снизу, чтобы не пачкались. Ботинки на толстыхъ подошвахъ. Цилиндръ хотя и чистенькій, но уже не первой

свѣжести. Подъ мышкой дождевой зонтикъ. Все въ этомъ господинѣ изобличало практичность и аккуратность.

Мое окно выходило какъ разъ надъ подъѣздомъ, у котораго стоялъ привратникъ, старичокъ, въ вязаной полосатой курточкѣ, на головѣ вязаная-же круглая шапочка съ кисточкой, на ногахъ вышитыя пестрыя туфли. Во рту у старика дымилась коротенькая трубочка. Господинъ подходитъ къ привратнику и, замѣтно, уже не въ первый разъ, что-то горячо начинаетъ ему объяснять, при чемъ безпрестанно указываетъ зонтикомъ на генеральскія окна. Я слышу его отрывочныя восклицанія на французскомъ языкѣ съ англійскимъ произношеніемъ:

— Pourquoi... Dgèneral Skobeleff... on ne peut... pas... entrer?

А! понимаю! это вѣрно какой нибудь англичанинъ корреспондентъ желаетъ попасть къ генералу, разсуждаю я. Тотъ, тѣмъ временемъ, продолжаетъ убѣждать старика и тыкать зонтикомъ въ нашу сторону. Но привратнику, вѣроятно, было строго приказано не пускать корреспондентовъ. Онъ флегматично покуривалъ, по временамъ сплевывалъ на сторону и, видимо, не обращалъ на англичанина никакого вниманія. Тотъ наконецъ отходитъ, и снова терпѣливо принимается мѣрить панель, при чемъ дѣлаетъ громадные шаги и на ходу слегка какъ-бы присѣдаетъ.

Иду наверхъ провѣдать Ушакова. Михаилъ Ивановичъ отлично устроился. Его комната, точно такъ-же, какъ и генеральская, богато меблирована. Полы почти сплошь обтянуты коврами и толстымъ сукномъ. Я передаю ему по поводу корреспондента и въ отвѣтъ узнаю, что эти господа не даютъ прохода генералу, и что ихъ приказано принимать только въ извѣстные часы.

— Мы сегодня всѣ вмѣстѣ ѣдемъ завтракать въ ресторанъ «Pied de Mouton» разсказываетъ Михаилъ Ивановичъ.—Ресторанъ этотъ содержитъ старинный знакомый Михаила Дмитріевича, M-r Fréderic. Онъ пріѣдетъ въ 11 часовъ; а послѣ завтрака отправляемся осматривать его винный погребъ. Генералъ

желаетъ купить у него вина для Спасскаго [1]). Онъ просилъ непремѣнно, чтобы и вы съ нами ѣхали, добавилъ Ушаковъ.

Дѣйствительно, ровно въ 11 часовъ, пріѣзжаетъ Fréderic, уже пожилой господинъ, средняго роста, полный, щеки гладко выбриты, длинные черные усы ровно приглажены. Одѣтъ, какъ говорится, съ иголочки, въ черномъ сюртукѣ, галстукъ заколотъ богатой булавкой. На лѣвой рукѣ накинуто легкое «pardessus», на шелковой подкладкѣ, въ рукахъ элегантная трость. На головѣ новый лоснящійся черный цилиндръ. Сравнительно съ Фредерикомъ, я, Ушаковъ, да и самъ генералъ, были одѣты совершенно по лакейски.

Когда мы вышли съ Ушаковымъ, чтобы садиться въ экипажъ, вижу, мой англичанинъ уже успѣлъ таки побывать у генерала, и выходя изъ его комнаты крѣпко пожималъ ему руку.

— All right! dgeneral Skobeleff! All right! точно сквозь зубы выкрикивалъ онъ на прощанье.

Скобелевъ садится въ одинъ экипажъ съ Жирардѐ; я, Ушаковъ и Фредерикъ въ другой, и мы ѣдемъ къ «Halles Centrales». Здѣсь, въ довольно грязной мѣстности, стоялъ небольшой домъ. На немъ красовалась надпись: «Pied de Mouton». Входимъ въ ресторанъ и садимся у окна. На столѣ моментально появляются всевозможныя закуски; между прочимъ, креветки, до которыхъ генералъ былъ большой охотникъ, устрицы, раковинки подъ названіемъ «moules» и какія-то маленькія птички подъ бѣлымъ соусомъ, въ родѣ нашихъ перепеловъ, только еще мельче. Рядомъ, на табуреткѣ, ставятъ вазу съ замороженнымъ шампанскимъ. Скобелевъ любилъ шампанское. Онъ находится въ отличномъ настроеніи; весело потираетъ руки передъ роскошнымъ завтракомъ, безпрестанно посматриваетъ по сторонамъ, и взоромъ ищетъ хорошенькихъ женскихъ лицъ. Фредерика съ нами нѣтъ, онъ тамъ, на кухнѣ, изъ всѣхъ силъ выбивается,

---

[1]) «Спасское»—родовое имѣніе генерала въ Рязанской губерніи.

чтобы угодить генералу. Между прочими закусками я кладу себѣ на тарелку и тѣхъ маленькихъ птичекъ подъ бѣлымъ соусомъ. Превкусныя. Обсосавъ ихъ до послѣдней косточки, протягиваю тарелку Ушакову и говорю:

— Положите-ка мнѣ, Михаихъ Ивановичъ, пожалуйста, еще этихъ птичекъ. Прелесть какія вкусныя!

— Кх-кх-кх! разражается смѣхомъ нашъ генералъ, чуть не на весь ресторанъ. Мнѣ даже совѣстно становится.

— Что это, ваше превосходительство, такъ громко смѣетесь? говорю я нѣсколько обиженнымъ тономъ.

— Да вѣдь вы лягушекъ наѣлись! восклицаетъ Скобслевъ и не перестаетъ смѣяться. Признаться сказать, какъ только онъ выговорилъ слово «лягушка», такъ у меня-было мгновенно сперло подъ горломъ и, что называется, потянуло съ души. Смотрю, мои товарищи преспокойно ѣдятъ себѣ это самое кушанье. Тогда и я пересиливаю себя и съѣдаю вторую порцію.

Послѣ завтрака, мы весело катимъ въ двухъ фіакрахъ осматривать погребъ Фредерика. Входимъ въ низенькое каменное зданіе съ земляянымъ поломъ. Довольно темно. По стѣнамъ, на толстыхъ полкахъ, стоятъ различной величины боченки. Пока мы осматривали подвалъ, вдругъ появляется Фредерикъ, уже преобразившійся въ синюю блузу, въ какой ходятъ мастеровые, и съ удивительной, свойственной только однимъ французамъ, любезностью, начинаетъ угощать насъ различными винами изъ разныхъ боченковъ. Вино цѣдилъ онъ въ краспвую серебряную чарочку, въ родѣ той, въ какой у насъ запиваютъ причастіе. Черезъ нѣкоторое время мы всѣ опускаемся на подъемной машинѣ во второй этажъ подвала, и здѣсь начинается опять проба вина. Изъ второго этажа спускаемся въ третій, и опять давай пробовать. Здѣсь я пилъ «Бордо» въ 20 франковъ бутылку, и это, какъ сказалъ мнѣ хозяинъ, было еще далеко не самое дорогое. Подъ конецъ я уже попросилъ хозяина выта-

щить меня на свѣтъ Божій. Я началъ чувствовать сильную головную боль. Погребъ Фредерика оказался превосходнымъ.

Такъ, черезъ мѣсяцъ, по пріѣздѣ въ Парижъ, я узналъ отъ брата, что онъ предполагаетъ устраивать выставки своихъ картинъ въ различныхъ городахъ Европы.

Мнѣ пришла мысль помогать брату въ этомъ дѣлѣ. Это представлялось мнѣ крайне интереснымъ, тѣмъ болѣе, что послѣ Европы, онъ надѣялся переѣхать въ Америку. Братъ охотно со мной согласился.

Не откладывая въ долгій ящикъ, я послалъ въ Петербургъ прошеніе объ отставкѣ.

ГЛАВА V.

Вѣна.

ПЕРВУЮ СВОЮ ВЫСТАВКУ братъ рѣшилъ устроить въ Вѣнѣ. Туда приглашало его общество вѣнскихъ художниковъ и предлагало для этой цѣли свой Кюнстлергаузъ.

Въ началѣ октября мы отправили въ Вѣну картины, а вскорѣ и сами туда поѣхали.

Кюнстлергаузъ, прелестное зданіе, стоитъ на берегу Дуная совершеннымъ особнякомъ. Залы, хотя и небольшія, но зато дневное освѣщеніе приноровлено въ нихъ очень удобно. Секретаремъ Кюнстлергауза былъ нѣкто Валь, красивый брюнетъ, съ окладистой черной бородой. Премилый господинъ.

По поводу выставки въ Кюнстлергаузѣ происходило нѣсколько засѣданій художниковъ, на которыхъ были выяснены и заключены всѣ условія. Общество долго не соглашалось рискнуть принять устройство выставки на половинныхъ расходахъ, т.-е. убытки или барыши дѣлить пополамъ,—и наконецъ рѣшилось.

Картины пришли благополучно и мы съ братомъ дѣятельно принялись за работу. Недѣли въ три все было окончено, и поставлено электрическое освѣщеніе. Всѣхъ нумеровъ картинъ было около сотни. Выставка была открыта съ 10 часовъ утра до 4-хъ вечера—при дневномъ освѣщеніи, и съ 6-ти до 9-ти при электрическомъ. Входную плату, какъ братъ ни старался удешевить, все-таки дешевле 30 крейцеровъ не удалось назначить; по воскресеньямъ же 10 крейцеровъ. Наканунѣ открытія мы разослали пригласительные билеты разнымъ высокопоставленнымъ лицамъ, всѣмъ представителямъ печати, ученаго и литературнаго міра и т. п. Приглашенныхъ съѣхалось множество, и уже только поэтому можно было судить, что выставка будетъ имѣть успѣхъ.

Въ Вѣнскомъ Кюнстлергаузѣ «entrée» замѣчательно широкое и удобное. Поднявшись всего какихъ нибудь 15—20 ступеней, входишь прямо въ первый залъ. Такъ вотъ, въ самомъ этомъ залѣ, противъ дверей, братъ выставилъ громадную бѣлую картину, изображавшую «Великаго Могола въ своей мечети». Картина эта, вечеромъ, при электрическомъ освѣщеніи, какъ и въ Петербургѣ, поражала своею красотою, и публика, подходя къ дверямъ Кюнстлергауза, еще снизу могла любоваться ею.

На другой день, во всѣхъ газетахъ, отъ мала до велика, появились самые восторженные отзывы о выставкѣ. Разница въ нихъ заключалась только въ томъ, что одинъ критикъ находилъ одну картину самой лучшей, другой—другую. Выражаясь проще, всѣ газеты забили въ набатъ. Въ первый же день, при дневномъ освѣщеніи, перебывало больше трехъ тысячъ человѣкъ. Вечеромъ, въ то время какъ я обходилъ залы и осматривалъ, хорошо ли падаетъ электрическій свѣтъ на картины, за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, чтобы разрѣшить впускать публику, смотрю, ко мнѣ вбѣгаетъ секретарь Валь, весь блѣдный и разстроенный, и кричитъ мнѣ: «Aber helfen Sie mir:

Ich weiss nicht was mit dem Publicum machen. Die Thüre ist ja schon ausgeschlagen!»

Бѣгу внизъ и еще по дорогѣ слышу, какъ дверныя стекла вылетали и со звономъ падали на мозаичный полъ вестибюля. Подбѣгаю къ дверямъ—и прихожу въ ужасъ. Электрическій свѣтъ надъ подъѣздомъ освѣщалъ громадную толпу народа. Проѣздъ по улицѣ въ экипажахъ былъ невозможенъ. Нѣсколько полицейскихъ изо всѣхъ силъ тщетно старались, чтобы хотя сколько нибудь оттѣснить толпу. Оставалось еще 10 минутъ до впуска, но публика очертя голову стремилась войти въ Кюнстлергаузъ. Передніе, тѣснимые задними, напирали на двери. Стекла не выдерживали напора, ломались и вылетали. Сквозь выломанныя окна просовывались головы людей, палки, зонтики, слышались крики, мольбы, шумъ, брань. Вообще творилось что-то невозможное; и я видѣлъ,—все столпилась, такъ называемая, чистая публика: дамы въ роскошныхъ туалетахъ, мущины въ цилиндрахъ. Мы съ Валемъ, конечно, немедленно распорядились отпереть двери и впускать публику понемногу. Куда! только двери растворили, какъ хлынула такая толпа, какой я потомъ никогда и не видалъ. Смято было все, что попалось на дорогѣ. Не знаю, успѣли ли кому выдать билеты. Моментально всѣ залы выставки наполнились. Рѣшительно негдѣ было повернуться. А на улицѣ все еще оставался громадный хвостъ. Въ это же самое время архитекторъ Кюнстлергауза, пресимпатичный толстякъ Штрейтъ, озабоченный подбѣгаетъ ко мнѣ и съ ужасомъ сообщаетъ, что въ нижнемъ этажѣ на потолкахъ образовались трещины.

Сколько въ этотъ вечеръ перебывало народу, опредѣлить было трудно, такъ какъ я увѣренъ, — половина попала безъ билетовъ. Однимъ словомъ, успѣхъ нашей выставки въ Вѣнѣ былъ сразу обезпеченъ.

Между тѣмъ надо было ожидать съ каждымъ днемъ все бо̀льшаго и бо̀льшаго наплыва публики. Въ виду того, чтобы

потолки не дали еще большихъ трещинъ, мы сдѣлали распоряженіе впускать публику по частямъ, по мѣрѣ выхода прежней. Дѣйствительно, съ каждымъ днемъ желающихъ видѣть картины все прибывало и прибывало. Секретарь Валь, чуть ли не на другой же день по открытіи выставки сказалъ мнѣ, крѣпко пожимая руку: «Ich bin sicher, das ihr Bruder bald so bekannt sein wird in Wien, wie Bismark».

И онъ сказалъ правду. Не позже, какъ черезъ недѣлю, брату нельзя было показаться ни въ одномъ ресторанѣ. Его тотчасъ же узнавали, какъ онъ ни пряталъ свою длинную черную бороду за воротникъ пальто, и показывали чуть не пальцами. А братъ ужасно не любилъ, чтобы на него обращали вниманіе. И какъ только, бывало, замѣчалъ это, то немедленно же звалъ кельнера, расплачивался за недопитый кофе, и мы пускались съ нимъ по Вѣнѣ искать новый ресторанъ.

Каждый день то въ той, то въ другой газетѣ, появлялись самыя хвалебныя статьи о нашихъ картинахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ занимали подъ-рядъ по два и по три фельетона. Такъ какъ я еще въ Петербургѣ обѣщалъ моему другу, Владиміру Васильевичу Стасову, посылать ему всѣ статьи, которыя только будутъ касаться выставки, то я внезапно очутился въ большомъ затрудненіи. У меня не хватало ни силъ, ни времени пробѣгать всѣ газеты и дѣлать вырѣзки. Просто пальцы заболѣли отъ ножницъ. Достаточно сказать, что за 26 дней было продано 94,892 входныхъ билета и 31,670 каталоговъ.

У меня эти цыфры были тогда же тщательно записаны.

ГЛАВА VI.

Берлинъ.

Изъ ВѢНЫ КАРТИНЫ перевезли въ Берлинъ, откуда мы получили уже множество приглашеній.

Изъ всѣхъ помѣщеній здѣсь больше всего намъ понравился «Кроль-Театръ». Въ немъ былъ громадный залъ, роскошно отдѣланный, но съ плохимъ дневнымъ свѣтомъ. Поэтому рѣшено было устроить выставку при одномъ электрическомъ освѣщеніи. Въ Берлинъ пріѣхалъ къ намъ, знакомый уже по Петербургской выставкѣ, плотникъ Яковъ, и съ нимъ еще одинъ парень, Александръ. Братъ выписалъ ихъ изъ Петербурга для того, чтобы они, кромѣ плотничьей работы, слѣдили еще за сохранностью картинъ, и въ то же время отбирали билеты отъ публики.

Про Якова нѣмцы говорили: «Ein schöner Russe!» Онъ былъ очень симпатиченъ и къ тому же смышленъ. Своими плотничьими способностями онъ не разъ приводилъ въ изумленіе самыхъ дѣльныхъ мастеровъ. Такъ напримѣръ: во время устройства вы-

ставки въ Кроль-Театрѣ, котораго стѣны всѣ покрыты роскошными лѣпными украшеніями, хозяинъ зала разрѣшилъ намъ ставить лѣса и укрѣпы для картинъ съ тѣмъ только условіемъ, чтобы не вбивать въ стѣны ни одного гвоздя. Нѣмецкіе плотники, кому мы ни предлагали, всѣ отказались, говоря, что невозможно безъ гвоздей поставить такія тяжелыя рамы. — А Яковъ поставилъ.

Какъ теперь вижу, работаетъ онъ въ Кроль-Театрѣ въ своей красной кумачевой рубахѣ, подпоясанной шерстянымъ пояскомъ съ молитвами. На его работу съ любопытствомъ поглядываетъ одинъ плотникъ нѣмецъ, который отказался работать, при чемъ держитъ за руку своего сынишку хорошенькаго мальчика лѣтъ 7—8. Вдругъ этотъ мальчикъ, видя, какъ Яковъ подымаетъ большую раму, съ наивной дѣтской радостью крпчитъ:

— Der Russe ist nicht dumm! Онъ, очевидно, повторялъ фразу, которую неоднократно слышалъ передъ тѣмъ отъ своего отца. Крикъ этотъ былъ такъ забавенъ, что я невольно расхохотался. Другой плотникъ, Александръ, еще совсѣмъ молодой парень, тоже здоровый, широкоплечій, съ крупными чертами лица, былъ далеко не такъ красивъ, какъ Яковъ, но тоже проворенъ.

Съ пріѣздомъ ихъ, дѣло по устройству выставки у насъ пошло очень быстро. Художникъ самъ указывалъ, какъ надо ставить картины, и наша работа вскорѣ была вся окончена.

Во время этихъ работъ, иду я разъ по залѣ, смотрю, входитъ Скобелевъ, въ своемъ сѣренькомъ пальто и сѣрой шляпѣ. Онъ возвращался изъ Парижа. Какъ только я увидалъ его, не знаю почему, сердце мое сильно забилось, кровь прилила къ головѣ, и мнѣ чрезвычайно стало жалко разставаться съ Михаиломъ Дмитріевичемъ. Кажется, такъ и бросилъ бы все и поѣхалъ бы вмѣстѣ съ нимъ въ Россію.

Скобелевъ побылъ у насъ около часу, простился, и мы съ нимъ больше не видѣлись. Не даромъ мнѣ было такъ жалко его! Черезъ 5-ть мѣсяцевъ его уже не стало.

KRON-PRINZ.

Передъ самымъ открытіемъ выставки вбѣгаетъ къ намъ въ залъ придворный лакей и объявляетъ, что сію минуту пріѣдетъ Кронъ-Принцъ смотрѣть картины.

Мы идемъ встрѣчать его. Выставка была у насъ устроена въ Берлинѣ еще шикарнѣе, чѣмъ въ Вѣнѣ. Всѣ большія картины отдѣлили одну отъ другой клумбами тропическихъ растеній: пальмами, рододендронами, латаніями и т. п., такъ что при входѣ въ залъ, картины, освѣщенныя яркимъ электрическимъ свѣтомъ, производили замѣчательный эффектъ.

Наслѣдный принцъ входитъ въ залъ подъ руку со своей супругой и въ сопровожденіи нѣсколькихъ приближенныхъ. Братъ немедленно же представляется, а затѣмъ представляетъ и меня. Наслѣдный принцъ очень любезно съ нами здоровается, проходитъ на средину зала, и отсюда окидываетъ взоромъ картины. Онъ такъ поражается выставкой, что какъ то присѣдаетъ всѣмъ корпусомъ, круто повертывается на одной ногѣ и восторженно восклицаетъ: aber das ist ja prachtvoll!

Художникъ идетъ съ Кронъ-Принцессой объяснять и показывать картины, а я отправляюсь съ Кронъ-Принцемъ. Ему очень понравился военный отдѣлъ, тѣмъ болѣе, что онъ самъ былъ на войнѣ въ 1870 году. Въ особенности онъ долго любовался картиной «Скобелевъ подъ Шейновымъ» и «На Шипкѣ все спокойно». Супруга наслѣднаго принца, какъ сама художница, сразу поняла достоинство картинъ. Она оцѣнила трудность изобразить на бѣломъ фонѣ фигуры, одѣтыя въ бѣлое же, что было мастерски выполнено на одномъ индійскомъ этюдѣ. Братъ подарилъ Кронъ-Принцессѣ этотъ этюдъ.

Здѣсь, въ Берлинѣ, также какъ и въ Вѣнѣ, наканунѣ открытія выставки, были приглашены многія лица изъ литературнаго, ученаго и дипломатическаго міра. Въ этотъ день вся площадь передъ Кроль-Театромъ покрылась самыми элегант-

Фельдмаршалъ Мольтке.

ными экипажами. Обширная зала Кроль-Театра настолько наполнилась народомъ, что многимъ подолгу приходилось стоять на одномъ мѣстѣ, прежде чѣмъ возможно было протиснуться поближе къ картинамъ. Въ залѣ поминутно слышались восклицанія: «Das ist ja aber reizend! Das ist ja kolossal! Ganz famos!»

МОЛЬТКЕ.

Въ первые дни къ намъ очень много ходило военныхъ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ я встрѣчалъ по нѣскольку разъ.

Какъ-то утромъ стою въ залѣ. Публики уже собралось порядочно. Вдругъ внизу подходитъ ко мнѣ одинъ старый служитель театра и таинственно докладываетъ на ухо, растягивая слова: «Feldmarchall Graf Moltke!». При этомъ тычетъ пальцемъ по направленію въ спину одного высокаго тощаго военнаго, который скромно направлялся къ картинамъ.

— Gut, gut! говорю я и киваю головой, но еще не трогаюсь съ мѣста.

Сторожъ, видимо, недоволенъ моей холодностью. Онъ замѣтно удивленъ, что я не бросился опрометью представляться знаменитому стратегу — идетъ себѣ обратно, ворчитъ что-то и пожимаетъ плечами. Я захожу съ боку къ старому генералу и искоса заглядываю ему въ лицо. «Мольтке! Мольтке! дѣйствительно Мольтке!» разсуждаю я съ самимъ собой. Но какое у него восковое лицо, тощее, желтовато-блѣдное,—какъ выжатый лимонъ, безъ бороды и усовъ.

Мольтке останавливается передъ картиной «30 Августа подъ Плевной», гдѣ Императоръ Александръ II съ возвышенности наблюдалъ за ходомъ боя, и долго смотритъ на нее. Затѣмъ внимательно разсматриваетъ картину «Наши плѣнные». Въ это время я подхожу къ нему и представляюсь. Генералъ остается очень доволенъ, и крѣпко жметъ мою руку.

«Es war ja gerade so bei uns»! говоритъ онъ и головой указываетъ на картины.

Мольтке долго ходилъ по выставкѣ, глубокомысленно покачивалъ головой, иногда едва замѣтно улыбался и что-то бормоталъ про себя.

Хотя въ залѣ было тепло, но фельдмаршалъ ходилъ въ пальто съ приподнятымъ воротникомъ и въ фуражкѣ, которая была надѣта очень глубоко. Старикъ точно желалъ скрыть отъ людскихъ взоровъ свое морщинистое лицо. Всѣ военные, бывшіе въ залѣ, моментально узнали о присутствіи своего знаменитаго учителя. Они столпились за его спиной и слѣдовали на приличной дистанціи. Вся остальная публика, какъ только замѣчала Мольтке, съ почтеніемъ разступалась и давала дорогу. Я проводилъ его до дверей, и тутъ мы очень любезно разстались.

И что-же! Послѣ него военныхъ посѣтителей точно отрѣзало! Прежде, бывало, офицеры толпой, человѣкъ по 10 — 15, весело вбѣгали въ залъ и прямо направлялись къ военнымъ картинамъ. Тамъ, обыкновенно, кто нибудь, побывавшій раньше на выставкѣ, начиналъ оживленно разсказывать и объяснять, что-либо подмѣченное имъ, и вся толпа офицеровъ съ великимъ интересомъ переходила отъ одной картины къ другой. Теперь-же кой-когда завернетъ военный, и то, какъ то не смѣло, точно крадучись; посмотритъ немного—и поскорѣй назадъ. Оказалось, — старый Мольтке, насмотрѣвшись на наши картины, разсудилъ, что военнымъ не слѣдуетъ смотрѣть на ужасы войны, и запретилъ офицерамъ входъ на выставку.

Два года спустя, я отправилъ къ Мольтке одинъ экземпляръ моей книги «Дома и на войнѣ», переведенный на нѣмецкій языкъ капитаномъ прусской службы Дригальскимъ. Фельдмаршалъ въ отвѣтъ прислалъ мнѣ свою фотографическую карточку и слѣдующее собственноручное письмо:

Berlin 28. 12. 87.

Euer Hochwohlgeboren

sage ich meinen verbindlichsten Dank für Ihre mir freundlichst übersandten Erinnerungen aus den Feldzügen 1877 und 1882. Ich habe das Buch mit dem lebhaftesten Interesse gelesen. Möge das beifolgende Bild Ihnen meinen Dank überbringen.

Sehr ergebenst

Gr. Moltke.

Feldmarschall.[1]

---

[1] Берлинъ. 28. 12. 87.

Милостивый Государь.

Высказываю вамъ мою глубочайшую благодарность за любезно присланныя мнѣ вами воспоминанія изъ войнъ 1877 и 1878 годовъ. Я прочиталъ книгу съ живѣйшимъ интересомъ. Пусть прилагаемый здѣсь портретъ мой передастъ вамъ мою благодарность.

Преданный

Гр. Мольтке

Фельдмаршалъ.

Вскорѣ послѣ Мольтке пріѣхалъ къ намъ старый принцъ Фридрихъ Карлъ. Онъ уже былъ очень дряхлъ и его возили по залѣ въ ручной телѣжкѣ. Я и ему тоже объяснялъ картины.

Когда принца уже вывозили въ телѣжкѣ изъ зала, съ нимъ едва не приключилась катастрофа; старикъ приподнялся, чтобы взглянуть на фотографіи, разложенныя на столѣ, и затѣмъ, надѣясь на своего человѣка, который долженъ былъ стоять сзади, опрокинулся, чтобы сѣсть обратно въ телѣжку. Слуга-же въ это время пошелъ за пальто, и ежели-бы я не подхватилъ, старикъ страшно разбился-бы.

Въ Берлинѣ народу перебывало на выставкѣ еще больше чѣмъ въ Вѣнѣ: за 70 дней было 137,772 посѣтителя, а каталоговъ продано 45,354.

Надо сказать, что помѣщеніе въ Берлинѣ было гораздо больше, чѣмъ въ Вѣнѣ, да и самый Кроль-Театръ находился въ сторонѣ отъ центра города. Все это значительно ослабляло «Drang», какъ выражались нѣмцы, т. е. напоръ публики.

ЯКОВЪ.

Однажды вечеромъ, по окончаніи выставки, обращаюсь къ моему Якову, который въ это время запиралъ двери въ залѣ Кроль-Театра, и говорю ему:

— А вѣдь ничего! И здѣсь не хуже Вѣны будетъ!

— Мелочи много идетъ! отвѣчаетъ тотъ съ серьезнымъ дѣловымъ видомъ, при чемъ, по привычкѣ, чтобы придать своимъ словамъ больше важности, какъ-то особенно начинаетъ жевать и чавкать губами, точно онъ старался что-то проглотить.

— Какъ это мелочи много? спрашиваю его.

— Мелочи—значитъ—бѣдноты! серьезно поясняетъ Яковъ. Все по три, да по четыре одежи просятъ на одинъ крюкъ вѣшать! недовольнымъ тономъ говоритъ онъ, привыкнувъ, какъ оказывается, еще съ Петербургской выставки, цѣнить публику по количе-

ству вѣшаемыхъ платьевъ на одинъ крюкъ. Между прочимъ, надо сказать, что братъ мой, стараясь, по возможности, удешевить входъ на выставку, приказалъ вывѣсить въ прихожей объявленіе, что за сохраненіе верхняго платья и зонтиковъ ничего не платятъ.

— Эхъ, баринъ! весело восклицаетъ Яковъ, одушевляясь воспоминаніемъ о Петербургской выставкѣ. То-ли дѣло у насъ-то бывало, въ Петербургѣ, въ домѣ Безобразова; подкатитъ это гвардейскій офицерикъ, на собственной лошадкѣ, войдетъ въ прихожую, не глядя скинетъ пальто, и гоголемъ летитъ наверхъ по лѣстницѣ. Ну, вотъ ужъ его пальто, извѣстно, одно на номерокъ и вѣшаешь. Смотришь—рублевку и получилъ.

— А вы Ивана, моего подручнаго помните? Такой былъ рыжій, шадровитый парень? спрашиваетъ онъ.

— А что?

— Да такъ! И Яковъ многозначительно крутитъ головой, затѣмъ продолжаетъ:

— Тотъ, бывало, наберетъ э-эво сколько одежи—и въ доказательство разсказчикъ широко разводитъ руками—думаетъ, тутъ-то и барышъ! Навѣситъ столько, что вѣшалка трещитъ, а вечеромъ считать — все денегъ мало. А все оттого, что хваталъ безъ разсудка: и отъ гимназистовъ, и отъ студентовъ, и отъ кущовъ. А отъ этого народу, извѣстно, какая польза! много, что по гривеннику дадутъ! А ужъ нѣтъ-же хуже поповъ—съ сердцемъ продолжаетъ разсказчикъ. Я никогда отъ нихъ не бралъ одежи, все къ другимъ ребятамъ отсылалъ. У меня, говорю, батюшка, вѣшать некуда, всѣ мѣста заняты.

— Почему-же? спрашиваю я.

— Да какъ-же! Придетъ это онъ со своей матушкой, да со свояченой, да съ кучей ребятъ, да всѣмъ имъ валенки сними, да околоти, да убери, да все ихъ платье непремѣнно на одну спицу повѣсь. Чистый зарѣзъ! А въ концѣ концовъ, за всю-то работу, самъ-отъ, пятакъ въ руку и отвалитъ, а нѣтъ, такъ

и три копѣйки! Ей Богу!—Затѣмъ, черезъ нѣкоторый промежутокъ времени—восклицаетъ:

— Нашъ народъ ку-у-ды-ы лучше здѣшняго!

— Что же тебѣ здѣшняя публика не нравится? съ любопытствомъ спрашиваю.

— Здѣшній народъ скупой! разсказываетъ Яковъ.—Вотъ намедни, одинъ господинъ, такой важный изъ себя, должно богатый, уронилъ 10 пфениговъ! Такъ вѣришь-ли, баринъ, ужъ онъ ползалъ-ползалъ тутъ кругъ вѣшалокъ, все искалъ, даже и намъ-то его жалко стало, и насъ-то замучилъ. Развѣ наши господа погнались бы за такой мелочью, давно-бы плюнули! и Яковъ съ презрѣніемъ машетъ рукой.

— Ну, а все-таки народъ здѣсь видный? возражаю ему, интересуясь его мнѣніемъ.

— Народъ крупенъ, говорить не остается, рослый—съ увѣренностію отвѣчаетъ онъ, а затѣмъ мѣняя тонъ голоса, съ какой-то нѣжностью, восторженно восклицаетъ:

— А какія барыни-то здѣсь есть! Видѣли, двѣ сегодня приходили? Я хотѣлъ было за вами бѣжать, чтобы посмотрѣли! Этакія-то чистыя, бѣлыя, румянецъ во всю щеку! Что твои московскія купчихи! Ну, ужъ, и, ку-у-ус-ки-и! съ разстановкой, внушительнымъ голосомъ, объясняетъ Яковъ, при чемъ рукой такъ помахивалъ, точно желалъ взвѣсить, тяжелы-ли были эти куски. Яковъ былъ большой поклонникъ женской красоты, въ особенности русской, и ужъ если онъ сравнилъ этихъ нѣмокъ съ московскими купчихами, значитъ, онѣ ему уже очень крѣпко понравились.

Этотъ Яковъ былъ презабавный. Разсказалъ мнѣ какъ-то о немъ братъ Василій Васильевичъ слѣдующій казусъ.

Дѣло еще относится къ 1874 г., ко времени Туркестанской выставки брата въ С.-Петербургѣ, въ зданіи министерства внутреннихъ дѣлъ, что у Александровскаго театра. На выставку пріѣзжаетъ покойный Государь Александръ II и подымается на

верхъ. Вскорѣ, вслѣдъ за Его Величествомъ, пріѣзжаетъ покойный Великій Князь Николай Николаевичъ, скидываетъ шинель на руки этого самаго Якова, обращается къ нему и спрашиваетъ:

— А что, братъ на верху? намекая, конечно, на Государя. Яковъ же, нисколько не смущаясь, показываетъ рукой на верхъ и говоритъ:

— Пожалуйте-съ! Братецъ вашъ тамъ, на верху-съ!

ИЗВОЩИКЪ.

Я уже говорилъ, что въ Берлинѣ повсюду проглядывала ужасная солдатчина; но зато я нигдѣ не встрѣчалъ такого наружнаго порядка, какъ въ Берлинѣ, хотя отъ грубостей извощиковъ, иностранецъ и здѣсь не былъ застрахованъ.

Со мной случился здѣсь такой скандалъ:

Разъ вечеромъ отправляюсь на извощикѣ на вокзалъ встрѣчать брата. Онъ ѣздилъ не надолго въ Парижъ. Дорогой я, раза два-три, напомнилъ кучеру, чтобы ѣхалъ поскорѣй. Тотъ все молчалъ, но какъ только мы попали въ Тиръ-Гартенъ, мѣсто сравнительно глухое, онъ останавливаетъ лошадь, бросаетъ возжи и, оборачиваясь ко мнѣ, разражается цѣлымъ потокомъ брани. Хотя я порядочно понималъ нѣмецкій языкъ, но изъ его брани ни слова не понялъ, а видѣлъ только его раскраснѣвшееся лицо, искаженное злобой. Я вовсе не былъ расположенъ вступать съ нимъ въ рукопашную, и терпѣливо выждалъ, когда кончится брань. Затѣмъ трогаемся дальше. По пріѣздѣ на вокзалъ, выскакиваю изъ экипажа, подхожу къ полицейскому, величественно прогуливавшемуся въ своей блестящей каскѣ, подаю визитную карточку и разсказываю въ чемъ дѣло.

Надо было видѣть въ эту минуту моего извощика. Онъ, должно быть, никакъ не подозрѣвалъ такой развязки; весь

какъ-то съежился, сдѣлался маленькимъ, тщедушнымъ. Полицейскій, не теряя своего достоинства, внимательно выслушиваетъ меня, читаетъ карточку и медленно направляется къ грубіяну. Не торопясь, достаетъ изъ бокового кармана записную книжку, слюнитъ карандашъ, и записываетъ номеръ экипажа. И все это дѣлаетъ такъ мѣрно, монотонно.

— Ist schon gut, съ какой-то злобной радостью восклицаетъ полицейскій, вопросительно поглядывая на извозчика.

— Ist schon gut, mein Lieber—и при этомъ грозитъ ему карандашомъ.

Тихонько, не говоря ни слова, что называется, поджавши хвостъ, уѣзжаетъ мой возница обратно въ городъ, нервно подергивая плечами.

M-ER GEORGE.

Обѣдалъ я въ Берлинѣ въ небольшомъ французскомъ ресторанѣ на «Unter den Linden». Съ хозяиномъ ресторана я скоро познакомился. Это былъ старичокъ, хромой, небольшого роста, съ маленькой сѣденькой бородкой и подстриженными усами. Я очень любилъ поговорить съ нимъ во время обѣда. Предложу ему, бывало, стаканъ вина, до котораго онъ былъ большой охотникъ и мы бесѣдуемъ.

M-er George, такъ звали хозяина, всегда садился поближе къ дверямъ, чтобы имѣть возможность встрѣтить и проводить гостя. А большинство его посѣтителей составляла самая фешенебельная гвардейская молодежь—офицеры.

Хозяинъ, уже по своей натурѣ, не любилъ нѣмцевъ, а послѣ 1870 г., какъ самъ мнѣ признался, ненависть эта удвоилась; но, живя долго въ Берлинѣ, съумѣлъ такъ приноровиться ко вкусу нѣмцевъ и привычкамъ, что тѣ даже полюбили M-er George. Поэтому мнѣ очень интересно было наблюдать, какъ онъ обходился со своими гостями. Вотъ мы сидимъ, попиваемъ вино и разговариваемъ по-французски, конечно о нѣмцахъ.

Хозяинъ, вполголоса, сердито бранитъ ихъ, въ особенности офицерство, за ихъ будто бы чванство, гордость, самонадѣянность, а также, за ихъ манеру ходить съ выпяченною грудью; при этомъ старикъ встаетъ, боязливо озирается, чтобы его кто не увидалъ изъ гостей, и начинаетъ превосходно копировать походку нѣмецкаго офицера. Я невольно смѣюсь. Въ эту самую минуту, дверь широко распахивается, и красавецъ уланъ, молодой румяный, съ тонкими закрученными кверху усиками, не снимая фуражки гордо проходитъ мимо насъ, звеня своими длинными стальными шпорами. Я мелькомъ взглядываю на хозяина. Но, о чудо! я не узнаю его. Что съ нимъ приключилось? Старикъ стоялъ опустивъ голову на грудь. Глаза закрыты, спина согбена, руки опущены по швамъ, и точно приговоренный, ожидалъ своей послѣдней минуты. Звонъ шпоръ становится все слабѣе и слабѣе. Хозяинъ какъ бы приходитъ въ себя. Исподволь приподымаетъ голову, озирается офицеру вслѣдъ и затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, садится на свое мѣсто и продолжаетъ начатый разговоръ.

— Да, мы безъ Россіи пропали бы! Здѣсь все, что вы кушаете, все изъ Россіи—говоритъ онъ, горячась все болѣе и болѣе.—Рябчикъ, который у васъ на тарелкѣ—изъ Россіи, хлѣбъ—изъ Россіи, огурцы—изъ Россіи, икра, рыба, все, все изъ Россіи. Что бы эти . . . . . —тутъ мой почтенный хозяинъ употребляетъ бранное слово—стали бы дѣлать безъ вашихъ продуктовъ? и онъ—сердито ударяетъ кулакомъ по столу. Но, какъ нарочно, въ самую горячую минуту, дверь опять распахивается, и новый гвардеецъ, такой же бравый, со звономъ и шумомъ, также гордо проходитъ мимо насъ. Съ хозяиномъ опять моментально происходитъ точно такая же перемѣна. Онъ быстро вскакиваетъ со стула, безпомощно свѣшиваетъ голову на бокъ, глаза закатываетъ подъ лобъ, и весь на мгновеніе изображаетъ изъ себя, какъ бы статую. Ну смѣхъ, да и только.

ГЛАВА VII.

Дрезденъ.

ОСЛѢ БЕРЛИНА, картины брата были выставлены въ Гамбургѣ, Дрезденѣ, Брюсселѣ, Пештѣ и, наконецъ, попали въ Москву.

Какъ въ Гамбургѣ, такъ и Дрезденѣ, успѣхъ былъ полный, но все-таки сборъ едва могъ окупить затраты, хотя при взглядѣ на множество посѣтителей, казалось, — долженъ былъ оставаться большой барышъ. Но въ томъ то и дѣло, что подобныя выставки, какія дѣлалъ братъ, могли окупаться только въ самыхъ большихъ городахъ, какъ напримѣръ: Вѣна, Берлинъ, Петербуръ—съ милліоннымъ населеніемъ. Ежели же сосчитать перевозку, страховку въ дорогѣ и на выставкѣ, укупорку, раскупорку, наемъ помѣщенія, постановку и тому подобные расходы, то въ результатѣ ничего не оставалось. Вѣдь одно убранство картинъ цвѣтами въ Гамбургѣ стоило 400 марокъ, а электрическое освѣщеніе 3,000 марокъ.

Въ Дрезденѣ выставка была открыта лѣтомъ, на Брюллевой террасѣ, въ зданіи, гдѣ устраиваются всѣ дрезденскія выставки

картинъ. Болѣе удобное помѣщеніе трудно было бы подобрать. Погода все время стояла превосходная.

Каждый день, съ утра до вечера, здѣсь гуляетъ масса народу. Лѣтомъ сюда въ особенности много пріѣзжаетъ англичанъ и американцевъ.

Помню, стою я разъ, подъ вечеръ на набережной террасы и разговариваю съ кассиромъ выставочнаго помѣщенія, еще во время ихъ выставки, о томъ, что цѣна за входъ 30 пфениговъ дорога, и что надо меньше брать.

— Bleiben sie ruhig, отвѣтилъ онъ самоумовѣренно.—Unser Publicum ist schon gewöhnt.

— Такъ вотъ оттого у васъ и мало народу бываетъ, говорю ему, совершенно не подозрѣвая, что этими словами задѣваю его за живое.

— Glauben sie mehr Besuch zu haben?—съ хитрой улыбкой и не безъ надменности спрашиваетъ онъ, и затѣмъ, не дождавшись моего отвѣта, говоритъ:

— Sie werden nie mehr haben! Unser Publicum ist ganz besonders.

Когда же у насъ, впослѣдствіи, здѣсь ежедневно бывали тысячи посѣтителей, онъ, при встрѣчѣ со мной, какъ то странно разводилъ руками и мычалъ что-то себѣ подъ носъ.

Въ Дрезденѣ я очень любилъ посидѣть вечеркомъ на Брюлевой террасѣ и помечтать. Ресторанъ былъ здѣсь отличный. Бывало, какъ только выставка закроется, люди мои уйдутъ къ себѣ на квартиру, гуляющая публика начнетъ расходиться, я спрошу себѣ чашку кофе, сяду за столъ поближе къ набережной, и любуюсь на Эльбу. Мнѣ, въ особенности, нравился на противоположномъ берегу, какъ разъ противъ террасы, маленькій,

всего съ поль-десятины величиной, прелестный покосецъ. Его уже нѣсколько дней, какъ скосили и убираютъ.

Вечеръетъ. Я сижу и смотрю на рабочихъ. Костюмы ихъ рѣзко отличаются отъ нашихъ крестьянскихъ. У женщинъ таліи узенькія, точно перетянуты корсетами. Мужчины въ широкихъ курткахъ и въ широкихъ шляпахъ.

Городъ понемногу успокоивается отъ дневной суеты. Кругомъ тихо. Рѣка мирно катитъ свои мутныя волны, и уже на ней, кое-гдѣ показались огоньки. Воздухъ теплый, дышется легко. Вотъ и солнышко закатилось. Съ рѣки повѣяло прохладой. На синемъ золотистомъ горизонтѣ ясно обрисовываются темныя очертанія старинныхъ, остроконечныхъ городскихъ крышъ и угловатыхъ стѣнъ и башенъ. Рабочіе съ покоса незамѣтно скрылись и, какъ бы въ доказательство своей работы, оставили нѣсколько копенъ сѣна. Я машинально считаю ихъ: одна, двѣ, три, вонъ здѣсь еще четыре, а всего семь копенъ, а ихъ работало четыре женщины, да трое мужчинъ — стоило, думаю, работать...

Но уже пора домой. На террасѣ давно никого нѣтъ. Достаю кошелекъ, расплачиваюсь съ кельнеромъ и тихонько плетусь во-свояси.

Яковъ еще не спитъ. Онъ усѣлся подъ окномъ въ своей комнатѣ, покуриваетъ изъ маленькой трубочки и поджидаетъ меня поболтать и, въ то же время, помочь раздѣться.

Вотъ онъ увидалъ меня, быстро прижимаетъ большимъ пальцемъ въ трубкѣ огонь, нисколько не опасаясь ожечься, прячетъ трубку въ карманъ и встрѣчаетъ. Я раздѣваюсь и ложусь въ постель. Яковъ стоитъ и разсказываетъ мнѣ о событіяхъ дня на выставкѣ.

— Одинъ баринъ, русскій, сегодня были подъ ручку со своей барыней, должно съ женой, князь какой-то! Фамилію они называли, да я забылъ. Васъ спрашивали, объясняетъ онъ.

— Развѣ онъ знаетъ меня?

— Старикъ сказывалъ, что онъ-то васъ не знаетъ, а вотъ сынъ, говоритъ, мой съ вашимъ барономъ вмѣстѣ на войнѣ были. Такой разговорчивый. Мой сынъ, говоритъ, недавно женился, 17 тысячъ десятинъ чернозему въ Тамбовской губерніи взялъ.

— Ну Богъ съ ними, говорю, садись-ка лучше, да разскажи что нибудь про своихъ Кологривскихъ.

— Да про кого-же вамъ? Развѣ про нашего старшину? Не разсказывалъ я вамъ? говоритъ онъ и присаживается возлѣ меня на стулъ.

— Ну вотъ, слушай баринъ. Жилъ это у насъ въ посадѣ волостной старшина—начинаетъ Яковъ и потираетъ руками о колѣни—Иваномъ Степановичемъ звали; мужикъ умный, богатый. И получилъ онъ отъ Царя, за какое-то пожертвованіе, золотой перстень съ брилліантомъ. Ну, конечно, на радостяхъ, созвалъ онъ гостей и задалъ намъ пиръ-горой. Промежъ гостей сидѣлъ за столомъ еще одинъ волостной, Иванъ Филипповъ, по фамиліи Кручининъ, и висѣла у него на груди большая золотая медаль за то, что въ нашей сторонѣ богоугодное заведеніе выстроилъ.

— Вотъ, когда пирогъ—отъ подали, хозяинъ и давай угощать гостей: пожалуйте, говоритъ, господа, покушайте; Иванъ Филиппычъ, не откажите, почтеннѣйшій, ну хоть еще одинъ кусочекъ! А самъ пальцемъ-то съ перстнемъ по пирогу и водитъ, и бахвалится, дескать знай нашихъ, смотри, какъ меня Царь жалуетъ. А Иванъ Филиппычъ, будто такъ невзначай, тычетъ себѣ рукой подъ горломъ, гдѣ у него медаль висѣла, да и говоритъ:

— Ей-же ей, почтеннѣйшій, Иванъ Степанычъ, я сытъ по горло.—И такъ это было намъ всѣмъ смѣшно смотрѣть, что мы долго послѣ того смѣялись.

Яковъ оканчиваетъ разсказъ, и самъ отъ души хохочетъ.

— А я сидѣлъ сейчасъ на террасѣ, да смотрѣлъ, какъ это здѣсь покосъ убираютъ. Вотъ-то потѣха тоже: семь копенъ на-

косили, и семь человѣкъ народу работало—разсказываю—зѣваю, и уже чувствую, что начинаю дремать.

— Ой! не говори, баринъ! оживленно восклицаетъ Яковъ. Ходилъ я вечоръ смотрѣть на этотъ покосъ, такъ кажись моя дѣвчонка Симаха, 12 лѣтъ, вотъ эдаконькая—и онъ рукой указываетъ отъ пола аршина на полтора,—больше наработала-бы, чѣмъ ихъ баба, ей-Богу! Ужъ онѣ валандаются—валандаются кругъ копны-то, не смотрѣлъ-бы.—Затѣмъ видитъ, что я дремлю, тихонечко уходитъ.

Передъ глазами моими мало по малу опять появляется тотъ-же маленькій покосецъ и тѣ-же нѣмецкія бабы съ перетянутыми таліями. Вотъ одна изъ нихъ, въ зеленой юбкѣ и бѣломъ передникѣ, наклоняется и черпаетъ изъ родника воду берестянымъ ковшичкомъ, свернутымъ въ видѣ фунтика и насаженнымъ на палочку. Ключевая вода льется сквозь бересту и ярко блеститъ на солнцѣ. Позади бабы стоитъ безъ шапки, спиной ко мнѣ, въ красной кумачевой рубахѣ и синихъ крашенинныхъ шараварахъ, широкоплечій крестьянинъ, опираясь на вилы. Ему жарко. Онъ дожидается очереди, чтобы напиться. Заглядываю ему въ лицо—мой Яковъ.

Онъ тоже увидалъ меня и весело улыбается.

— Ну, да и сопрѣлъ-же я! восклицаетъ онъ, беретъ отъ бабы ковшикъ, и одинъ за другимъ жадно выпиваетъ.

— Нако, баринъ, попей, больно хороша вода, студеная! Онъ ловко подчерпываетъ свѣжей воды и подчуетъ меня. Затѣмъ вытирается рукавомъ рубахи, вскидываетъ вилы на плечи и отправляется на покосъ.

День солнечный; небо голубое. Сухой, жаркій вѣтеръ насквозь прохватываетъ и сушитъ траву, незадолго передъ тѣмъ скошенную длинными волнистыми рядами. Я иду по родному покосу, по берегу Шексны. Покосъ великъ. Его и глазомъ не окинешь. Тутъ и тамъ работаютъ сотни бабъ и мужиковъ. Они собрались сюда со всѣхъ ближайшихъ деревень. Отецъ мой до-

рожитъ хорошей погодой и торопится убирать сѣно. Вонъ онъ самъ идетъ въ бѣломъ коломянковомъ пиджакѣ, опираясь на трость, мимо только что сметаннаго громаднаго стога. Ровный круглый стогъ стоитъ, точно колоссальное зеленое яйцо. Сметанъ онъ на славу. На вершинѣ, еще кто-то копошится, это накладываютъ «вицы», чтобы не раздуло сѣно. Другіе мальцики, задравъ головы кверху, ходятъ вокругъ стога съ вилами въ рукахъ и любуются на свою работу.

— Славный стогъ! Славный! хвалитъ отецъ и проходитъ мимо. Только очесать надо снизу.

— Очешемъ, батюшка, очешемъ! отвѣчаютъ мужики, и граблями снимаютъ съ боковъ лишнее сѣно. Сухое, какъ порохъ, оно шуршитъ и ломается. Мнѣ кажется, я даже слышу его свѣжій ароматный запахъ. Направляюсь къ пунѣ [1]). Тамъ работаютъ десятка три бабъ и дѣвокъ. Онѣ таскаютъ сѣно съ ближайшихъ копенъ прямо въ сарай. Говоръ и визгъ ихъ раздается чуть не за версту. И чѣмъ сильнѣе бабы тараторятъ, тѣмъ скорѣе подается ихъ работа; это я уже сколько разъ замѣчалъ. Подхожу ближе, смотрю, и Никифоръ Пѣгой здѣсь. Онъ почему-то всегда къ бабамъ пристраивался, то съ серпомъ, то съ граблями. Это былъ мужиченко лѣтъ 50, тщедушный, плюгавенькій; носъ торчалъ, какъ у курицы, бородка жиденькая комочкомъ, вѣчно безъ шапки и съ ремешкомъ на лбу, чтобы его темнокоричневые волосы не раздувались по вѣтру. Никифоръ Пѣгой, или какъ его звали въ деревнѣ, просто «Пѣгой», удивительно умѣлъ потѣшать бабъ, за что тѣ въ свою очередь любили его и всегда манили работать съ собой. Привычку онъ имѣлъ безпрестанно говорить слово «тавò». Что ни скажетъ, и сейчасъ «тавò» прибавитъ. Такъ что въ деревнѣ его частенько звали тоже и «тавò». И что онъ бабамъ говорилъ, и отчего онѣ такъ покатывались, хватаясь за животы—Богъ его

---

[1]) Сарай для сѣна.

вѣдаетъ; я никогда не могъ этого хорошенько узнать, а только слышалъ, какъ бывало, иная крикнетъ ему смѣясь: «да ну тя окаянный», или «помолчи ты, Христа ради, безстыжіе твои глаза» и т. п. А Пѣгому, казалось, того только и надо. Вотъ и теперь, должно быть, онъ сказалъ что нибудь очень смѣшное, бабы хохочутъ, а одна такъ даже и руками всплеснула. А Пѣгой, какъ ни въ чемъ не бывало, поддергиваетъ себѣ на заду свои синіе крашенинные портишки и юрко перебѣгаетъ съ граблями отъ копны къ копнѣ.

Удивительное дѣло! Я никогда не видалъ Пѣгого грустнымъ, или даже озабоченнымъ. А казалось, было ему о чемъ взгрустнуть. Домишко у него дрянной, крыша старая, соломенная, вся дырявая, коровка плохая, лошаденка тоже одна, и какъ теперь помню, тоже пѣгая, еле ноги волочила; и ко всему этому цѣлый рой малыхъ ребятъ. А Пѣгой веселъ, и счастливъ... Развѣ это не удивительная натура?

Въ сторонѣ, за сараемъ, въ тѣни, скромно подгребаетъ сѣно высокая, стройная баба, Наталья Першина. Мужъ ея, Антонъ, въ солдатахъ гдѣ то въ Петербургѣ. Ну, да и красива-же эта Наталья! Всѣ ея движенія кажутся мнѣ почему-то особенно граціозными. И гребетъ-то она чище другихъ, и копны то ея какъ будто больше и круглѣе. Брюнетка, лицо смуглое, на щекахъ легкій румянецъ. На верхней губѣ пробивался едва замѣтный пушокъ, въ видѣ усиковъ, что̀ придавало ея лицу какую-то особенную прелесть. Брови тонкія, черныя, дугой. А что̀ въ особенности мнѣ нравилось въ Натальѣ, это ея стройная шея, кокетливо виднѣвшаяся изъ подъ краснаго платка, и могучія, слегка загорѣлыя плечи. Тѣло ея, мнѣ казалось, настолько плотное, что̀ и не ущипнешь.

Вонъ, какъ легко поднимаетъ она граблями охапку сѣна, да какую, мнѣ бы, пожалуй, и не подъ силу. Отведя отъ головы, чтобы не зацѣпить за волоса, несетъ она охапку къ копнѣ и тамъ сваливаетъ. Сколько въ ней граціи, силы и здоровья, ду-

маю я, и пристально всматриваюсь въ нее. Наталья замѣтила меня, улыбается, прихватываетъ своими бѣлыми, рѣпянистыми зубами платокъ, чтобы тотъ окончательно не съѣхалъ съ головы, и повязываетъ имъ густые черные волосы, послѣ чего поправляетъ, высоко подоткнутый спереди, желтый сарафанъ, изъ за котораго виднѣлась бѣлая рубаха, съ красной оторочкой.

— Здравствуй, Наталья! говорю ей.

— Здравствуйте, баринъ! отвѣчаетъ она, и, какъ-бы желая лишній разъ показать свое красивое лицо, перестаетъ грести, смотритъ на меня и снова поправляетъ платокъ.

— Ну, что-же, скоро-ли придетъ твой Антошка? спрашиваю ее, хотя хорошо знаю, что тотъ уже давно ее бросилъ и даже не пишетъ ей, да что и она-то объ немъ не особенно горюетъ.

— А прахъ его вѣдаетъ! смѣясь отвѣчаетъ Наталья. Баютъ, что изъ Питера куда-то дальше прогнали. Подхватываетъ граблями новую охапку сѣна и бѣжитъ съ ней прямо въ сарай.

Вотъ, думается мнѣ, одѣть-бы эту Наталью какъ слѣдуетъ, да причесать, да прикрасить, такъ она бы не одну чахлую петербургскую красавицу за поясъ заткнула. Жаль только что...

Кр-кр-кр, скрипитъ что-то. Просыпаюсь, уже свѣтло. Яковъ бережно, на цыпочкахъ, пробирается мимо меня за платьемъ, чтобы почистить и при этомъ немплосердно скрипитъ сапогами. Я, сердитый, за то, что онъ прервалъ столь сладкій сонъ, кричу ему:

— Хоть-бы ты отдалъ поправить свои сапоги, чтобы они такъ не орали.

— Да ужъ я носилъ ихъ сапожнику, такъ тотъ сказалъ, что это кожа такая — ничего не подѣлаешь, сконфуженно возражаетъ онъ, и тихонько уходитъ, въ надеждѣ, что я снова засну.

КАКЪ Я УЗНАЛЪ О СМЕРТИ СКОБЕЛЕВА.

Уже не помню теперь, зачѣмъ понадобилось мнѣ съѣздить изъ Дрездена въ Берлинъ. Разстояніе тутъ 120 верстъ, и поѣздъ идетъ всего два часа. Сижу въ вагонѣ и читаю какую-то маленькую нѣмецкую газету. Только, смотрю, озаглавлена статья: «Ueber den Todt des Generals Skobeleff». Что это, думаю, нѣмцы теперь вдругъ заговорили о смерти «старика» Скобелева. Вѣдь онъ уже больше года какъ умеръ.—Читаю дальше. Но что это такое? Все упоминается «Michael Dmitriewitsch», дѣла подъ Плевной и, наконецъ, говорится о покореніи Ахалъ-Теке.

Кровь приливаетъ у меня къ сердцу, лобъ становится холоднымъ.

Такъ неужели-же это мой дорогой Михаилъ Дмитріевичъ умеръ? Батюшки мои, да у кого-же бы мнѣ справиться? Безпомощно оглядываюсь кругомъ — все нѣмцы, безпощадно дымятъ своими вонючими крѣпкими сигарами и, казалось, смотрятъ на меня изподтишка и смѣются. Не выдержалъ я, обращаюсь къ моему визавй, который показался мнѣ болѣе солиднымъ, симпатичнымъ господиномъ, въ сѣрой пуховой шляпѣ — и говорю ему, стараясь придать голосу какъ можно спокойный, безучастный тонъ:

— Mein Herr! Haben sie nicht gehört, dass der General Skobeleff gestorben ist? причемъ въ душѣ—таки питаю еще надежду, авось этотъ господинъ скажетъ, что онъ ничего не слыхалъ, или что газетами пущенъ ложный слухъ.

— O, ja, noch gestern Abend kam die Depesche», положительнымъ недопускающимъ никакихъ сомнѣній тономъ говоритъ мой визавй. Онъ, вѣроятно, замѣтилъ по голосу мое жалостное угнетенное положеніе, подсаживается ко мнѣ поближе, вступаетъ въ разговоръ и,—къ моему великому удивленію, очень симпатично относится къ генералу. Хорошо помню его слова:

«Ia, ganz sicher, mit dem Tode des Generals Skobeleff, Russland hat zvei Hundert Tausend Soldaten verloren».

Какъ въ туманѣ припоминаю, что этотъ господинъ увезъ меня съ вокзала къ себѣ на квартиру. Вечеромъ уложилъ спать и долго еще сидѣлъ возлѣ моей кровати, успокоивалъ меня и утѣшалъ.

Я такъ былъ разстроенъ, такъ огорченъ, что на другой день, уѣзжая отъ него, даже забылъ спросить фамилію и адресъ. Какъ я потомъ ни старался его найти, все было напрасно.

Хорошій былъ человѣкъ, спасибо ему!

ВОСПОМИНАНІЕ О СКОБЕЛЕВѢ.

(Въ деревнѣ).

И припомнился мнѣ тогда Скобелевъ еще при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Это было въ 1881 году, въ то самое лѣто, когда онъ вернулся изъ Парижа въ Россію.

Брату моему для предстоящихъ большихъ выставокъ въ Берлинѣ и Вѣнѣ очень захотѣлось имѣть нѣкоторыя лучшія свои произведенія, находившіяся у разныхъ любителей въ Петербургѣ, и у Третьякова въ Москвѣ. И вотъ онъ проситъ меня съѣздить, изъ Парижа въ Россію, достать ихъ на время. Отправляюсь прежде всего въ Петербургъ, къ Базилевскому. Тотъ жилъ въ собственномъ домѣ, на Сергіевской или на Фурштадтской улицѣ, хорошенько не помню. Выходитъ онъ ко мнѣ черный, косматый, волосы длинные, въ какомъ-то капотѣ въ родѣ подрясника. Я рекомендуюсь, подаю ему письмо брата и въ то же время объясняю цѣль моей поѣздки къ нему. Базилевскій очень любезно здоровается, выслушиваетъ, затѣмъ ведетъ меня за руку въ гостиную и подводитъ къ этюду «Таджъ». Оказывается, этюдъ висѣлъ у него завѣшенный кисеей. Открываетъ кисею и говоритъ:

— Да! этюдикъ великолѣпный; вотъ извольте, полюбуйтесь! Я смотрю и дѣйствительно любуюсь.

— А ужъ дать его вамъ, хотя и ненадолго, воля ваша, не могу. Мало ли что можетъ случиться въ дорогѣ. И онъ тщательно завѣшиваетъ опять свой этюдъ и уводитъ меня къ себѣ въ кабинетъ. Сколько я ни увѣрялъ, что ежели бы что случилось съ «Таджемъ», то братъ ручается исправить, или даже новый написать; что отъ выставокъ картина только увеличивается въ цѣнѣ, такъ какъ пріобрѣтаетъ извѣстность—владѣлецъ ничему не внималъ и твердилъ одно: «не могу, не могу». Такъ я ни съ чѣмъ отъ него и отъѣхалъ.

Отправляюсь въ Москву къ Третьякову. Павелъ Михайловичъ человѣкъ совсѣмъ другого склада. Онъ только спросилъ меня, какія братъ желаетъ получить вещи и куда послать — вотъ и все; и въ самомъ непродолжительномъ времени выслалъ картины по указанному адресу.

Такъ вотъ, въ самый этотъ разъ, когда я былъ въ Москвѣ, вздумалось мнѣ провѣдать, нѣтъ ли здѣсь Скобелева. Онъ останавливался у своего пріятеля Ивана Ильича Маслова, кажется на Пречистенскомъ бульварѣ. Отправляюсь, и какъ разъ нахожу его тамъ. Скобелевъ только что сбирался ѣхать на вокзалъ вмѣстѣ съ Михаиломъ Ивановичемъ Ушаковымъ въ Рязанскую губернію, въ свое родовое имѣніе Спасское. Генералъ безъ дальнихъ разговоровъ потащилъ и меня съ собой погостить у него денёкъ-другой.

Спасское—старинное барское имѣніе съ обширнымъ тѣнистымъ садомъ. Всего въ немъ было,—полная чаша. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ дома стояла церковь съ фамильнымъ склепомъ, въ которомъ еще такъ недавно былъ похороненъ отецъ Михаила Дмитріевича.

По вечерамъ мы обыкновенно ѣздили кататься верхомъ, въ сопровожденіи конюховъ, казаковъ и гусаровъ, бывшихъ со Скобелевымъ въ послѣднюю Текинскую экспедицію.

Какъ-то разъ выѣхали мы изъ дому. День былъ солнечный, очень жаркій. Отъѣхали немного, вдругъ генералъ пускаетъ

лошадь галопомъ. Я, конечно, за нимъ, скачемъ версту, другую, третью, вижу Скобелевъ несется прямо въ ворота чьей-то усадьбы. Догоняю Ушакова и спрашиваю.

— Михаилъ Ивановичъ, куда это мы пріѣхали?

— Это имѣніе князя N. Здѣсь есть прехорошенькія барышни-княжны, весело кричитъ онъ. Соскакиваемъ съ лошадей. Звеня шпорами, смѣло входитъ генералъ въ домъ, безъ доклада. Видно, что онъ былъ здѣсь свой человѣкъ. Я съ Ушаковымъ за нимъ.

Во второй комнатѣ, въ креслѣ у окна, выходящаго на балконъ, сидѣлъ самъ старый князь, разбитый параличемъ—очень уважаемый всей губерніей и большой хлѣбосолъ. Онъ чрезвычайно обрадовался Скобелеву. Ушаковъ былъ раньше знакомъ съ княземъ; я же немедленно представился.

Нѣсколько минутъ спустя, вбѣгаютъ къ намъ, одна за другой, двѣ дочери князя, въ русскихъ вышитыхъ сарафанахъ. Свѣжія, румяныя, въ полномъ разцвѣтѣ силъ. Старшая потоньше и постройнѣе — ярая брюнетка; вторая же — блондинка. Обѣ онѣ, очевидно, были совершенно счастливы, что ихъ посѣтилъ любимый сосѣдъ ихъ, Михаилъ Дмитріевичъ Скобелевъ.

Съ приходомъ молодыхъ хозяекъ завязывается общій веселый разговоръ.

Вскорѣ появляется еще третій экземпляръ, самая младшая княжна, тоже брюнетка, лѣтъ 15-ти, безспорно самая хорошенькая. На смуглыхъ щечкахъ ея румянецъ такъ и горѣлъ. Черные глазки сверкали, какъ угольки. Княжна незадолго передъ тѣмъ гдѣ-то прыгала и вывихнула себѣ ногу, и потому явилась къ намъ хромая, опираясь на палочку.

Кети, какъ звали ее сестры, была страшная рѣзвушка. Стройненькая, худенькая, какъ козочка, она, даже и хромая, не могла минутки посидѣть смирно. То она одну игру предложитъ намъ, то другую, совершенно забывая, что сама не могла участвовать ни въ одной изъ нихъ. Не только что мы, мужчины,

любовались ею, но даже и сестры, и тѣ невольно заглядывались на нее.

По всему замѣтно было, что Кети въ барышняхъ не засидится, и скоро не одному молодцу вскружитъ голову.

— М-Ше, ищите меня! внезапно кричитъ Скобелевъ, и точно съ цѣпи сорвавшись, бросается черезъ открытый балконъ въ садъ, по густой тѣнистой аллеѣ. Только фалды его бѣлаго китителя слегка развѣвались по вѣтру, да изрѣдка краснѣли лампасы генеральскихъ рейтузъ.

Съ визгомъ пускаются мои княжны въ погоню за шалуномъ генераломъ. Быстро мелькаютъ, по той же аллеѣ, ихъ голыя плечи, украшенныя блестящими бусами, и скрываются въ зелени сада. Одна только хроменькая рѣзвушка еще довольно долго ковыляла на своей палочкѣ, слѣдомъ за ними, вся зардѣвшись отъ боли и досады. На лицѣ ея, казалось, такъ и написано было: эхъ, кабы не нога моя, такъ уже не спрятался бы ты отъ меня, мой голубчикъ. Ушаковъ и я тоже отправляемся искать генерала. Старательно разбираю я руками вѣтви кустовъ и деревьевъ, наклоняюсь, ищу, и вдругъ натыкаюсь на Скобелева. Покоритель текинцевъ весь съежился въ комокъ, и, какъ робкій заяцъ, прижался къ землѣ, стараясь казаться незамѣтнымъ. Только что я раскрылъ ротъ, чтобы крикнуть, какъ вижу мой генералъ свирѣпо грозитъ мнѣ кулакомъ. Вѣтка прикрыла половину лица его, но одна рыжая бака еще торчала, и тоже, казалось, грозила мнѣ.

— Только закричи, подъ арестъ посажу! шипитъ мнѣ Михаилъ Дмитріевичъ изъ подъ куста, не на шутку разсердившись.

Богъ съ тобой, думаю, сиди ты тутъ сколько хочешь, и я тихонько направляюсь въ домъ поболтать со старымъ княземъ. Не успѣлъ я хорошенько разговориться съ нимъ, какъ тотъ смотритъ въ окно и кричитъ:

— А вонъ и наши!—Вижу, моего генерала княжны тащатъ подъ руки. Тотъ шалитъ и упирается своими длинными сухо-

щавыми ногами, обутыми въ лакированные сапоги. Фуражка на затылкѣ. Три георгіевскіе креста, одинъ въ петлицѣ и два на шеѣ, болтались у него, какъ балаболки. Шалунья Кети уже тутъ какъ тутъ, вмѣсто того, чтобы помогать сестрамъ, тащить его назадъ за фалды киттеля. Красныя, потныя, охая и смѣясь, втаскиваютъ онѣ «полнаго генерала» на балконъ. Лица княженъ хотя и усталыя, но торжественныя.

Когда я вернулся изъ Берлина въ Дрезденъ, уже повсюду слышались толки о смерти Скобелева, и на улицахъ, и въ гостинницахъ, и въ частныхъ домахъ. Помню, иду я какъ то вечеромъ, по Брюлловой террасѣ, передо мной гуляетъ группа дамъ и мужчинъ. Слышу фамилію: «Скобелевъ». Настораживаю уши,—компанія хохочетъ. Къ сожалѣнію я только слышалъ слова: «Deutchenfresser... Champanien... Skobeleffs-Rede», и только. Подойти ближе было неловко. Но и эти слова настолько меня разсердили, что я нѣсколько дней не показывался на выставкѣ, и даже обѣдалъ дома, вмѣстѣ съ Яковомъ и Александромъ.

Бѣдный мой Яковъ тоже былъ сильно огорченъ смертью любимаго генерала. Каждый разъ, когда я, бывало, потомъ напомню ему о Михаилѣ Дмитріевичѣ, Яковъ какъ то особенно выпрямлялся, обдергивалъ свою красную кумачевую рубаху, которая почему-то всегда уползала у него далеко подъ жилетъ, смиренно складывалъ руки на груди и, съ непритворной грустью покачивая головой, восклицалъ:

— Эхъ! генералъ-то какой именитый былъ!...

СНОХАЧИ.

(Разсказъ Якова).

Это было тоже въ Дрезденѣ. Однажды въ воскресенье приходятъ ко мнѣ Яковъ и Александръ, прямо отъ обѣдни изъ

русской церкви, разодѣтые по праздничному, въ новыхъ сѣренькихъ толстыхъ визиткахъ, бѣлыхъ манишкахъ и розовыхъ галстукахъ. Волосы ихъ жирно смазаны масломъ и гладко причесаны. Лица веселыя, довольныя, однимъ словомъ праздничныя.

— Богъ милости прислалъ! весело восклицаетъ Яковъ и останавливается у дверей. Александръ тоже здоровается и становится рядомъ съ Яковомъ. Я предлагаю имъ садиться. Начинаемъ толковать о разныхъ разностяхъ. Я уже говорилъ, что любилъ поболтать съ Яковомъ, такъ какъ человѣкъ онъ былъ смышленый и видалъ много интереснаго. Разговорившись, Яковъ вдругъ спрашиваетъ меня:

— А что, баринъ, слыхалъ-ли ты когда про снохачей?

— Нѣтъ, не слыхалъ! Что это за снохачи? говорю ему.

— Го-го-го! грохочетъ Александръ, пріютившійся на крайчикѣ стула и осклабляя свой широкій ротъ чуть не до ушей.

— Какъ же, баринъ, ты не знаешь? Ну вотъ тѣ, что со своими снохами живутъ! старается пояснить Яковъ.

— Да какъ же это! Вѣдь они... уже старики? нарочно, какъ бы недоумѣвая возражаю ему, чтобы вызвать его къ разсказу.

— Ой! молчи ты Христа ради! восклицаетъ тотъ, привскакиваетъ со стула и всплескиваетъ руками:—Да такіе ядреные бываютъ, такіе озорники, что страсть. Хуже молодыхъ! ей Богу!

— Го-го-го! продолжаетъ гоготать Александръ.

Яковъ тычетъ его въ бокъ. Тотъ конфузится, и перестаетъ смѣяться. По выраженію лица Александра видно, что уже онъ знаетъ, чѣмъ этотъ разсказъ кончится.

— Такъ вотъ, баринъ, продолжаетъ Яковъ, и упираетъ въ меня свои умные черные глаза,—подымали это у насъ въ Парфентьевѣ «колоколо», и народу собралось видимо не видимо, со всѣхъ сторонъ. А работой завѣдывалъ механикъ-старикъ, сосѣдъ мой, такой шустрый мужиченко. Вотъ скопилось это народу

кругъ церкви страсть что, такъ кишмя и кишитъ. Каждому, значитъ, охота Богу послужить, хоть за веревку подержаться. А старикъ дѣло свое тонко знаетъ, все что-то тамъ копошится на колокольнѣ, возится; ну, извѣстно, туманъ на публику наводитъ. Наконецъ наладилъ и кричитъ:

— Православные! Снимай шапки, молись Богу, берись за веревку.—Тутъ всѣ шапки сняли, давай молиться. Молились-молились, потомъ, что было народу, за снасть взялись, дубинушку запѣли и давай кричать: «уррра-а-а, уррра-а-а! Бабы, дѣвки крестятся, голосятъ: «пошла-а-а, пошла-а-а Царица Небесная, пошла-а-а»! и Яковъ пищитъ, стараясь представить, какъ бабы голосятъ.—Народъ за веревку дергаетъ, ажъ колокольня трясется, а «колоколо»—ни съ мѣста».

— Стой православные! повременте! опять кричитъ это механикъ. Остановились. Старикъ что-то повозился тамъ наверху, кругъ балокъ, и опять кричитъ:

— Ну, съ Богомъ! подымай!

— Народъ опять шапки снимаетъ, крестится. Бабы, дѣвки опять голосятъ и причитаютъ: «пошла-пошла, Царица Небесная, пошла»! Крестикъ на колокольнѣ дрожитъ, а колоколо— все ни съ мѣста. Что за притча? толкуетъ народъ. Вдругъ смотримъ—старикъ рукой машетъ. Ну, опять остановились. Всѣ притихли. Всѣ слышать хотятъ, что дѣдъ скажетъ. А тотъ, какъ съ колокольни-то гаркнетъ, на всю-то площадь, да при всемъ-то честномъ народѣ:

— Сно-ха-чи-и! отъ веревки про-о-очь ото-ой-ди! — Весь народъ такъ и ахнулъ.

— Вѣришь-ли баринъ! восклицаетъ Яковъ, и указываетъ рукой до половины живота — съ этакими-то сѣдыми бородами прочь-то пошли,—такъ вотъ смѣху—то было!

НАХЛѢБНИКИ.

Жизнь въ Дрезденѣ была чрезвычайно дешева, въ особенности квартиры.

За двѣ прекрасно меблированныя комнаты, въ бельэтажѣ, окнами на бульваръ, я платилъ 45 марокъ въ мѣсяцъ; да еще за такую же комнату для моихъ молодцовъ 20 марокъ.

Вотъ только съ продовольствіемъ людей у меня вышелъ маленькій курьезъ.

Мнѣ непремѣнно хотѣлось такъ устроить, чтобы мои Яковъ и Александръ не шлялись по ресторанамъ, а ѣли бы дома.

И вотъ для этого я уговорился съ квартирной хозяйкой, пожилой сварливой нѣмкой, что она будетъ ихъ кормить два раза въ день по $2^1/_2$ марки съ человѣка. Иначе сказать, съ обоихъ въ день 5 марокъ.

Уговоръ былъ тотъ, чтобы какъ на завтракъ, такъ и на обѣдъ, непремѣнно подавалось одно блюдо мясное, и чтобы кормить до сыта, до отвалу, безъ всякихъ салатовъ, которыхъ мои люди не любили.

На другой день нарочно остаюсь дома, чтобы посмотрѣть, какой имъ дадутъ завтракъ. Предварительно зову моихъ молодцовъ къ себѣ и говорю:

— Хозяйка взялась васъ кормить, а потому предупреждаю, что ежели вы на первый разъ не съѣдите того, что она вамъ предложитъ, то на другой разъ она подастъ навѣрно меньше.

Въ отвѣтъ на это Александръ только усмѣхнулся и прикрылъ ротъ ладонью. Яковъ же, наоборотъ, очень озабоченно выслушиваетъ меня, чешетъ затылокъ и, встряхнувъ волосами, съ нѣкоторой опаской въ голосѣ, точно его кто могъ услышать, отвѣчаетъ:

— Оставлять никакъ невозможно!

Оба они уходятъ къ себѣ въ комнату. Я отворяю къ нимъ чуточку дверь, чтобы слышно было.

Вскорѣ раздается у нихъ протяжный возгласъ:

— So-o-o! Смотрю въ щелку: хозяйка, въ черномъ платьѣ, съ засученными по локоть рукавами, въ бѣломъ чепцѣ, вся раскраснѣвшись, ставитъ на столъ блюдо съ громаднымъ кускомъ вареной говядины, обложенной горячимъ разсыпчатымъ картофелемъ. Паръ такъ и валилъ отъ кушанья высокой струей къ потолку.

Того, что она подала—ну ей-Богу, должно было хватить на шесть человѣкъ.

Хозяйка, очевидно, хотѣла на первый разъ отличиться. Съ торжествующимъ видомъ уходитъ она, будучи вполнѣ увѣрена, что поданнаго кушанья останется и на обѣдъ.

Молодцы мои значительно переглядываются. Прежде всего снимаютъ визитки, какъ вещи совершенно не нужныя имъ въ эти минуты. Аккуратно вѣшаютъ ихъ на гвоздики, распускаютъ жилетки, крестятся и молча садятся за столъ.

Ну, что-то будетъ, думаю, одолѣютъ, или нѣтъ?

Проходитъ такъ съ полъ-часа. Я не захожу и даже не заглядываю къ нимъ. Русскій человѣкъ вообще не любитъ, чтобы его тревожили за обѣдомъ. Но вотъ слышу стукъ ножа о тарелку и затѣмъ голосъ Якова:

— Эй, meine liebe Frau! Яковъ уже научился немного по нѣмецки. Подхожу къ дверямъ, и какъ разъ вижу, коварно выглядывавшую изъ за блюда торжествующую рожу Александра, красную, какъ ракъ—и противъ него серьезное и озабоченное лицо Якова. Этотъ уперъ глаза въ дверь и, ожидая хозяйку, точно рѣшалъ какой европейскій вопросъ. Передъ ними стояло пустое блюдо. Отъ говядины съ картофелемъ даже и крошекъ не осталось.

Входитъ хозяйка.

— О-о-о-о! въ ужасѣ восклицаетъ она и всплескиваетъ руками. Вязанный черный платокъ ея на плечахъ и бѣлый чепецъ на головѣ, какъ-то разомъ слѣзаютъ у нея на бокъ.

Къ довершенію ея горя, Яковъ совершенно спокойнымъ голосомъ, постукивая ножемъ о тарелку, строго восклицаетъ:

— Noch ein bisschen!

Яростно хватаетъ хозяйка блюдо и исчезаетъ.

Черезъ минуту она прибѣгаетъ ко мнѣ и, со слезами на глазахъ, объявляетъ, что и за шесть марокъ не согласна кормить.

Такимъ образомъ, желая угодить моимъ людямъ, я только наказалъ самъ себя.

Пришлось прибавить ей по маркѣ на брата.

ЦАНЪ.

Въ Дрезденѣ же получаю я письмо отъ брата. Онъ проситъ меня съѣздить въ мѣстечко «Цанъ» недалеко за Лейпцигомъ, къ нѣкоему Фридриху, у котораго былъ знаменитый собачій разсадникъ, и выбрать пару самыхъ лучшихъ Ульмъ-Договъ. Братъ былъ страшный любитель большихъ собакъ.

Въ первый же удобный день отправляюсь.

Ѣду черезъ Лейпцигъ. Рано утромъ подъѣзжаю къ станціи, гдѣ долженъ былъ пересѣсть на маленькую вѣтку желѣзной дороги, которая проходила мимо мѣстечка. Выхожу изъ вагона. День ясный. Довольно свѣжо. Невдалекѣ виднѣется паровозъ съ однимъ вагономъ 3-го класса. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ вагона стоитъ старикъ кондукторъ, въ синемъ пальто съ накинутой клеенчатой пелеринкой. Сгорбившись и ежась отъ холода, держитъ онъ въ обѣихъ рукахъ пеклеванникъ съ какой-то начинкой и, жадно, скорѣй рветъ его зубами, чѣмъ ѣстъ. Изъ кармана пальто торчала стеклянная посудина, закупоренная пробкой. Оглядываюсь кругомъ и не вижу никакого зданія или кассы, гдѣ-бы можно было взять билетъ.

— Wo kan ich ein Billet bekommen? спрашиваю я, и подхожу къ старику. Тотъ, не переставая кусать свой бутербродъ, прежде всего бросаетъ на меня враждебный пытли-

вый взглядъ. Красное, одутловатое лицо его напомнило мнѣ нашего больничнаго или интендантскаго вахтера николаевскихъ временъ, прослужившаго на одномъ мѣстѣ лѣтъ 40. Сѣдой щетинистый подбородокъ уже давненько не видалъ бритвы. По багровому носу шли налившіяся синеватыя жилки. Сѣрые глаза угрюмо выглядывали изъ-подъ нависшихъ бровей. Послѣ нѣкотораго молчанія, старикъ, очевидно, рѣшаетъ въ умѣ, что имѣетъ дѣло съ покладливымъ иностранцемъ, который не будетъ ему противорѣчить, а потому, продолжая жевать, хриплымъ голосомъ сердито бурчитъ мнѣ:

— Brauchen kein Billet! Geben sie mir zwei Mark; при этомъ отворачивается и, дѣлая видъ, какъ будто кашляетъ, въ то же время протягиваетъ мнѣ ладонь. Я достаю двѣ марки и сую ему въ руку. Старикъ безмолвно прячетъ ихъ въ карманъ и тычетъ мнѣ пальцемъ на вагонъ. Иду, сажусь, а минутъ черезъ пять мы трогаемся. Полъ-часа спустя нашъ поѣздъ останавливается. Я почему-то вообразилъ, что уже мы пріѣхали въ Цанъ. Выскакиваю на платформу. Поѣздъ мчится дальше, и оказывается, что я слишкомъ поторопился. Мнѣ пришлось версты 4 или 5 пройти пѣшкомъ. Но я нисколько не пожалѣлъ объ этомъ. Погода стояла прекрасная. Дорога шла узенькимъ бульваромъ, обсаженнымъ березками. По обѣимъ сторонамъ бульвара шли обширныя клеверныя поля. Меня въ особенности поразило здѣсь то, что вся мѣстность кругомъ была изрѣзана всевозможными полевыми укрѣпленіями: ровиками, траншеями, валиками, ложементами и т. п. Куда ни взглянешь, вездѣ они чернѣли. Жаль, не у кого было спросить: неужели всѣ эти работы служили только для ученій, или же представляли дѣйствительную защиту на случай войны?

Фридрихъ жилъ въ самомъ концѣ селенія. Онъ собирался куда-то ѣхать. Пара добрыхъ сѣрыхъ коней стояла у подъѣзда, запряженная въ высокую бричку. Это былъ господинъ средняго роста, худощавый, съ краснымъ рыжеватымъ лицомъ. Одѣтъ въ

сѣрую охотничью куртку съ зелеными отворотами и металлическими пуговицами. Когда я сказалъ ему, зачѣмъ пріѣхалъ, онъ немедленно повелъ меня въ свой собачникъ. При домѣ у него была только часть собакъ, остальныя же находились гдѣ-то въ другомъ помѣщеніи, довольно далеко. Просторный дворъ обстроенъ маленькими хатками. Изъ одного помѣщенія Фридрихъ выводитъ на цѣпи молодого дога тигровой масти, такой величины и красоты, какой я въ жизнь не видывалъ. Догъ имѣлъ одинъ метръ вышины до холки, или какъ нѣмцы говорятъ «rückhoch». Затѣмъ выводитъ самку такой же масти, но пониже. Та была 80 сантиметровъ вышины.

— Das sind prachtvolle Thiere, не безъ гордости восклицаетъ Фридрихъ и треплетъ собакъ по спинѣ.

Да, думаю про себя это дѣйствительно «prachtvolle Thiere». Догъ немедленно же растягивается во всю длину возлѣ насъ, добродушно поглядываетъ и все старается протянуть хозяину свою громадную лапу. Самка же не ложится, и все извивается, какъ змѣя, искоса посматриваетъ на меня, и вообще не вселяетъ къ себѣ такого довѣрія, какъ самецъ.

— А какая рѣшительная цѣна? спрашиваю Фридриха, при чемъ боюсь, что онъ, замѣтивъ мое восхищеніе, заломитъ цѣну.

— 1700 марокъ. Это рѣшительная цѣна. И я ручаюсь, добавляетъ онъ,—что ежели вы купите эту пару, то на любой собачьей выставкѣ получите первую награду!

Покупать собакъ безъ разрѣшенія брата я не рѣшился, поэтому поблагодарилъ Фридриха, сказалъ, что подумаю и отправляюсь обратно на вокзалъ. Фридрихъ же садится въ бричку, хлопаетъ бичемъ по лошадямъ и вскорѣ скрывается изъ виду.

Братъ такъ и не купилъ этихъ собакъ. А жаль, замѣчательно были хороши. До сихъ поръ ни на одной собачьей выставкѣ я не видалъ и близко похожихъ.

ГЛАВА VIII.

Брюссель.

Какъ въ Гамбургѣ, такъ и въ Дрезденѣ, успѣхъ нашихъ выставокъ былъ чрезвычайный.

Въ Брюсселѣ же, выставка, можно сказать, потерпѣла фіаско. И произошло это исключительно изъ-за электрическаго освѣщенія.

Поставить его взялось намъ нѣкое общество N. Условились въ цѣнѣ, назначили сроки. Выставка готова.

Какъ и въ другихъ городахъ, наканунѣ открытія были приглашены, днемъ, корреспонденты и разныя лица для предварительнаго осмотра. Самъ художникъ объяснялъ приглашеннымъ сюжеты картинъ.

На другой же день появились десятки хвалебныхъ отзывовъ. Вѣсть о картинахъ разнеслась не только по Брюсселю, но даже достигла Нанта, Бремена и другихъ городовъ, на которые мы тоже разсчитывали. Надо было ожидать громаднаго успѣха. И что же! На другой день вечеромъ, къ ужасу моему, вижу, съѣзжается

множество публики. Экипажи, одинъ за другимъ, такъ и подкатываютъ къ роскошному подъѣзду «Palais des beaux-arts», гдѣ была устроена выставка.

Говорю «къ ужасу» потому, что я знаю, что электричество у насъ не дѣйствуетъ и картины находятся въ темнотѣ. Локомобиль оказался слишкомъ слабымъ и не могъ зажечь фонарей. Многіе пріѣхали издалека, время же было осеннее, холодное; стоять у подъѣзда и дожидаться было невозможно. Подымается страшный шумъ, гвалтъ, крики.

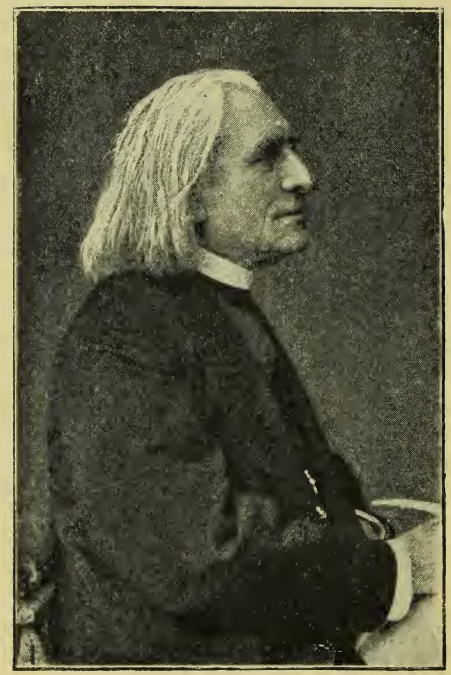
— Où est monsieur Wereschagin? Que fait-il donc avec nous?

Я, просто, готовъ былъ провалиться въ преисподнюю. Нечего было дѣлать, пришлось выйти къ публикѣ и извиниться передъ ней, увѣривъ, что завтра освѣщеніе будетъ навѣрно готово.

Настаетъ утро. Весь день «электрическіе люди» бѣгаютъ и суетятся, какъ угорѣлые, осматриваютъ проводы, провѣряютъ. Привозятъ новый локомобиль.

Наступаетъ опять вечеръ, публики съѣзжается еще больше, а мы съ братомъ приходимъ еще въ бо̀льшій ужасъ: картины наши по прежнему остаются въ темнотѣ.

Публика постояла, разбранилась и разъѣхалась. Конечно, словъ нѣтъ, днемъ у насъ сбиралось человѣкъ до тысячи и болѣе, что̀ для Брюсселя можно было считать большимъ успѣхомъ; по вечерамъ же, когда электрическій свѣтъ уже наладился, посѣтителей все-таки бывало очень мало. Публика, какъ говорится, извѣрилась въ вечернее освѣщеніе и перестала ходить.



F Liszt

ГЛАВА IX.

Пештъ.

ВЪ НОЯБРѢ 1882 года, когда я пріѣхалъ въ Пештъ, здѣшній Кюнстлергаузъ уже былъ готовъ для нашихъ картинъ. Самъ же художникъ въ это время вторично уѣхалъ въ Индію, доканчивать свои начатыя работы.

Завѣдующіе Кюнстлергаузомъ, Гг.: Телепи и секретарь Смретшани, оказались самыми любезными и внимательными людьми, какихъ только я встрѣчалъ за границей. Мало того, что они, какъ говорится, изъ кожи лѣзли, чтобы возможно лучше расположить картины—они чрезвычайно заботились и обо мнѣ лично, и о моихъ Яковѣ и Александрѣ, какъ бы поудобнѣе устроить насъ, да подешевле. По наружности, эти два господина представляли противоположности. Телепи—шатѣнъ, пожилой, толстенькій, маленькаго роста, съ брюшкомъ; Смретшани—ярый брюнетъ, стройный, худощавый.

Работа по устройству выставки у насъ пошла чрезвычайно быстро. Въ какія-нибудь двѣ недѣли, все разставили, развѣсили, а фирма Гансъ и К° освѣтила намъ картины чуднымъ

электрическимъ свѣтомъ. Смѣло можно сказать, что ни на одной выставкѣ у насъ не было такого пріятнаго свѣта.

Пештскій Кюнстлергаузъ—очень роскошное зданіе, и залы въ немъ расположены довольно удобно.

За нѣсколько дней до открытія выставки, Смретшани торжественно заявилъ мнѣ, что онъ необходимо долженъ познакомить меня съ двумя, уважаемыми въ Пештѣ, особами, сестрами «Wohl». Старшая, Янка, считалась здѣсь извѣстнымъ, художественнымъ, музыкальнымъ и литературнымъ критикомъ. Младшая же—Стефани, писала романы. Предварительное слово Янки въ газетахъ о нашихъ картинахъ, по мнѣнію Смретшани, могло имѣть на публику большое значеніе.

— Это пресимпатичныя барышни! говорилъ мнѣ Смретшани, дорогой, когда мы на другой день ѣхали къ нимъ съ визитомъ. Какой только новый артистъ, художникъ или музыкантъ ни появится въ Пештѣ, то прежде всего онъ попадаетъ къ Wohl, и у нихъ находитъ себѣ покровительство». Хотя я не былъ ни художникомъ, ни музыкантомъ, но долженъ сказать, что Wohl приняли меня чрезвычайно радушно. Бо̀льшей симпатіи я никогда за границей нигдѣ не встрѣчалъ. И можно ли же было ожидать такого пріема отъ кровныхъ патріотокъ-венгерокъ, когда антипатіи ихъ къ намъ искони проповѣдуются во всѣхъ книгахъ и газетахъ.

Я прожилъ въ Пештѣ три мѣсяца, и никакой и тѣни вражды не замѣчалъ. Янка Wohl горѣла нетерпѣніемъ побывать на нашей выставкѣ. Смретшани столько ей наговорилъ чудесъ, да и сама она столько читала въ газетахъ о Берлинской и Вѣнской выставкахъ, что просто не могла дождаться. Кромѣ того, ей непремѣнно хотѣлось первой увидать картины, чтобы сказать первое слово въ газетахъ, и быть, что называется, застрѣльщицей. Конечно, я пригласилъ ее на другой же день осматривать выставку. Показывалъ всѣ картины, объяснялъ содержаніе, насколько зналъ, и она осталась въ восторгѣ отъ видѣннаго.

Телепи.

Одновременно съ Янкой, осматривалъ картины и знаменитый венгерскій художественный критикъ Келети. Его слово имѣло первенствующее значеніе по всей Венгріи.

За хвалебными статьями знатоковъ, Келети и Янки Wohl, послѣдовали подобныя же статьи и во всѣхъ остальныхъ венгерскихъ газетахъ. Городъ точно встрепенулся. Казалось, онъ забылъ всѣ остальные интересы и, очертя голову, ринулся къ намъ на выставку.

Въ первый же день, не только вся широкая, великолѣпная лѣстница въ Кюнстлергаузъ была запружена народомъ, но еще и на улицѣ виднѣлся длинный хвостъ, состоявшій изъ самой избранной публики.

ЛИСТЪ.

Не помню теперь хорошенько, на второй или на третій день выставки, такъ около полудня, смотрю, въ первомъ залѣ, стоитъ высокій широкоплечій старецъ съ длинными сѣдыми волосами, спускавшимися до самихъ плечъ. Одѣтъ онъ былъ въ длинный черный капотъ въ родѣ монашеской рясы. Характерное лицо его мнѣ показалось почему-то знакомо: бритое, безъ бороды и усовъ, носъ большой съ горбомъ, брови густыя, нависшія на глаза. Старца бережно поддерживала подъ руку моя знакомая Янка Wohl. Онъ съ видимымъ восторгомъ всматривался въ картину и, не отрывая глазъ, наклонялся къ своей спутницѣ и слушалъ, что та ему разсказывала. Очевидно, Янка передавала то, что̀ слышала отъ меня.

— Кто это такой? спрашиваю Смретшани, который какъ разъ подвернулся мнѣ тутъ и указываю на незнакомца.

— Листъ! восклицаетъ тотъ, при чемъ невольно удивляется моему невѣдѣнію. Тутъ только вспомнилъ я знакомыя черты лица, которыя столько разъ видалъ и на бюстахъ и на портретахъ.

Боясь нарушить спокойствіе геніальнаго человѣка, я осторожно иду позади его.

Густая толпа народу съ почтеніемъ разступалась передъ «своей знаменитостью», и любезно давала пройти поближе къ картинамъ.

Листъ тяжело волочилъ ноги и шумно шаркалъ ими по полу. По мѣрѣ того, какъ онъ медленно подавался впередъ, переводилъ онъ и взоръ съ картины на картину и, выпятивъ свой заострившійся подбородокъ, точно впивался глазами въ сюжетъ. Изрѣдка прислушивался, что̀ говорила ему его спутница, шамкалъ что-то губами и отвѣчалъ ей по французски. До меня нѣсколько разъ долеталъ его старческій, немного гнусавый голосъ, «Charmant, délicieux». Затѣмъ слышалось «Ma chère enfant». Это послѣднее, очевидно, относилось къ Янкѣ. Та, въ свою очередь называла его «Cher Maître». Но вотъ Янка Wohl замѣтила меня, подозвала и представила Листу. Онъ сердечно поздоровался и сказалъ мнѣ по французски нѣсколько словъ.

Сущность ихъ заключалась въ томъ, что онъ уже давно, еще по фотографіямъ, восхищался туркестанскими картинами брата, и что всѣхъ больше ему нравилась картина «Забытый». Въ ней одной, говорилъ онъ, «цѣлая поэзія». Затѣмъ беретъ онъ своими геркулесовскими руками мои руки, трясетъ ихъ и оживленно восклицаетъ:

— Я всегда любилъ русскихъ, и всегда радостно вспоминаю, какъ я горячо былъ когда-то принятъ у васъ въ Петербургѣ и Москвѣ, а теперь, послѣ выставки картинъ вашего брата, еще болѣе полюбилъ русскихъ.

На другой день Листъ прислалъ мнѣ письмо и свою фотографическую карточку.

Я такъ былъ обвороженъ Листомъ, что тотчасъ-же пошелъ къ нему съ визитомъ, захвативъ съ собой при этомъ лучшій экземпляръ фотографіи «Забытый», какой только былъ у насъ въ продажѣ на выставкѣ.

Листъ, какъ директоръ, жилъ въ самомъ зданіи Консерваторіи, на той же самой «Radial-Strasse» или, по венгерски,

Gustave Kelety

«Schugar Utza», гдѣ находился и Кюнстлергаузъ, въ какихъ-нибудь ста саженяхъ отъ меня. Онъ вышелъ ко мнѣ съ распростертыми объятіями, а когда я передалъ ему «Забытаго», то благодарностямъ не было конца.

Изъ его кабинета, уютно обставленнаго мягкой мебелью, выходила дверь въ громадный залъ Консерваторіи. Когда я въ первый разъ вошелъ въ этотъ залъ, то былъ пораженъ видомъ необычайной величины органа. Такого большого я еще никогда не видалъ, просто цѣлый домъ.

Когда я познакомился съ Листомъ поближе, то частенько сталъ заходить къ нему по вечерамъ. Старикъ страдалъ подагрой и любилъ лежать на мягкой кушеткѣ. Я обыкновенно подсаживался къ нему поближе, на ту же кушетку или стулъ. Слуга подавалъ намъ бутылку стараго токайскаго. Листъ любилъ токайское. И мы, попивая вино изъ маленькихъ стаканчиковъ, бесѣдовали по нѣсколько часовъ. Листъ, этотъ геніальный композиторъ, былъ уже въ преклонныхъ лѣтахъ: ему было тогда 72 года. Я же, въ сравненіи съ нимъ, еще молодой человѣкъ, служилъ въ казакахъ, въ музыкѣ ничего не понималъ, хотя и любилъ ее. Казалось, о чемъ бы Листу со мною бесѣдовать? А между тѣмъ «le Maître» каждый разъ не отпускалъ меня и по долгу удерживалъ. И о чемъ только мы не разговаривали! И о Россіи, и о войнѣ, и о томъ, гдѣ и какъ прошла наша выставка, и гдѣ лучше встрѣчали брата и его картины. Самъ же онъ очень любилъ вспоминать о своей поѣздкѣ въ Россію, и какъ его тамъ принимали.

Разъ пригласилъ онъ меня къ себѣ на вечеръ. Какъ потомъ я узналъ, вечеръ этотъ устроилъ онъ спеціально для меня. Гостей собралось человѣкъ 12: обѣ сестры Wohl и, если не ошибаюсь Смретшани и шесть барышень, прехорошенькихъ консерваторокъ, ученицъ Листа. Одѣты онѣ были чрезвычайно просто. Листъ, очевидно, хотѣлъ шикнуть передо мной не костюмами, а венгерскими красавицами. Въ особенности одна

была, — ахъ, какая хорошенькая! Профиль лица ея былъ безукоризненно правиленъ, ежели не считать чуть замѣтную горбинку на ея тонкомъ носикѣ! Профиль этотъ напомнилъ мнѣ тѣхъ южныхъ красавицъ, италіянокъ и испанокъ, которыхъ я видалъ на портретахъ въ разныхъ музеяхъ. Но только свѣжесть лица ея, обворожительно живые, черные глаза, чуть открытый розовый ротикъ, сквозь который блестѣли, какъ снѣгъ, бѣлые зубы, далеко превосходили всѣ эти изображенія. Густые черные волосы, на ея изящной головкѣ сзади были небрежно зачесаны и заколоты простой черной шпилькой, при чемъ часть коротенькихъ волосковъ, какъ пушокъ, кокетливо украшали ея и безъ того красивую шею. Спереди же волосы слегка свѣшивались на широкій, выдающійся лобъ маленькими колечками. Бѣлыя, чуть розоватыя, руки, съ длинными пальцами были по локоть прикрыты широкими рукавами простаго кисейнаго лифчика. Короче сказать, чѣмъ описывать ея красоту скажу лишь одно, что куда я ни смотрѣлъ, что ни дѣлалъ въ этотъ вечеръ, а въ концѣ концовъ глаза мои невольно останавливались на этомъ лицѣ. Оно, точно магнитъ, притягивало къ себѣ.

Чрезвычайно пріятно удивило меня обращеніе всѣхъ этихъ ученицъ со своимъ великимъ учителемъ. Онѣ обходились съ нимъ совершенно какъ съ отцомъ. Какъ теперь вижу, гуляютъ онѣ съ нимъ по комнатѣ всѣ шесть разомъ. Однѣ подхватили старика подъ руки и поддерживаютъ его, другія же, напротивъ, повисли у него на шеѣ и чуть не сбиваютъ съ ногъ, цѣлуютъ его въ щеки, въ лобъ, даже руки. Листъ, повидимому, приходитъ отъ этого въ самое пріятное настроеніе. Въ отвѣтъ на эти ласки, онъ отечески гладитъ ихъ по головѣ своими широкими ладонями,—мычитъ и сильно сопитъ носомъ. Дружески треплетъ, то ту, то другую по лицу, за подбородокъ, а кого, такъ и чмокнетъ, преимущественно въ голову. При этомъ я замѣтилъ, что мою красавицу онъ въ голову не цѣловалъ, а,

Янка Воль.

какъ-то случайно, въ самую щечку. А щечка у нея была такая нѣжная,—ну, совершенный персикъ.

Во время вечера я все ждалъ, не сядетъ-ли Листъ за рояль, и не сыграетъ ли что-нибудь, хотя надежды было мало, такъ какъ Янка Wohl уже предупредила меня, что «le Maitre» рѣдко играетъ. И вдругъ, что же я вижу! Старикъ встаетъ, шумно волочитъ ноги по полу, и медленно направляется къ роялю, окруженный ученицами. Садится за инструментъ и беретъ нѣсколько аккордовъ. Какъ ни мало былъ я свѣдущъ въ музыкѣ, но, признаюсь, сердце мое замерло въ ожиданіи услышать что-либо необычайное. Но ожиданію моему не суждено было исполниться. Листъ беретъ нѣсколько аккордовъ, обращается ко мнѣ и спрашиваетъ:

— Jouez vous quelque chose?

— Non, Monsieur, je ne joue pas du tout!—отвѣчаю ему:

— Mais jouez donc quelque chose! говоритъ онъ, смѣется и продолжаетъ брать аккорды.

— Je ne joue que le Katzenwalzer avec deux doigts! отвѣчаю ему, и смѣюсь въ свою очередь.

— Alors jouons, говоритъ Листъ, подвигается и даетъ мнѣ мѣсто подлѣ себя. Я сажусь, и начинаю бряцать двумя пальцами кошачій вальсъ. Листъ сопитъ и играетъ различныя варіаціи на эту тему. Разъ десять повторяю я одно и тоже, а онъ все варьируетъ, и при этомъ сопитъ все сильнѣе и сильнѣе. Ученицы и Wohl обступили насъ и весело хохочутъ. Но вотъ Листъ останавливается, обращается къ моей красавицѣ и говоритъ:

— Mademoiselle, continuez! встаетъ, улыбается, и уступаетъ мѣсто.

Та быстро садится, и мы продолжаемъ свой вальсъ. Я изо всѣхъ силъ стараюсь, какъ бы не опростоволоситься передъ красавицей—даже пальцы начали уставать.

Черезъ нѣкоторое время Листъ кладетъ свою широкую ла-

донь на голову другой барышни, которая въ это время поддерживала его подъ руку, и восклицаетъ:

— Et, bien, mademoiselle, c'est votre tour maintenant!

Та безъ разговоровъ тоже садится и тоже варьируетъ. Я продолжаю барабанить изъ послѣднихъ силъ.

Такимъ образомъ я переигралъ со всѣми ученицами и теперь могу похвастать, что игралъ въ четыре руки не только что съ лучшими ученицами Листа, но и съ нимъ самимъ.

Вечеръ закончился веселымъ ужиномъ. Распорядительницей были, за неимѣніемъ настоящей хозяйки, всѣ гостьи за-разъ. А такъ какъ по пословицѣ: «у семи нянекъ дитя всегда безъ глазу», то и вышло, что всѣ кушанья были или не дожарены, или пережарены. За то вина было въ изобиліи, и самаго лучшаго качества.

Вскорѣ послѣ этого вечера, въ залѣ Консерваторіи давался концертъ ученицами Листа. Играли въ 24 руки. Вся аристократія Пешта присутствовала на этомъ концертѣ. Листъ дирижировалъ. Никогда не забуду я въ этотъ вечеръ его величественной широкоплечей фигуры, въ длинномъ черномъ сюртукѣ, со спускающимися до плечъ, расчесанными сѣдыми волосами. Нельзя сказать, чтобы Листъ именно дирижировалъ. Нѣтъ. Онъ только стоялъ около одного изъ роялей, и, опершись локтемъ объ инструментъ, наблюдалъ за играющими. Многозначительно оборачивалъ онъ по временамъ голову въ ту сторону, гдѣ его тонкій слухъ замѣчалъ малѣйшую неправильность, и затѣмъ снова успокоивался. Концертантки были вознаграждены громомъ рукоплесканій. Листъ вмѣстѣ съ ними благосклонно улыбался и низко раскланивался.

Еще разъ мнѣ пришлось встрѣтиться съ Листомъ въ залѣ Консерваторіи по слѣдующему обстоятельству.

Познакомился я въ Пештѣ съ однимъ сербскимъ семей-

ствомъ—Поповичъ. Одна изъ дочерей ихъ, барышня лѣтъ 12-ти, имѣла большое пристрастіе къ музыкѣ.

Разъ какъ-то сидѣлъ я у нихъ вечеромъ, а барышня эта играла на роялѣ. Окончивъ играть, молодая музыкантша, вся раскраснѣвшись вдругъ, говоритъ мнѣ:

— Ахъ! какъ бы я желала, чтобы меня послушалъ Листъ! чтобы онъ сказалъ, есть ли у меня способности или нѣтъ? Но какъ это сдѣлать? Вотъ задача! Мои родители незнакомы съ Листомъ!

— Очень просто! говорю ей.—Спроситесь и поѣдемте; я васъ сейчасъ свезу къ нему въ моей каретѣ, она тутъ дожидается.—Барышня оторопѣла; она никакъ не ожидала такого быстраго рѣшенія съ моей стороны. Побѣжала къ своимъ старикамъ, и уже черезъ нѣсколько минутъ выходитъ въ шляпкѣ, со сверткомъ нотъ въ рукахъ, въ сопровожденіи папеньки и маменьки. Тѣ не знали, какъ меня благодарить. Я сѣлъ съ ней въ карету, и мы покатили.

Листъ былъ дома и, по обыкновенію лежалъ, на кушеткѣ. Я извиняюсь, что пріѣхалъ къ нему такъ поздно, представляю маленькую музыкантшу и разсказываю въ чемъ дѣло.

— Très bien, très bien! ободряетъ онъ мою дѣвочку, гладитъ по головѣ, и затѣмъ, безъ дальнихъ разговоровъ ведетъ въ залу консерваторіи.

Зала была освѣщена, и въ разныхъ концахъ ея, за роялями сидѣли ученицы и играли. Къ одной изъ нихъ Листъ подходитъ въ сопровожденіи моей Поповичъ, проситъ уступить мѣсто, сажаетъ мою барышню, и велитъ ей играть, что она знаетъ.

Хотя Поповичъ замѣтно конфузилась передъ такимъ великимъ судьей и играла значительно хуже, чѣмъ всегда, но Листъ нѣсколько разъ хвалилъ ее.

— Nicht ohne Talent, многозначительно говоритъ онъ ей на прощанье, и снова гладитъ по головѣ.

Сіяющею отъ восторга, привожу ее домой; и что же вышло:

начальство пансіона, гдѣ Поповичъ училась, когда узнало объ этомъ, вмѣсто того, чтобы радоваться, что у нихъ оказалась такая талантливая ученица, чуть не оштрафовало мою бѣдную музыкантшу за то, что она рѣшилась безпокоить Листа.

ГРАДОНАЧАЛЬНИКЪ БАРОНЪ ТЕЙСЪ.

Успѣхъ выставки съ каждымъ днемъ все увеличивался. Съ утра и до вечера давка стояла невообразимая, въ особенности, когда войскамъ дозволили осматривать картины.

Помню, иду я разъ вечеромъ изъ своей квартиры, нѣсколько задумавшись, на выставку; подхожу къ подъѣзду, освѣщенному электрическимъ фонаремъ, вдругъ слышу позади себя команду «halt!» оглядываюсь, смотрю,—батюшки мои, цѣлый баталіонъ солдатъ приведенъ. Офицеръ, вкладывая саблю въ ножны, вбѣгаетъ по лѣстницѣ, за нимъ съ великимъ шумомъ вбѣгаютъ рота за ротой, точно хотятъ брать штурмомъ нашъ Кюнстлергаузъ. Такъ всю лѣстницу и запрудили. А лѣстница была широчайшая.

Чрезвычайно интересно было смотрѣть со стороны, какъ эти сотни любопытныхъ глазъ впивались въ картины. Солдаты по долгу стояли какъ вкопанные, а затѣмъ медленно, шагъ за шагомъ, какъ бы нехотя передвигались къ другой. Такого нашествія солдатъ я не видалъ ни на одной выставкѣ.

Еще въ самомъ началѣ, по пріѣздѣ въ Пештъ, я познакомился съ здѣшнимъ градоначальникомъ, барономъ Тейсъ. Средняго роста, широкоплечій, голова сѣдая, коротко остриженная, полное лицо обрамлялось небольшой сѣдой бородкой. Вся фигура его была чрезвычайно представительная, симпатичная.

Тейсъ почему-то крѣпко меня полюбилъ, и почти цѣлую недѣлю подрядъ, пріѣзжалъ за мной въ каретѣ и возилъ показывать достопримѣчательности своего города.

Гдѣ-гдѣ мы только не побывали съ нимъ! И музеи, и

Баронъ Тейсъ.
Градоначальникъ города Пешта.

тюрьмы, ботаническіе сады, дворцы, туннели, элеваторы—все осмотрѣли. Больше всего мнѣ понравились здѣшнія бойни. Дѣйствительно, Пештъ можетъ ими похвастаться. Несмотря на то, что тысячи быковъ здѣсь убиваются ежедневно, чистота и порядокъ сохраняются поразительные.

Благодаря знакомству съ Тейсомъ, я разъ очень удачно отдѣлался здѣсь отъ одного скандала. Надо сказать, что я встрѣчалъ грубыхъ извощиковъ и въ Парижѣ, и въ Вѣнѣ, и въ Берлинѣ, но такихъ какъ въЕштѣ мнѣ не случалось видѣть.

Взялъ я однажды одноконную каретку около двухъ часовъ пополудни. Проѣздилъ съ часъ, и даю кучеру гораздо болѣе, чѣмъ слѣдовало по таксѣ. Вдругъ мой возница швыряетъ деньги на землю и начинаетъ браниться. Конечно, сейчасъ сбирается публика и обступаетъ насъ. Извощикъ утверждаетъ, что я нанялъ его съ самаго утра, а плачу за одинъ часъ, и требовалъ чуть ли не вчетверо противъ слѣдуемаго; онъ, конечно, воображалъ, что я испугаюсь скандала, заплачу ему сколько онъ скажетъ, и поскорѣй скроюсь изъ глазъ публики. Но не тутъ-то было. Я обращаюсь къ полицейскому и разсказываю ему въ чемъ дѣло. Тотъ серьезно выслушиваетъ и ведетъ насъ обоихъ въ участокъ. Приставъ записываетъ наши показанія и проситъ подписать протоколъ. Я прошу также записать въ особенности то обстоятельство, чтобы спросили мою прислугу на выставкѣ: въ какомъ часу я ушелъ оттуда. Не смотря на то, что мой извощикъ былъ замѣтно пьянъ, приставъ объявилъ, что меня скоро вызовутъ къ судьѣ для разбирательства дѣла. Выхожу изъ участка и тутъ только вспоминаю о Тейсѣ. Скорѣй отправляюсь къ нему на квартиру. Тейсъ былъ въ своемъ служебномъ кабинетѣ, рядомъ съ квартирой. На одномъ концѣ его громаднаго письменнаго стола былъ прикрѣпленъ цѣлый рядъ электрическихъ кнопокъ, соединяющихся со всѣми частями города. Старикъ отъ души разсмѣялся, когда я разсказалъ ему свою исторію.

— Наши извощики любятъ содрать лишнее съ иностранцевъ, говоритъ онъ. Мы это дѣло быстро поправимъ. Необходимо только, чтобы протоколъ не попалъ къ судьѣ. Жметъ кнопку и самъ выходитъ изъ кабинета. Не прошло, полагаю, и 10 минутъ, какъ онъ возвращается съ довольнымъ лицомъ, подаетъ протоколъ, подписанный мною и весело говоритъ: «Ist schon alles abgemacht! Der Mann bekommt 5 Gulden Strafe und 3 Tage Arrest»! [1])

Я отъ души поблагодарилъ Тейса и торжествующій иду домой, раздумывая о томъ, что у венгерцевъ значитъ съ одного вола двѣ шкуры деруть: и штрафъ и арестъ.

ОБѢДЪ.

— Знаете, говоритъ мнѣ какъ-то Смретшани, здороваясь со мною на выставкѣ. Я могу вамъ одно сказать, что вся Венгрія поднялась на ноги смотрѣть ваши картины.

— Почему вы это думаете? спрашиваю его.

— А вотъ посмотрите на этихъ господъ! говоритъ онъ и указываетъ на нѣсколькихъ стариковъ въ какихъ-то невозможнѣйшихъ сѣрыхъ зипунахъ со шнурами на груди. Это самые закоренѣлые наши помѣщики. Они, можетъ быть, десятки лѣтъ не выѣзжали изъ своихъ помѣстій, и только сильнѣйшій толкъ, поднятой газетами о выставкѣ картинъ вашего брата, принудилъ ихъ оставить свои насиженныя гнѣзда. Это все наши богатѣйшіе магнаты! Вонъ тотъ, который показываетъ имъ картины, въ черномъ сюртукѣ, видите, у него еще такіе густые брови, что почти и глазъ не видно, это нашъ почтенный патріотъ Кальманъ-Кандо. А вонъ рядомъ съ нимъ, съ сѣдой бородой, средняго роста, такой осанистый, бодрый старикъ—это нашъ знаменитый венгерскій воитель, почтенный Клапка.

---

[1]) «Все сдѣлано: человѣкъ этотъ будетъ оштрафованъ на 5 гульденовъ, да кромѣ того, его посадятъ на 3 дня подъ арестъ».

Я стою и молча любуюсь, съ какой жадностью и съ какой, совершенно несвойственной ихъ годамъ, юркостью, бѣгали они изъ одной залы въ другую, что-то тараторили между собою по венгерски и энергично размахивали руками. Вообще, они рѣзко отличались отъ всей остальной публики. Хотя костюмы на нихъ были довольно поношенные, стариннаго покроя и изъ грубаго сукна, но, должно быть, здѣшняя публика хорошо знала, на комъ находились эти костюмы, и съ почтеніемъ давала старикамъ дорогу. Мнѣ очень жаль, что теперь я уже забылъ фамиліи другихъ почтенныхъ старцевъ, тѣмъ болѣе, что они не замедлили узнать отъ моего Якова, который всегда торчалъ въ дверяхъ въ своемъ русскомъ костюмѣ, т. е. въ поддевкѣ поверхъ красной кумачевой рубахи—гдѣ я, и тотчасъ же подошли познакомиться со мной. Они были, какъ сами выразились мнѣ: «Tout à fait comblés!» нашей выставкой. При этомъ я замѣтилъ между прочимъ, что истые аристократы венгерцы не совсѣмъ-то любятъ нѣмецкій языкъ, и охотнѣе говорятъ по-французски.

Подъ впечатлѣніемъ-ли выставки, или я уже такъ имъ понравился, только мои магнаты пригласили меня отобѣдать съ ними въ Европейской гостинницѣ, въ такъ называемой турецкой комнатѣ.

Въ первый моментъ я хотѣлъ отказаться, но приглашеніе было сдѣлано такъ искренно, такъ радушно, старческія лица ихъ сіяли такой непритворной радостью, что мнѣ казалось въ эту минуту, будто Россія кончаетъ съ мадьярами всю свою исконную вражду, и что съ этой минуты заключается самый дружественный миръ на вѣчныя времена. Я сердечно поблагодарилъ за честь и принялъ приглашеніе. Мои новые знакомые крѣпко пожимали мою руку въ знакъ сердечной благодарности.

Но вотъ теперь-то мнѣ и приходится краснѣть за мою разсѣянность.

Насталъ званый день, а я совершенно и забылъ о немъ.

Въ 5 часовъ отправляюсь съ выставки къ себѣ на квартиру, пообѣдать. Дорогой захожу въ колбасную, гдѣ всегда были превосходныя сосиски. Покупаю нѣсколько штукъ и отправляюсь къ себѣ домой. Переодѣваю свою домашнюю визитку, и за обѣдомъ начинаю придумывать, куда бы вечеромъ отправиться провести время. И вдругъ, чувствую, что холодный потъ выступаетъ у меня на лбу: мнѣ вспоминается званый обѣдъ. Бросаюсь смотрѣть на часы—половина седьмого. Боже! Срамъ какой! Думаю, что никогда ни одинъ брантъ-маіоръ такъ быстро не одѣвался на пожаръ, какъ я въ этотъ разъ.

Хозяинъ моей квартиры, какой-то баронъ и тоже старый и весьма почтенный, сознавался мнѣ потомъ, что принялъ меня за сумасшедшаго — такъ стремительно вылетѣлъ я на улицу. Сажусь на перваго извощика и скачу какъ угорѣлый. Уже было темно; горѣли фонари. И о стыдъ мнѣ! Приближаясь къ подъѣзду гостинницы, еще издали вижу двѣ знакомыя мужскія фигуры, во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ, съ расчесанными усами и бакенбардами. Они озабоченно разговаривали о чемъ-то со швейцаромъ. Вотъ они перестаютъ разговаривать и пристально смотрятъ въ мою сторону. Они узнаютъ меня. Надо видѣть ихъ радость, какъ они бросаются ко мнѣ, высаживаютъ подъ руки и съ торжествомъ ведутъ наверхъ.

Право, мнѣ казалось, ужъ не во снѣ ли я все это вижу? За что такая честь? мелькало въ моей головѣ. За мое невѣжество! За мою непростительную разсѣянность! Когда я теперь вспоминаю все это, то, не смотря на то, что уже прошло болѣе 13 лѣтъ, мнѣ до сихъ поръ дѣлается стыдно.

Меня вводятъ подъ руки въ ярко освѣщенную комнату, убранную коврами въ турецкомъ вкусѣ.

Оркестръ цыганъ на струнныхъ инструментахъ, играетъ чудный національный венгерскій танецъ: «Ритка Буза». Мнѣ ужасно полюбился этотъ мотивъ. Въ немъ высказалась вся живая, энергичная, венгерская натура. Не только что венгерецъ,

но мнѣ кажется, всякій другой, невольно вздрогнетъ всѣми суставами, когда цыганскій хоръ (обычные музыканты въ Венгріи) лихо грянетъ «Ритку Бузу».

До сихъ поръ не могу припомнить, чѣмъ отговорился я за свою разсѣянность.

Впрочемъ, хозяева были настолько любезны, что моя неловкость прошла какъ-то незамѣтно. Сейчасъ же сѣли за столъ. За спиной каждаго изъ насъ стало по лакею, и мы, подъ музыку, принялись за роскошный обѣдъ.

Уже я не разъ говорилъ въ своихъ запискахъ, что никогда не могъ пить много вина. Тутъ же, одинъ изъ хозяевъ, сосѣдъ мой, должно быть заранѣе сговорился съ товарищами напоить меня. Еще за первымъ блюдомъ онъ торжественно спрашиваетъ:

— Eh bien, M-r Wereschaguine, avec quel vin commençons nous?

Хотя я и любилъ шампанское, но, надѣясь угодить венгерцамъ, выразилъ желаніе начать съ токайскаго. Мнѣ налили въ стаканчикъ удивительнаго вина, какого-то густого, замѣчательно вкуснаго и ароматнаго. Оно имѣло видъ дымчатаго топаза. Какъ потомъ я узналъ, вину этому было болѣе 30 лѣтъ. Каждый изъ хозяевъ считалъ долгомъ выпить со мной по стаканчику. Я храбро чокался и пилъ стаканъ за стаканомъ. Вино прелестное, но я слишкомъ понадѣялся на свои силы, и притомъ совершенно упустилъ изъ виду, что хозяевъ пятеро, а я одинъ, и слѣдовательно долженъ выпить за пятерыхъ.

Второе блюдо было рыбное; подавали роскошную дунайскую стерлядь. Кто-то изъ старпковъ говорилъ рѣчь, но что—не помню. Я заснулъ за столомъ. — Просыпаюсь — утро. Я лежу дома, въ постелѣ. Голова сильно болитъ. Начинаю припоминать. И вдругъ, какъ въ туманѣ, вижу — ярко освѣщенная комната, посрединѣ великолѣпно сервированный столъ, передъ каждымъ приборомъ по букету цвѣтовъ, два хора цыганъ попеременно играютъ заунывные, хватающіе за душу мотивы. И

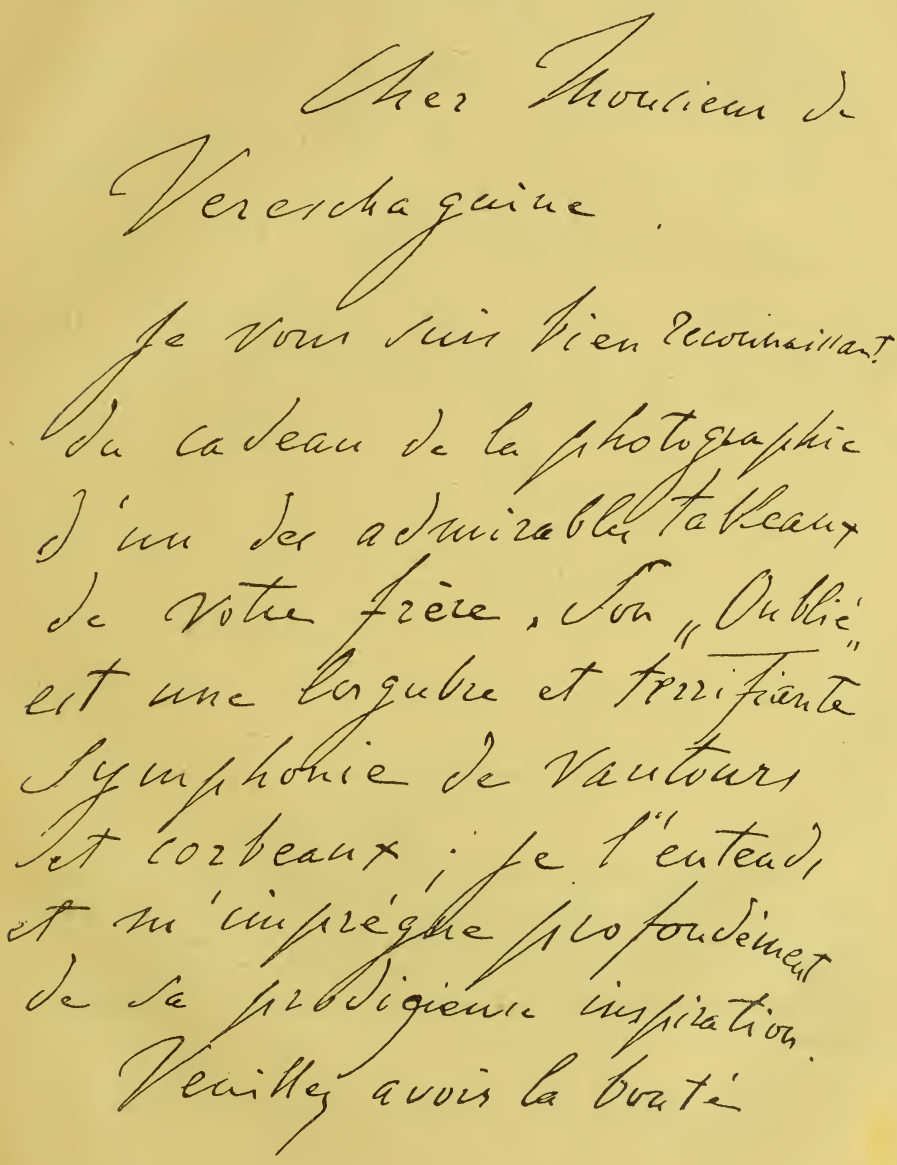
въ то же время вижу добрые, устремленные, прямо на меня, взоры моихъ знакомцевъ, старыхъ, почтенныхъ, какъ лунь сѣдыхъ венгерскихъ магнатовъ. Они какъ бы укоризненно кивають мнѣ головами. Невообразимо совѣстно стало мнѣ, что я такъ быстро охмѣлѣлъ, что даже не досидѣлъ до половины обѣда. А обѣдъ, судя по началу, долженъ былъ быть на славу. Пробовалъ было я оправдываться самъ передъ собой тѣмъ, что не зналъ свойства токайскаго, и что виноваты хозяева въ томъ, что такъ усердно заставляли меня пить, что ихъ пятеро, а я одинъ, и т. п., но все это не выдерживало критики.

Раздумывая такъ, смотрю на часы—11 утра. Въ это время входитъ ко мнѣ хозяинъ квартиры и докладываетъ, что Кальманъ-Кандо пріѣзжалъ узнавать о моемъ здоровьѣ. Я поскорѣй одѣлся и ѣду къ нимъ въ гостинницу. Тамъ уже мои знакомцы были всѣ въ сборѣ въ дорожныхъ костюмахъ, и очень обрадовались видѣть меня здоровымъ. Оказывается, что хозяева за обѣдомъ сами удивлялись моей храбрости: вино, которое я пилъ, было такое крѣпкое, что и они не рѣшились бы выпить за разъ двухъ стакановъ, а я, неоднократно чокаясь, выпилъ чуть не десятокъ и пришелъ въ такой азартъ отъ «токайскаго» и отъ «Ритки Бузы», что цѣловался не только, что съ моими почтенными хозяевами, но и съ музыкантами, при чемъ подарилъ имъ 100 гульденовъ. Послѣднее обстоятельство нѣсколько помирило и успокоило меня. Ну, думаю, венгерцы хоть не могутъ упрекнуть меня въ скупости, тѣмъ болѣе, что мои магнаты въ тотъ же день уѣхали во-свояси и не дали мнѣ возможности отвѣтить обѣдомъ.

Вообще, ни объ одномъ городѣ, гдѣ я побывалъ съ выставкой картинъ, у меня не осталось столько хорошихъ воспоминаній, какъ о Пештѣ. Никогда я не предполагалъ, чтобы венгерцы могли такъ искренно, сердечно привѣтствовать русскаго, хотя я хорошо понималъ, что въ лицѣ меня, венгерцы привѣтствовали брата моего Василія.

ПИСЬМО ЛИСТА.

Когда я уѣзжалъ изъ Пешта, Листъ, при прощаніи, передалъ мнѣ свою фотографическую карточку съ надписью: «A M-r Alexandre Wereschaguine affectueusement. Fr. Liszt» и письмо, въ которомъ говорилось слѣдующее:



Cher Monsieur de
Vereschaguine.

Je vous suis bien reconnaissant
du cadeau de la photographie
d'un de admirables tableaux
de Votre frère, son „Oubliè"
est une lugubre et terrifiante
Symphonie de Vautours
et corbeaux; je l'entend,
et m'imprègne profondement
de sa prodigieuse inspiration.
Veuillez avoir la bonté

Je dis à Votre frère
mon admiration pour son
génie, et agréez, cher
Monsieur, l'expression de
mes sentiments très distingués
et dévoués

F. Liszt [1].

5 Février, 83 -
Budapest

---

[1])

Любезный Господинъ

Верещагинъ,

Я вамъ очень благодаренъ за подаренную мнѣ фотографію съ чудной картины вашего брата. Его «Забытый»—мрачная и ужасная симфонія коршуновъ и вороновъ; я слышу ее, и глубоко проникаюсь ея высокимъ вдохновеніемъ.

Будьте такъ добры, выскажите вашему брату мое восхищеніе его геніемъ, и примите, милостивый государь, выраженіе моихъ искреннихъ и преданныхъ чувствъ.

Ф. Листъ.

5 февраля 1883 г.
Будапештъ.

ЧАСТЬ III

ВЪ РУССКОЙ ГЛУШИ

СКУПОЙ

ГЛАВА I.

На постояломъ дворѣ.

ВЕЧЕРОМЪ, передъ закатомъ солнца, въѣзжалъ я въ маленькій глухой городишко «Задубье».

Ямщикъ провозитъ меня на постоялый дворъ. Комнату дали такую, что и повернуться негдѣ. Но не искать же ночью другой.

— Пришли-ка ты, милый, хозяина, говорю своему ямщику.—Тотъ только что принесъ мой чемоданчикъ и остановился въ дверяхъ въ ожиданіи на чаекъ «съ моей милости».

Въ это время входитъ сѣдой старикъ въ бѣломъ, лѣтнемъ пиджакѣ, нанковыхъ сѣрыхъ панталонахъ и въ сѣрыхъ же валенкахъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держалъ берестяную тавлинку, а въ правой красный носовой платокъ, весь перепачканный въ табакѣ. Съ виду старикъ напомнилъ мнѣ помѣщичьяго повара крѣпостныхъ временъ.

— Мое почтеніе, сударь! Благополучно ли въ наши страны прибыть изволили? говоритъ онъ хриплымъ старческимъ голосомъ, и останавливается передо мной въ полусогнутомъ положеніи. Смотрю, голова у него такъ и трясется; глаза впалые,

слезливые. Морщинистыя щеки отвисли, сѣдой подбородокъ—что щетка.

— Ничего! Слава Богу, доѣхалъ хорошо. Вотъ каково дальше будетъ? отвѣчаю ему и раздѣваюсь.

— А куда изволите отсюда путь держать? не безъ любопытства спрашиваетъ старикъ, подставляетъ тавлинку къ носу и съ какимъ-то остервенѣніемъ втягиваетъ табакъ.

— Глаза, господинъ, болятъ у меня; такъ вотъ уже лѣтъ двадцать какъ дохтура нюхать велѣли, какъ бы въ свое оправданіе поясняетъ онъ и обтираетъ носъ платкомъ.

— Мнѣ, старинушка, въ «Заболотье» надо! Слыхали вы?

— Заболотье!.. Да чье же это? Не Пастушихи ли? Онъ вопросительно смотритъ на меня, нервно трясетъ головой и видимо приготовляется къ новой порціи табаку.

— Нѣтъ! Это помѣщика Сосулькина. Знаете?

— Со-суль-ки-на! Охъ, это къ скареду-то этому! Смотрите, сударь, какъ бы онъ васъ голодомъ не заморилъ, предупредительно восклицаетъ старикъ.

— Это далеко-съ, верстъ 60 будетъ, и дорога весьма не авантажная, деликатно докладываетъ онъ, отвертывается, быстро, какъ бы украдкой, подсовываетъ къ носу табакерку и снова всласть затягивается.

— Пунктовыя туда не повезутъ-съ, придется вольныхъ искать, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ продолжаетъ пояснять старикъ мое горестное положеніе.

Вотъ такъ штука! А я-то воображалъ къ обѣду туда доѣхать. Этакъ, пожалуй, дай Богъ, только къ ночи добраться, разсуждаю про себя.

— Такъ ужъ вы, пожалуйста, хозяинъ, наймите лошадокъ, поторгуйтесь. Мнѣ необходимо выѣхать, я очень тороплюсь.

— Парочку? вопрошаетъ онъ.

— Да, парочку, вещей у меня немного! кричу ему вслѣдъ, самъ ложусь въ постель и быстро засыпаю.

ГЛАВА II.

Гусь.

ПРОСЫПАЮСЬ—УТРО. Слышу на дворѣ спорятъ. Раздается нѣсколько мужскихъ голосовъ, и между ними чей-то знакомый.

— Что, я жизни не радъ, что-ли, ѣхать туда! Поѣзжай самъ! гнусливо огрызается кто-то. Приподнимаюсь съ постели, вижу, у окна стоитъ хозяинъ въ фуражкѣ съ длиннѣйшимъ клеенчатымъ козырькомъ, въ томъ же бѣломъ пиджакѣ, и разговариваетъ:

— Да вѣдь надо же кому-нибудь везти барина. За деньгами не постоятъ, говоритъ онъ.

— Невидаль деньги! жисть-то дороже! слышится тотъ же гнусавый голосъ. Я съ грустью догадываюсь, что рѣчь идетъ обо мнѣ. Вотъ, думаю, забрался же я въ трущобу. Никто и везти не хочетъ. Мнѣ становится очень досадно, что я не могу видѣть, кто это такъ грубо говоритъ съ моимъ хозяиномъ. Встаю съ постели и подхожу къ окну. Человѣкъ шесть ямщиковъ, въ

сѣрыхъ кафтанахъ, и безъ кафтановъ, съ гребешками на поясахъ и безъ гребешковъ, съ озабоченными лицами толкуютъ съ моимъ хозяиномъ.

— Ну, а ты, Гусь, что ты не берешься? Вези! У тебя кони дома! обращается хозяинъ къ рослому старику въ полушубкѣ и высокой круглой, ямской шапкѣ, похожей на архіерейскую митру. Морщинистое, загорѣлое лицо его поросло жиденькой, рыжей бородкой, на сизомъ носу выросли какіе-то бутоны. До того времени Гусь стоялъ въ сторонкѣ, засунувъ руки въ рукава, молчалъ и только изрѣдка, будто отъ холоду, ежился и подергивалъ плечами.

— Вѣдь ты бывалъ въ Заболотьѣ? спрашиваетъ хозяинъ.

— Бывать-то, бывалъ, только давно, лѣтъ десятокъ пожалуй, еще покойную Морозиху возилъ, сиплымъ, недовольнымъ голосомъ отвѣчаетъ тотъ, лѣзетъ рукой въ карманъ полушубка и сквозь него усиленно скребетъ себѣ задъ.

— Ну, такъ и вези! А я пойду барину доложу, пускай самъ съ тобой рядится, кричитъ старикъ и готовится уйти.

— Нѣтъ, вы постойте, Миколай Петровичъ! Вы вотъ чего, въ нерѣшительности говоритъ Гусь, и какъ бы нехотя переступаетъ съ ноги на ногу по пути къ нему.—Дорога-то туды больно плоха, вѣдь на Каменникъ надо ѣхать. Эво куды! и онъ пальцемъ указываетъ въ пространство.—Я какъ то туды ѣздилъ, такъ вѣришь ли жизни не...

— Тамъ трясины! гнусливымъ, самоувѣреннымъ голосомъ перебиваетъ его другой мужикъ, низенькій, широкоплечій, съ длинной русой бородой, лицо хитрое, одѣтъ въ сѣрый кафтанъ, на головѣ низенькая поярковая шляпа. По голосу я узнаю, что это тотъ самый, который такъ грубо отвѣчалъ моему хозяину. Ему, очевидно, не желательно упустить работу, а потому онъ, нарочно, застращиваетъ Гуся. Но Гуся не проведешь. Не даромъ ему и прозвище такое. Гусь подходитъ къ моему старику, лукаво шепчетъ что-то на ухо, и затѣмъ оба идутъ въ

домъ. За ними гурьбой тащатся и остальные. Я одѣваюсь и выхожу имъ на встрѣчу въ прихожую.

— Вотъ, сударь, эфтотъ человѣкъ соглашается васъ везти. Лошади у него хорошія и дорогу знаетъ. А цѣной ужъ вы сами съ нимъ рядитесь какъ знаете, докладываетъ хозяинъ, и посматриваетъ то на меня, то на Гуся.

— Ну, сколько же ты возьмешь съ меня? спрашиваю его.

Гусь вертитъ шапку въ рукахъ и какъ бы нехотя говоритъ грустнымъ, монотоннымъ голосомъ:

— Да дорога-то туды, баринъ, все запутная [1]). На Каменникъ надо ѣхать, а то и не попадешь. Побратимъ мой дохтура, надысь, возилъ туды, такъ сказывалъ, что и съ душой придется разстаться. И Гусь сумрачно смотритъ на меня.

— Да мнѣ все равно, какъ ты повезешь, на Каменникъ, или на другую деревню, а только говори, сколько возьмешь? серьезно объясняю ему.

— Да... охота... туды... забираться... въ трясину! Тамъ все болота... дорогъ не видать... вдругъ ни съ того, ни съ сего своимъ гнусливымъ голосомъ вмѣшивается въ нашъ разговоръ мужиченко съ длинной русой бородой и въ поярковой шляпѣ. Хитрые сѣрые глаза его усиленно моргали, точно онъ хотѣлъ этимъ заглушить свою совѣсть. Я хорошо понималъ, къ чему мужикъ клонилъ дѣло, и сердито кричу ему:

— А тебѣ чего надо? Съ тобой что ли говорятъ? Убирайся вонъ! и показываю ему рукой на дверь.

— Да вѣдь я такъ, вѣстимо! Миколай Петровичъ позвали, а то бы я и не пришелъ! обиженнымъ тономъ возражаетъ мужиченко. Нехотя поворачивается, уходитъ и, еще не выходя изъ комнаты, сердито надѣваетъ свою шляпу и ехидно добавляетъ:

— Эфтакую даль ѣхать! Надо хлѣбъ убирать!—За нимъ тоже, какъ бы обиженные, уходятъ и остальные, кромѣ Гуся.

---

[1]) Глухая, малоѣзженная.

— Ну, такъ какъ же? рѣшительно спрашиваю я.—Хочешь ты везти меня или нѣтъ? и въ то же время вполнѣ сознаю, что другихъ извощиковъ здѣсь врядъ ли найду, старикъ привелъ бы ихъ, если бы были.

— Да время-то вишь какое, баринушко, хлѣбъ надо убирать! тянетъ онъ, повторяя слова предшественника.—Да и далече больно!

— Ну, да сколько же возьмешь? съ нетерпѣніемъ допытываюсь я.

— Туды только? спрашиваетъ онъ, щиплетъ гарусный шнурокъ на своей шапкѣ и въ то же время, очевидно, соображаетъ, сколько бы съ меня содрать.

— Только туда! отвѣчаю ему, полагая, что этимъ отвѣтомъ я удешевлю цѣну. Но оказывается, что какъ бы я ни сказалъ, все будетъ во вредъ мнѣ.

— Вотъ вѣдь только туды, а назадъ-то изволь порожнякомъ тащиться, недовольнымъ тономъ возражаетъ Гусь.

— 15 рублей! Меньше не поѣду, отрывисто говоритъ онъ, и въ то же время кланяется, желая показать тѣмъ, что больше не хочетъ и разговаривать.

— Да вѣдь за 60 верстъ прогоновъ-то на тройку всего 5 р. 40 к., а ты хочешь почти втрое! удивленнымъ тономъ говорю ему.

— Какъ будетъ угодно, а меньше взять нельзя.—Гусь поворачивается и уходитъ.

Какъ быть, думаю, надо брать.

— Эй, Гусь! кричу ему.

Тотъ возвращается, и я слышу какъ онъ ворчитъ себѣ подъ носъ: «Гусь, Гусь! Я давно Гусь».

— Это, изволите ли видѣть, сударь, ему прозвище такое народъ далъ, а звать его Петромъ Захарычемъ! вкрадчивымъ голосомъ поясняетъ мнѣ мой хозяинъ.

— Чего изволите? сердито говоритъ тотъ.

— Лошади-то у тебя хороши ли? спрашиваю его.

— Да вѣдь ужъ какія есть, новыхъ покупать не стану! резонно восклицаетъ мой будущій возница и останавливается.

— Ну, такъ ладно, запрягай живѣй, пора ѣхать! говорю ему и полагаю, что вотъ онъ сейчасъ пойдетъ домой и будетъ запрягать. Но дѣло, оказывается, совсѣмъ было иначе.

— Развѣ такъ скоро возможно, баринъ; надо коней овсомъ покормить. Дорога дальняя, объясняетъ онъ.

— Эге, мой милый, думаю, что-то ты вертишься; дома ли у тебя кони-то. Пойду-ка я теперь съ тобой, а то, пожалуй, еще даромъ время проведешь.

Расплачиваюсь съ хозяиномъ, передаю Гусю чемоданъ, и мы отправляемся.

Гусь жилъ, что называется, у чорта на куличкахъ, т. е. на самомъ краю города, въ только что выстроенномъ домѣ. Подходимъ къ воротамъ. Я хочу зайти во дворъ взглянуть на лошадей.

— Пожалуйте, пожалуйте! Въ избу пожалуйте! недовольнымъ тономъ восклицаетъ Гусь. Чай кушать; тамъ мои дочки, должно, теперь чай пьютъ, а я сейчасъ! и онъ провожаетъ меня въ домъ, а самъ исчезаетъ.

День былъ праздничный. За большимъ круглымъ столомъ возсѣдало пять дебелыхъ дѣвицъ, дочерей Гуся, въ синихъ, красныхъ и желтыхъ платьяхъ. Онѣ только что пришли отъ обѣдни и пили чай. При моемъ появленіи, двѣ изъ нихъ подымаются и опрометью выбѣгаютъ изъ комнаты, вѣроятно, помогать отцу.

Вскорѣ, слышу, раздается въ сѣняхъ голосъ хозяина.

— Ну, вотъ, баринъ, сейчасъ и коней приведутъ!

Онъ входитъ въ комнату и скрывается за перегородкой.

— Дочки, угощайте барина чаемъ, выкрикиваетъ онъ оттуда.—За ситнымъ бы сбѣгали!

Минутъ черезъ пять онъ является одѣтый уже по дорожному: въ синемъ полиняломъ пиджакѣ, изъ подъ котораго вид-

нѣлась жилетка съ голубыми стеклянными пуговицами, красная рубаха и въ рыжихъ, миткалевыхъ шаравахъ, мѣстами запачканныхъ дегтемъ.

— Дочкй-то у меня совсѣмъ дуры, прости ты Господи, не умѣли барина чаемъ попотчивать, ишь всѣ поразбѣглись.—Смотрю, дѣвицъ его уже и въ самомъ дѣлѣ не было ни одной. Онѣ какъ мухи отъ холода незамѣтно когда исчезли. Гусь крестится, садится за самоваръ и наливаетъ себѣ и мнѣ по чашкѣ чаю. Подстриженные въ кружокъ коричневые волоса его жирно смазаны масломъ и мѣстами изображали изъ себя корку. Шея обернута чернымъ платкомъ. Гляжу на его грубое, простое лицо, и думаю: какой этотъ Гусь должно быть хорошій человѣкъ! Какъ онъ искренно угощаетъ меня. Въ то же время смотрю на часы: ай, батюшки, одинадцатый часъ. Когда же это я выѣду? мелькаетъ въ моей головѣ. Времени уже много, а лошадей еще не привели.

— Пожалуйста, поѣдемъ! Что же это до сихъ поръ лошадей нѣтъ? сердито говорю ему. Тотъ молча встаетъ, опрокидываетъ чашку вверхъ дномъ, снова крестится и вздыхая выходитъ изъ комнаты во дворъ. Я за нимъ. Здѣсь Гусь съ сумрачнымъ видомъ начинаетъ возиться вокругъ тарантаса: смазываетъ его, налаживаетъ тяжи, подколачиваетъ, подвязываетъ, вытаскиваетъ сбрую. Все у него гадко, рвано, связано веревочками на живую нитку. Гусь, конечно, все это хорошо зналъ, и ему, какъ хозяину, досадно было, что я уже теперь, раньше времени это вижу, и вѣроятно думалъ: постой, голубчикъ, все это еще цвѣточки, а ягодки будутъ, когда лошадей приведутъ.

Вскорѣ, въ воротахъ показывается какая-то невозможная рыжая кляча. На лѣвую переднюю ногу она сильно припадала. На плечахъ краснѣли, точно фонари у локомотива, кровавыя ссадины такой величины, что, какъ говорится, и шапкой не прикроешь. Лошадь была такъ тоща, что, казалось, вотъ сейчасъ кости проткнутъ кожу и выглянутъ наружу. За ней слѣ-

довала другая лошадь, пѣгая. У этой одинъ глазъ не глядѣлъ; вмѣсто него виднѣлась только слезливая щелочка съ длинными влажными рѣсницами, которыми она безпрестанно моргала. Пѣгій вытянулъ шею и слабо переступалъ разбитыми ногами. Онъ чуточку былъ сытѣе рыжей.

Хозяинъ поправляетъ тяжъ на оглоблѣ и дѣлаетъ видъ, будто не замѣчаетъ лошадей. Онъ, конечно, хорошо понималъ, что кони его не могли произвести на меня отраднаго впечатлѣнія.

— Это что за клячи? невольно восклицаю я.—Неужели ты на нихъ собираешься везти меня?

— Не извольте безпокоиться, пожалуйте въ комнату! съ тѣмъ-же невозмутимымъ хладнокровіемъ возражаетъ тотъ.—Вотъ запрягу, такъ увидите, какъ поѣдемъ! Кони свычные!—При этомъ я замѣчаю, что хозяинъ не обращаетъ почти никакого вниманія на мои возраженія. Онъ, видимо, былъ увѣренъ, что я, послѣ того какъ потерялъ съ нимъ полъ-дня, уже не пойду искать другихъ лошадей, а съ нимъ поѣду.

Хотя я вообще любилъ шибко ѣздить, и всегда выбиралъ хорошихъ лошадей, но на этотъ разъ на меня нашло точно какое затмѣніе. Манера Гуся разговаривать, его обращеніе со мной какъ съ ребенкомъ, совершенно обезоружили меня. Такое обращеніе, невольно какъ-то напомнило мнѣ отдаленное дѣтство, когда бывало забѣжишь въ кухню, а поваръ, или лакей и закричитъ: «Пожалуйте, баринъ, отсюда, не ваше здѣсь мѣсто», и безъ церемоніи выводитъ за руку вонъ изъ кухни.

— Богъ его знаетъ, можетъ и дѣйствительно кони только съ виду такъ плохи, а тамъ и разбѣгутся, разсуждаю, я и направляюсь въ избу.

Такъ, черезъ часъ времени, подъ окнами раздается веселый звонъ колокольчика. Гусь съ грохотомъ подаетъ къ подъѣзду тарантасъ, запряженный парою своихъ клячь. Кривой пѣгій въ корню, хромая рыжая сбоку. Дочкй торопливо выносятъ: которая мѣшокъ съ овсомъ, другая узелокъ съ ситнымъ, третья

кафтанъ и кнутъ и т. д. Все это мой возница заботливой рукой разсовываетъ въ тарантасѣ. Затѣмъ прощается съ дочка̀ми, снимаетъ съ головы порыжѣлый ватный картузъ, который онъ надѣлъ въ дорогу вмѣсто тяжелой ямской шапки, и торопливо крестится. Я взгромазживаюсь на куль сѣна, вмѣсто подушки, и мы, наконецъ, трогаемся съ мѣста.

ГЛАВА III.

Въ дорогѣ.

БЫЛО ЗА ПОЛДЕНЬ. Солнце жгло со всею силою. Какъ только мы двинулись съ мѣста, я сразу увидѣлъ, что мы ѣдемъ все равно, что на одной лошади. Пристяжная пятилась на валекъ и какъ будто все хотѣла присѣсть на тарантасъ своимъ костлявымъ задомъ. Она безсильно моталась изъ стороны въ сторону и болѣзненно припадала на ногу. Постромки ея волочились чуть не по землѣ, и, очевидно, ежели бы ихъ снять съ валька, то разницы отъ этого для коренной не произошло бы.

— Ну, Гусь, думаю. Содралъ 15 руб., и на такихъ клячахъ везетъ. Сколько же времени онъ протащитъ меня? Экъ я попался!

Мало по малу минуемъ городъ. Глазамъ моимъ представляется безотрадная картина лѣсной гари. На бѣловатомъ пескѣ далеко кругомъ чернѣли свалившіеся, одинокіе, обгорѣлые стволы деревьевъ. Нѣкоторыя изъ нихъ широко распростерлись

по землѣ сучковатыми вершинами и походили на какихъ-то гигантовъ, сраженныхъ въ битвѣ.

Смотрю на лошадей: коренная точно испугалась предстоящей трудной дороги, и изъ мелкой рыси разомъ переходитъ въ шагъ. Гусь сначала пробуетъ поддерживать ее рысцей, для чего нѣсколько разъ отчаянно хлещетъ кнутомъ, затѣмъ, вѣроятно, рѣшивъ въ душѣ, что отъ этого никакого толку не будетъ, флегматично слѣзаетъ съ козелъ, пропускаетъ тарантасъ мимо себя, и съ пасмурнымъ видомъ идетъ, тяжело вытаскивая ноги изъ сыпучаго песку.

Съ досады я долго не могу придумать, какъ бы этого самого Гуся поязвительнѣе выругать. Наконецъ кричу ему:

— Ты эту стерву лучше бы дома оставилъ—и рукой указываю на пристяжную. Тотъ упорно молчитъ и по прежнему тяжело плетется за тарантасомъ.

ТРОЙКА.

(Разсказъ Гуся).

— Эхъ баринушко-баринъ, послѣ нѣкотораго молчанія восклицаетъ Гусь.—Бывали и у меня когда-то кони! Да ужъ, видно, такъ Богу угодно! и онъ подбѣгаетъ и злобно тычетъ кнутовищемъ подъ самый хвостъ своему Рыжкѣ. Тотъ кидается въ сторону и начинаетъ усиленно крутить куцымъ хвостомъ на подобіе мельничнаго крыла.

— Куда же ты ихъ дѣвалъ? спрашиваю старика.

— Куда дѣвалъ!.. Роботникъ утопилъ!—обрываетъ онъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ! и старикъ снимаетъ свой порыжѣлый картузъ, достаетъ со дна красный засаленный платокъ и старательно вытираетъ имъ потное лицо.

— И давно это случилось? съ любопытствомъ спрашиваю я.

— А какъ давно! Когда у насъ слобода-то горѣла? въ раздумьѣ, спрашиваетъ Гусь самъ себя.—Пожалуй годовъ 15 будетъ. И въ самый Духовъ день. И онъ съ укоризною тычетъ пальцемъ въ пространство, какъ бы желая выказать свое неудовольствіе на «Духовъ день», точно виною всему былъ этотъ день. Послѣ чего уже нѣсколько смягчившимся голосомъ продолжаетъ:

— Вы изволили примѣтить, верстахъ въ трехъ за городомъ, на Черномъ Ручью, мостокъ? За нимъ сейчасъ повертка идетъ на с. Вѣдрово. Такъ вотъ жилъ у меня парень въ работникахъ. Ѳедюхой звали. Парень смирный, не пьющій. И довелось ему разъ купцовъ везти въ самое это Вѣдрово, отъ города-то верстъ 30 будетъ. А тройка у меня была, что голуби, вся сѣрая. Кнута и не думай брать! Убьютъ! сердито восклицаетъ старикъ. А коли надо когды пошибчае, такъ только вотъ этакъ рукой проведешь,—и Гусь любовно проводитъ передъ собой своей черствой ладонью.

— Назадъ-то Ѳедюха поѣхалъ, еще солнышко только за полдень перевалило. Сѣлъ онъ это въ тарантасъ, окуратъ, такой же какъ и этотъ, безъ «кебетки», ну, и вѣстимо заснулъ. А кони-то шли-шли, и остановились у озерка возлѣ самой дороги. У насъ ужъ такой обычай, на обратномъ пути, у эфтого мѣста коней поить, чтобы, какъ домой придутъ, такъ имъ сряду же можно было и овса дать, поясняетъ старикъ.

— Такъ вотъ, милый ты мой, баринушко, ваше благородіе, тяжело вздыхая продолжаетъ разсказчикъ, при чемъ, по мѣрѣ приближенія къ развязкѣ, голосъ его дѣлается все болѣе и болѣе надорваннымъ—остановились это они, а жара была не лучше теперешной, пристяжные-то сряду же и давай пить, а у коренной поводъ-отъ подвязанъ, до воды-то ей и не достать, она и ну, все впередъ, да впередъ подаваться, да головой мотать, чтобы значитъ до воды досягнуть,—и Гусь представляетъ, какъ лошадь мотаетъ головой—все глубже, да глубже забира-

етъ, пристяжныя за ней. А озеро-то это такое проклятое, и прозванье-то ему «Чортово». И разомъ въ немъ глубокій обрывъ. Ну шли-шли, да какъ ухнутъ!.. Тарантасъ тяжелый, на желѣзномъ ходу; ну ко дну и пошли...—Молчаніе.

— А вѣдь работникъ-отъ, стервецъ, выскочилъ!.. внезапно восклицаетъ старый ямщикъ, послѣ нѣкотораго промежутка времени, такимъ голосомъ, точно ему жалко было, что тотъ выскочилъ.—Потомъ-то ужъ онъ пыталъ въ ногахъ у меня валяться, да каяться. Кони-то, вишь, не разъ его, сонnаго въ это самое озеро заволакивали, да все Богъ миловалъ—просыпался.

— Ну, а на этотъ разъ такъ-таки и погибли? спрашиваю его.

— Я же вамъ докладываю: тарантасъ грузной, дуга тоже тяжелая, ну, постромки, возжи, шлеи, все это перепуталось. Гдѣ же имъ было сердешнымъ выскочить. Хоть теперь вашей милости, наменись-ко въ одежѣ, въ сапогахъ, много-ли съ водой наборешься?..

— Эхъ! да что и вспоминать..... и Гусь точно для того, чтобы хоть сколько нибудь утолить горе, заходитъ къ коренной, берется за концы оглобель и разомъ накреняетъ чуть склонившуюся было на бокъ дугу такъ сильно, что бѣдный Пѣгашка едва на ногахъ стоитъ.

На нѣкоторое время опять наступаетъ молчаніе.

— Ну, а работникъ-то что же? допытываюсь я.

— А того водой-то какъ охватило—выскочилъ изъ тарантаса, увидалъ, что кони угрузли, такъ со всѣхъ ногъ домой и побѣгъ! И разсказчикъ своими толстыми пальцами указываетъ направленіе, куда парень побѣгъ.—Прибѣгъ, да на печь забрался, да тамъ и лежитъ, ни съ кѣмъ слово не молвитъ. Кто ни спроситъ: «Что съ тобой, Ѳедюха?» а онъ только мычитъ.

— Ну какъ-же ты-то узналъ?—продолжаю допытываться.

— А ужъ у меня, ваше благородіе, когда время пришло

конямъ домой быть, вижу нѣтъ, подъ сердцемъ засосало; потому знаю, кони добрые, пристать не могли. Выйду за околицу, посмотрю, послушаю,—нѣтъ, не слыхать колокольца. Что, думаю, за причта такая, давно бы пора домой притти. Утромъ, чу-у-уть свѣтокъ, выпросилъ у сосѣда лошадь, верхомъ и погналъ. Къ озеру-то подъѣзжаю, глядь, а подушка-то съ тарантаса, сѣномъ набита была, недалече отъ бережку и плаваетъ. Господи, Ты, Боже! жалостливо восклицаетъ мой Гусь. На грубомъ морщинистомъ коричневатомъ лицѣ его, на самыхъ скулахъ, подъ глазами, пробивается легкій румянецъ. Глаза разширяются, старикъ дѣлается оживленнымъ и уже самъ разсказываетъ далѣе безъ всякаго принужденія.

— Какъ я съ лошади свалился, и не помню. Какъ есть, въ сапогахъ и одежѣ, кинулся въ воду, къ подушкѣ-то, смотрю, а за ней, манехонько подальше, негоразъ глыбко и хвосты видать. Гусь кланяется и разводитъ руками.

— Ну что же ты?

— А вышелъ я на берегъ, палъ на земь, и давай головой биться. Бился-бился, — землю ѣлъ; потомъ вдругъ такая злость у меня на работника пришла, думаю: ежели да онъ не утонъ вмѣстѣ съ конями, такъ вотъ найду его, да и сражу чѣмъ попало. Сѣлъ опять на лошадь и погналъ къ нему на домъ, потому знаю, что коли живъ онъ, такъ некуда ему больше дѣться. Пріѣзжаю, вхожу въ избу, а матка его, значитъ, полъ моетъ, прямо рукой на печь и указываетъ. Я къ нему:

— Ѳедюха? А Ѳедюха? кричу,—а у самого такъ на нутрѣ и вертитъ. Легонько рукой толкаю его, и Гусь трогаетъ самъ себя за плечо, желая показать, какъ онъ толкалъ парня.—Куда коней дѣлъ?—А онъ уткнулся носомъ въ кафтанъ, подъ шубой лежитъ, весь, ровно въ лихоманкѣ, трясется. Наконецъ слышу, таково глухо, ровно изъ могилы:

— Уто-о-опи-и-илъ!

— Постоялъ я, постоялъ, посмотрѣлъ на него, махнулъ рукой, перекрестился. Твоя Святая воля, думаю, сѣлъ на лошадь, да и погналъ домой за народомъ, коней изъ воды добывать.

Мухи и слѣпни разныхъ цвѣтовъ и величинъ смѣшались съ сѣрой пылью и, подобно облаку, окружаютъ насъ. Они впиваются въ лошадей: въ спину, въ шею, подъ брюхо, а въ особенности въ крестецъ около хвоста, гдѣ животное безсильно согнать его, и жадно сосутъ кровь, которой, повидимому, и безъ того не много было въ тощихъ коняхъ.

Однообразная, въ высшей степени утомительная дорога, тянется все той же гарью. Изрѣдка попадаются старыя сосны, но и тѣ, или съ засохнувшими вершинами, или дуплистыя.

Раскаленная пыль лѣзетъ и въ ротъ, и въ носъ, и въ уши. Горячее солнце печетъ голову и невольно нагоняетъ дремоту. Вѣтру никакого. Кругомъ тишина. Усталыя лошади еле-еле передвигаютъ ноги. Колеса по ступицу уходятъ въ песокъ. Гусь съ сумрачнымъ видомъ идетъ сторонкой и, придерживая локтемъ кнутовище, заплетаетъ концы уже расхлеставшагося ременнаго кнута. Колокольчикъ рѣдко уныло звякаетъ.

— А вы, ваше благородіе, изволите знать того барина, куда ѣдете? робко спрашиваетъ онъ и искоса посматриваетъ на меня.

— А что тебѣ? говорю ему.

— Да такъ! Баринъ-то не хорошъ... Когда я Морозиху возилъ, такъ хоть-бы зерно овса конямъ далъ. Ужъ и барыня-то пытала просить; нѣтъ, говоритъ, овса, весь вышелъ. А у самого всѣ закрома полнехоньки. Страсть алчный! И Гусь злобно отплевывается. Меня начинаетъ интересовать этотъ скряга и я, чтобы вызвать Гуся на дальнѣйшій разговоръ, спрашиваю его:

— Ну что же, такъ и не далъ?

Тотъ въ это время уже заплелъ кнутъ, и, какъ бы желая испытать прочность своей работы, хлещетъ имъ по песку.

— Я же вамъ докладываю, что единаго зерна не далъ! И вѣдь кому копить — одинъ какъ перстъ! У него, говорятъ, хлѣба одного лѣтъ за десять не проданнаго лежитъ. Мыши половину изъѣли. Когда, говоритъ, голодъ настанетъ, такъ по два рубля за пудъ заплатятъ. Вотъ какой человѣкъ!

— Да ты-то почему все это знаешь? недовѣрчиво спрашиваю его.

— Да помилуйте, какъ же не знать! Весь уѣздъ его знаетъ. Мой побратимъ дохтура возилъ къ нему — заболѣлъ, вишь, старикъ, такъ двои сутки тамъ выжилъ...

— Что лѣсу у него! Господи, Боже Ты мой! и разсказчикъ становится какимъ то грустнымъ, задумывается, и на нѣкоторое время даже перестаетъ бить лошадей.

Наступаетъ молчаніе.

Мы уже часа четыре какъ тащимся по этимъ пескамъ. Жара начинаетъ немного ослабѣвать. На небѣ показываются тучки.

— Ну что, скоро-ли же мы доберемся до твоего Каменника? нетерпѣливо спрашиваю возницу. А то, пожалуй, еще и дождемъ отхлопаетъ!

— До Каменника не близко! Сначала Бесѣдное будетъ, воо-онъ тамъ за Сивымъ мохомъ,—и Гусь указываетъ кнутовищемъ нѣсколько вправо отъ себя.

— А отъ Бесѣднаго уже не далеко? говорю, воображая, что за Бесѣднымъ, первая же деревня—Каменникъ.

Гусь подходитъ ко мнѣ, берется рукой за край тарантаса, чтобы легче идти и, къ величайшей моей досадѣ, начинаетъ въ раздумьѣ перечислять по пальцамъ деревни, которыя намъ предстояло проѣхать:

— А за Бесѣднымъ сейчасъ тебѣ будетъ деревня Боръ, а дальше — Жары, — а тамъ Малыя Жары, а тутъ сейчасъ будетъ погостъ Бредихино. Большой погостъ, двѣ церкви, одна каменная новая, а другая старая деревянная, говорятъ еще до царей строена. Три лавки...

— Ну и затѣмъ Каменникъ? нетерпѣливо перебиваю его.

— Нѣтъ, баринушко, погоди маленько — все также невозмутимо продолжаетъ разсказывать Гусь. За погостомъ сейчасъ будетъ село Красное, нашего судьи. Вотъ добро село! Экіе тамъ угодья: что покосу, что лѣсу! И Гусь съ восторгомъ размахиваетъ руками. Я же въ эти минуты нисколько не былъ расположенъ восторгаться, и съ досадою слушалъ, сколько мнѣ предстояло еще проѣхать.

Но вотъ мы подъѣзжаемъ къ открытому, ровному, какъ поле болоту. Поверхность его поросла бѣлымъ мохомъ, вслѣдствіе чего оно, вѣроятно, и получило названіе «Сивый Мохъ». Верстъ, пожалуй, на пять передъ нами не было ни деревца, ни кустика. Кажется, если бы заяцъ бѣжалъ посединѣ, то и того можно бы замѣтить. Чрезъ все это видимое пространство пролегала, узенькой темной полоской, деревянная мостовая, или какъ она здѣсь просто называлась «мостъ». Дорожка была такъ узка, что ежели бы встрѣтились двѣ телѣги, то онѣ съ трудомъ могли бы разъѣхаться.

Интересно было смотрѣть, когда мы доѣхали до середины этого болота. Даже страшновато стало. Къ тому же Гусю, для моего ли успокоенія, или просто изъ любознательности, вздумалось измѣрять глубину болота. И вотъ онъ беретъ валявшуюся на дорогѣ жердь, аршина четыре длиною и начинаетъ опускать ее въ болото.

— Эво! Баринушко! Гляди-ко, глыбь какая! Эво! вся жердь ушла! И онъ берется за самый кончикъ жерди и всовываетъ ее во всю длину вмѣстѣ съ рукою чуть не полокоть.

Наконецъ минуемъ болото, подымаемся въ гору и ѣдемъ ржанымъ полемъ. За нимъ виднѣлось Бесѣдное.

ГЛАВА IV.

Проѣзжій.

СОЛНЦЕ УЖЕ ГОТОВИЛОСЬ САДИТЬСЯ, когда мы останавливаемся у крыльца низенькаго деревяннаго дома съ мезониномъ.

— Хозяйка тутъ женщина хорошая! полушопотомъ докладываетъ мнѣ Гусь, и помогаетъ выйти изъ тарантаса. — Мужъ ейный дьячокъ былъ здѣсь, да померъ, а она вотъ теперь и хозяйствуетъ. Всѣ господа у ней останавливаются.

— Пожалуйте, милости просимъ! визгливымъ голосомъ кричитъ съ крыльца еще молодая, невысокаго роста женщина, въ черномъ платьѣ, и подбѣгаетъ мнѣ навстрѣчу. Голова повязана коричневымъ платкомъ. Гусь беретъ мой чемоданчикъ и вноситъ въ домъ. Я слѣдую за нимъ.

Внизу двѣ большихъ комнаты, стѣны выбѣлены известкой. Въ первой, гдѣ я помѣстился, была лежанка. Рядомъ, за перегородкой, большая русская печка, за которой, очевидно, жила сама хозяйка, такъ какъ черезъ отворенныя дверцы виднѣлись по

стѣнамъ юбки и платья. Во второй комнатѣ сидѣлъ проѣзжій мужчина, смахивавшій на торговца, въ старой потертой шведской курткѣ. Лицомъ походилъ на цыгана, весь черный, борода и усы тоже черные, подстриженные. Онъ сидѣлъ за столомъ и закусывалъ.

Такъ черезъ полъ-часа, въ то время, какъ я тоже сбирался поужинать, проѣзжій подходитъ ко мнѣ и начинаетъ заговаривать.

— Въ Заболотье изволите ѣхать? Онъ, очевидно, уже переговорилъ съ моимъ Гусемъ.

— Да, въ Заболотье! А что? И продолжаю ѣсть.

— Да я такъ спросилъ, потому Сосулькинъ нашъ помѣщикъ. Мы въ трехъ верстахъ отъ Заболотья живемъ. «Громы» можетъ слыхали?

— Нѣтъ, не слыхалъ. И въ надеждѣ узнать что нибудь интересное о богатомъ чудакѣ, говорю ему:

— Садитесь, что же вы стоите!

— Благодаримъ покорно! отвѣчаетъ тотъ, и какъ бы нехотя садится на крайчикъ стула, на приличной отъ меня дистанціи.

— А далеко еще до Заболотья? спрашиваю его.

— Да сколько? Верстъ около 30 считаютъ! говоритъ онъ.

— Чего ты путаешь! Тьфу! — прости Господи! внезапно разражается бранью на него изъ за перегородки мой Гусь, и даже слышно, какъ плюется тамъ. Онъ уже успѣлъ отложить лошадей, выпить стаканчикъ, и теперь преудобно расположился поужинать въ комнаткѣ у хозяйки, которая ухаживала за нимъ за то, что онъ привезъ ей хорошаго гостя.

— Какія тамъ 30, и 20 то не будетъ! Затѣмъ добавляетъ:

— Не вѣрьте ему, барынушко! Этотъ пучеглазый все вретъ! И затѣмъ, какъ бы про себя, но такъ что я отчетливо слышу, протяжно добавляетъ: цы-ган-ская мор-да!

Собесѣдникъ мой нѣсколько конфузится.

Мнѣ досадно стало на Гуся, что онъ прервалъ нашъ разговоръ и я кричу ему:

— Оставь ты насъ въ покоѣ, пожалуйста, ужинай себѣ и ступай спать, а мы поговоримъ, и затѣмъ спрашиваю.

— А вы, куда? Въ городъ?

— Да-съ! мы смолокуры, смолу веземъ!

— У Сосулькина ненье-то копаете?

— Гдѣ у Сосулькина! Развѣ у него купишь что!

Послѣ нѣкотораго молчанія, проѣзжій какъ то оживляется, встряхиваетъ своими черными волосами, подстриженными въ скобку, и восклицаетъ:

— Знаете ли, господинъ, наша деревня въ прошломъ году собралась къ нему всѣмъ міромъ обрѣзную землю куплять, всего-то десятинъ 15: такъ, пустырьку, чтобы, значитъ, скотинку когда выгнать. Такъ онъ съ насъ такую цѣну запросилъ, что и не выговоришь.

— Сколько же?

— Сколько! язвительно повторяетъ собесѣдникъ. Тысячу рублей за десятину! Вотъ сколько! И онъ сердито поворачивается на стулѣ.

— Это все, говоритъ, пахатная земля. А пахатная мнѣ кажинная десятина 50 руб. доходу приноситъ; такъ вотъ, значитъ, ежели на капиталъ перевести, такъ тысячу рублей заплатите и землю берите. Вотъ какой человѣкъ! восклицаетъ онъ.

— А вы-то, какую же цѣну надавали? спрашиваю его.

— Извѣстно, мы думали по Божески, по 35 руб. надавали, такъ куды тебѣ! Ногами затопалъ и со двора прогналъ. Этакой Иродъ, такъ упаси Богъ! затѣмъ продолжаетъ:

— А вы, значитъ, къ нему по какимъ же дѣламъ? Такъ, по знакомству?

— Нѣтъ, я по службѣ!

— Такъ неужто имѣніе закладать? съ недоумѣніемъ восклицаетъ онъ и хлопаетъ руками о колѣни. Боже милостивый! вотъ дѣла-то! Да кудыжъ ему съ деньгами-то дѣться? Кажись,

и прòцентовъ не прожить!—и мой собесѣдникъ многозначительно таращитъ на меня свои широкіе бѣлки.

— Ишь вѣдь, думаю я, какой этотъ мужикъ проворный, сразу смекнулъ, зачѣмъ ѣду. Не даромъ пословица говоритъ «что хоть кафтанъ-отъ у мужика и сѣръ, да умъ-то не волкъ съѣлъ».

— А почему вы догадались, что я изъ банка? спрашиваю его. Тотъ ухмыляется, потираетъ руками о колѣни и злобно восклицаетъ:

— Да вѣдь кто-жъ къ нему, аспиду, другой поѣдетъ! Господа не ѣздятъ, сродственники отстали! Ну, а имѣнія-то ноньче всѣ закладаютъ, потому Царь дешевый прòцентъ велѣлъ брать... Вѣдь это вы, значитъ, изъ Господскаго Банка?

— Да, изъ Господскаго! Да вѣдь для крестьянъ тоже устроенъ особый банкъ дешевый! говорю ему.

— Ну тотъ-то что-то не хвалятъ! возражаетъ онъ и чешетъ въ головѣ. Сусѣди наши купляли тутъ, у одной барынишки, землицу, такъ года два маялись, такъ ничего и не вышло, только зря истратились.

— Что же такъ?

— Да ужъ не могу сказать. Доплаты что-то много требовали, ну, а у мужичковъ, сами знаете, какія деньги! Такъ рукой и махнули.—И разсказчикъ опускаетъ голову.

Мы поговорили еще немного и затѣмъ разошлись спать.

ГЛАВА V.

Въ церковь не ходи, да бабѣ угоди.

(Народная поговорка).

УТРО. Мы съ гусемъ поднялись ранехонько и выѣхали съ восходомъ солнышка. Погода продолжала стоять превосходная. По холодку ѣхать гораздо легче. Не только что Пѣгій, но даже и Рыжко ковылялъ какъ-то веселѣе. На этотъ разъ дорога дѣйствительно была гораздо легче и разнообразнѣе. Деревня слѣдовала за деревней: Боръ, Жары, Бредихино, мы что то очень скоро миновали. Не доѣзжая, такъ, верстъ десять до Каменника, Гусь круто сворачиваетъ съ дороги и останавливается около новаго, красиваго, двухъэтажнаго дома. У воротъ стояло нѣсколько подводъ и двѣ таратайки. Не говоря ни слова, Гусь соскакиваетъ съ козелъ, бросаетъ возжи въ тарантасъ, и бѣжитъ въ избу. Смотрю, онъ входитъ сначала направо въ лавку, а затѣмъ, немного погодя, переходитъ сѣни и идетъ налѣво. На этотъ разъ его что-то долго не видно. Но вотъ онъ стре-

мительно выбѣгаетъ, по дорогѣ вытираетъ усы рукавомъ, вскакиваетъ на козлы и мы трогаемся.

— Развѣ тутъ кабакъ? спрашиваю Гуся.

— Кабакъ не кабакъ — а выпить можно! не поворачивая головы, говоритъ онъ, ухмыляется и пережевываетъ кусочекъ кренделя.

— Зачѣмъ же ты сначала въ лавку забѣжалъ, а потомъ налѣво, черезъ сѣни?

— Хмъ! эхъ, баринъ! ворчитъ онъ, продолжая жевать. Направо-то я зашелъ, крендель купилъ, ну, и за водку заплатилъ, а потомъ побѣгъ къ хозяйкѣ. Ну, та, будто, значитъ, попоштовала, а денегъ ужъ и не спрашивала, и мой Гусь бросаетъ на меня лукавый взглядъ.

— Молодецъ баба! Её такъ и не поймаешь! весело восклицаю я, чтобы тѣмъ вызвать Гуся на дальнѣйшія откровенности.

— Пытались ловить. Онагдысь зимой, новый исправникъ пріѣзжалъ, такой сказываютъ, шустрый, переодѣтый въ полушубкѣ, и урядникъ съ нимъ, тоже переодѣтый. Притворились вишь, будто купцы, да и просятъ: «Пожалуйста, хозяинъ, нельзя ли намъ по рюмочкѣ, и руки отъ холоду трутъ». И Гусь при этомъ комично представляетъ, какъ тѣ трутъ руки и тоненькимъ голоскомъ копируетъ ихъ разговоръ.—Да нѣтъ, братъ, шалишь, не на таковскаго напали, злорадно восклицаетъ онъ. Нашъ Савельичъ давно пронюхалъ, что къ нему эти гости сбираются. Сейчасъ, весь этотъ черный народъ, что въ избѣ былъ, повыгналъ, да и кричитъ:

— Милости просимъ, ваше высокоблагородіе! Какъ для такихъ дорогихъ гостей, чтобы водочки не было! Хозяйка! Давай живо! Яишенку гоноши [1])! И Гусь хохочетъ на козлахъ и закатываетъ голову отъ смѣха.

— Ну, чѣмъ же дѣло кончилось? спрашиваю.

[1]) Готовь.

— Да чѣмъ кончилось! неожиданно, сердитымъ голосомъ, обрываетъ меня старикъ, точно за то, что я самъ не могъ сообразить, чѣмъ кончилось дѣло. «Ну, извѣстно, тѣ выпили, закусили, а когда деньги стали предлагать, такъ Савельичъ съ хозяйкой, оба, чуть не въ ноги кланяются имъ, да благодарятъ за честь, что изволили отдохнуть у нихъ, да закусить. А объ деньгахъ, говорятъ, ваше высокоблагородіе, и не заикайтесь; мы и черный народъ завсегда даромъ—угощаемъ, копѣечки не беремъ. Вотъ, такъ они и отъѣхали ни съ чѣмъ добавляетъ Гусь и дѣлаетъ многозначительную гримасу.

Послѣ этого разговора, Гусь нѣкоторое время ѣдетъ шагомъ, безпрестанно ерзаетъ на козлахъ, жуетъ что-то и отрывочно бормочетъ про себя: «поймалъ, да» «нѣтъ шалишь» «на-ко, выкуси-ко» и т. п. послѣ чего опять еле-еле подается впередъ.

— Экой ты какой, право, не хочешь понять, что мнѣ некогда! Я женѣ обѣщался, какъ можно скорѣе домой вернуться, а ты вотъ, какъ нарочно, чуть двигаешься, зря время тратишь съ укоризной кричу ему.

— То такъ, баринушко! то такъ! глубокомысленно возражаетъ Гусь. Дѣло хорошее! Старики наши еще говаривали: «въ церковь не ходи, да бабѣ угоди», и онъ, точно въ подтвержденіе своихъ словъ, окончательно останавливаетъ лошадей, молча слѣзаетъ съ козелъ, бросаетъ возжи ко мнѣ на колѣни и куда-то скрывается. Такъ минутъ черезъ десятокъ, мы трогаемся дальше.

ГЛАВА VI.

Заболотье.

БЫЛО ОКОЛО ПОЛУДНЯ, когда мы проѣзжали Каменникъ.

— Вотъ, ваше благородіе, смотрите, вонъ тотъ большой лѣсъ синѣетъ — это все Сосулькина. Все его! торжественно восклицаетъ Гусь и рукой указываетъ направленіе.

Безконечной, синей полосой, протянулся лѣсъ по голубому горизонту и терялся въ пространствѣ. Вскорѣ мы выѣзжаемъ на берегъ широкой судоходной рѣки и ѣдемъ вдоль нея. Мѣстами нѣсколько удаляемся, но затѣмъ опять приближаемся къ ней. Минуемъ деревни, поля. А позади насъ, неотступно, темной стѣной слѣдовалъ все тотъ же громадный лѣсъ скупого владѣльца.

— Видишь, баринъ, вонъ высокая роща на берегу. Вонъ и домъ его. Ну, вотъ тебѣ и Заболотье! радостно восклицаетъ Гусь и судорожно дергаетъ возжами полуживыхъ лошадей.

Пристально всматриваюсь въ усадьбу. На берегу рѣки, окруженный тѣнистымъ садомъ, возвышался старинный, барскій,

деревянный домъ, съ башней на углу, крашенный въ дикій, сѣрый цвѣтъ, уже полинявшій отъ времени. За нимъ, въ нѣкоторомъ разстояніи, виднѣлась на холмѣ высокая березовая роща. Кругомъ далеко раскинулись обширныя поля. Народъ, который попадался намъ на пути, съ удивленіемъ смотрѣлъ на меня и точно задавалъ себѣ вопросъ: ужъ не къ ихнему ли скупому барину я ѣду. Мнѣ даже, какъ будто показалось, что здѣшніе ребятишки, и ворота то съ какой-то неохотой отворяютъ и даже на пряники не просятъ. Вѣрно, думаю, помѣщикъ отвадилъ ихъ. Вотъ мы минуемъ послѣднюю деревню. Передо мной подъѣзжаетъ къ воротамъ, бочкомъ, на бѣлой лошаденкѣ, запряженной въ сноповую телѣгу, старикъ въ синей крашенинной рубахѣ и такихъ же порткахъ. На ногахъ новые берестяные лапти, которые, вѣроятно, только что самъ же сковырялъ. На головѣ сѣрая войлочная шляпа. Старикъ мѣрно покачивался на лошади, упираясь ногами въ оглоблю. Затѣмъ слѣзаетъ съ лошади и отворяетъ ворота. Тѣ скрипятъ чуть не на всю деревню.

— Эй, дѣдушка! что, не знаешь ли, баринъ вашъ дома? спрашиваю его.

— А Богъ его вѣдаетъ, угрюмо отвѣчаетъ тотъ. — Коли къ судьѣ не уѣхалъ, такъ гдѣ-жъ ему быть! и онъ молча пропускаетъ меня.

— Вѣдь онъ у насъ всё-о-о судится! глухимъ голосомъ кричитъ старикъ въ догонку. Мы ѣдемъ дальше.

— Слушай-ка, Гусь, что же это тамъ на поляхъ чернѣетъ? говорю моему возницѣ и рукой указываю на какія-то черныя груды, которыя стояли рядомъ съ новыми скирдами хлѣба.

— Хмъ, хмъ! Это все хлѣбъ! Этимъ скирдамъ уже много годовъ будетъ. Когда я еще оногдысь пріѣзжалъ, такъ они стояли, да должно быть, такъ они тутъ и вѣкъ свой скоротаютъ.

— Какъ! Неужели это хлѣбные скирды? невольно восклицаю я.

— Да ихъ развѣ одна! Посмотри-ка кругомъ-то, сколько

ихъ чернѣетъ, и все немолоченныя. Другимъ можетъ за десятокъ будетъ.

— И отчего же это онъ хлѣбъ гноитъ, спрашиваю его.

— Да отчего! Задаромъ работать не идутъ, а деньги платить неохота, вотъ и гноитъ! и Гусь, по привычкѣ, точно отъ холоду, водитъ плечами.

Мы подъѣзжаемъ къ усадьбѣ. Старинныя барскія каменныя ворота, въ видѣ арки, на половину разрушились, и кое-какъ, на живую нитку подперты, чтобы только возможно было проѣхать. У воротъ стоитъ полуразвалившаяся избушка, что-то въ родѣ сторожки, но такая ветхая, что, казалось, ежеминутно была готова окончательно свалиться. Въѣзжаемъ въ усадьбу. Обширный дворъ весь заросъ крапивой и репейникомъ; дороги къ дому не замѣтно. Вдали виднѣется еще нѣсколько построекъ, такихъ же ветхихъ, какъ и сторожка. Нигдѣ ни живой души. Собакъ—и тѣхъ не слышно. Мнѣ становится жутко.

— Гусь! Туда ли ты меня завезъ? спрашиваю его.

— Помилуйте! отвѣчаетъ тотъ,—не извольте сумлѣваться, вѣдь мнѣ не въ первой сюда въ Заболотье!

Вылѣзаю изъ тарантаса, беру чемоданчикъ и кладу на крыльцо сторожки. Гусь подходитъ ко мнѣ, снимаетъ шапку, всей пятерней чешетъ затылокъ и затѣмъ нерѣшительнымъ голосомъ говоритъ мнѣ:

— А ужъ вы, ваше высокоблагородіе, отпустите меня; я, Богъ дастъ, ночью и домой доѣду, еще солнышко высоко! и онъ смотритъ на него.

— Да ты бы покормилъ, говорю ему.—Вотъ ужо кто нибудь выйдетъ, такъ я попрошу, можетъ овса дадутъ.

— Нѣтъ, гдѣ тутъ, баринъ, овса! и тебѣ-то ѣсть нечего будетъ!—и Гусь убѣдительно упрашиваетъ отпустить его. Я отдаю деньги. Тотъ садится въ тарантасъ, круто поворачиваетъ лошадей и шагомъ съѣзжаетъ со двора.

ГЛАВА VII.

Хозяинъ.

Когда Гусь уѣхалъ, мнѣ еще скучнѣе стало. Богъ знаетъ, куда это я забрался, въ какой-то заколдованный замокъ, думаю про себя. Напрасно отпустилъ такъ скоро Гуся, пусть бы онъ хоть разыскалъ мнѣ кого нибудь. Въ это время смотрю, изъ стараго флигеля выбѣгаетъ оборванный, босоногій, мальчишка, лѣтъ семи и подхлестываетъ себя длиннымъ прутомъ.

— Эй, мальчикъ! кричу ему. Мальчикъ оказывается изъ бойкихъ, нисколько не пугается и смѣло подходитъ. Я глажу его по головѣ. Мальчикъ рыженькій, весь въ веснушкахъ, безъ шапки, красная рубашенка отъ ворота и чуть не до живота была разорвана. Чрезъ прорѣху виднѣлось его голое, коричневатое тѣло.

— Ты чей? спрашиваю его.

— Лѣсниковъ сынъ, отвѣчаетъ онъ.

— А баринъ дома?

— Нѣту-тп, судиться уѣхалъ.

— Когда пріѣдетъ?

— Матка сказывала, сегодня пріѣдетъ.

— А батька твой дома?

— А нонѣ весной померъ.

— Ну-ка, проведи меня въ домъ, и я берусь за чемоданъ чтобы итти съ нимъ. Мальчикъ ведетъ узенькой тропинкой, при чемъ осторожно ступаетъ босыми ноженками, чтобы не ожечься о крапиву. Подъѣздъ въ домѣ оказывается былъ разрушенъ. Только смотрю мой мальчуганъ подходитъ къ подвальному окну съ выбитой рамой, перегибается и ловко опрокидывается туда. Я тоже наклоняюсь, опускаю сначала чемоданъ, а эатѣмъ и самъ прыгаю за мальчикомъ. Но у меня этотъ прыжокъ не такъ ловко выходитъ, и я чуть не распоролъ себѣ ляжку о какой-то гвоздь.

Очутился я въ сыромъ, затхломъ подвалѣ. Отсюда малецъ ведетъ темной деревянной лѣстницей въ первый этажъ. Попадаю въ довольно приличную комнату. Это, должно быть, была когда-то буфетная, такъ какъ чуть не во всю стѣну стоялъ широкій, краснаго дерева, буфетъ, нѣсколько стульевъ и деревянная кровать совсѣмъ готовая, застланная краснымъ, ватнымъ одѣяломъ. Отворяю дверь и вхожу въ сосѣднюю комнату. Она гораздо выше первой и безъ всякой мебели. Стекла выбиты, штукатурка обвалилась, дубовый паркетный полъ покоробило, а мѣстами и совсѣмъ вывалился. Надъ узорчатымъ лѣпнымъ карнизомъ виднѣлись гнѣзда и птичій пометъ. Далѣе, вхожу въ огромный двусвѣтный залъ и останавливаюсь въ изумленіи. Среди зала, на богатомъ, штучномъ паркетѣ, возвышалась громадная куча, вышиною въ ростъ человѣка, разнаго хламу. И чего-чего только не было въ этой кучѣ. Тутъ валялись старыя кадушки, дырявыя желѣзныя ведра, старыя, никуда негодные висячіе замки, каблуки съ подошвами, ржавые гвозди, багры, битые горшки, чугуны, лапти, бутылки, черепа коровъ, лошадей и даже попалъ одинъ человѣческій. Однимъ словомъ, я

вполнѣ былъ увѣренъ, что эта куча была родная сестра Плюшкинской. Долго хожу вокругъ кучи, затѣмъ по залѣ, и подробно разсматриваю его. Когда-то великолѣпные росписные потолки, только кой-гдѣ сохранились и какъ бы напоминали о прежнемъ величіи. Въ одномъ углу, подъ потолкомъ крыша протекала и стѣна прогнила, вслѣдствіе чего образовалось большое отверстіе наружу. Оно просвѣчивало на солнышко, и галки поминутно влетали и вылетали, оглашая своимъ рѣзкимъ, пронзительнымъ крикомъ угрюмый залъ. Роскошныя двери краснаго дерева съ богатыми ампирными бронзовыми ручками, въ видѣ орлиныхъ ножекъ, какимъ-то чудомъ еще уцѣлѣвшими здѣсь, уже совершенно испортились. Фанерки во всю ширину отклеились и свисли до самаго пола.

Въ смущеніи сажусь на подоконникъ и нѣкоторое время не могу притти въ себя отъ видѣннаго. Наконецъ подзываю мальчугана, который все время неотступно ходилъ за мной и спрашиваю его:

— Тебя какъ зовутъ?

— Ѳедькой! отвѣчаетъ тотъ и, сквозь прорѣху рубахи, громко скребетъ свой оттопырившійся животъ.

— Скажи мнѣ, Ѳедя, пожалуйста, баринъ вашъ и зимой здѣсь живетъ.

— А-то гдѣ же ему жить? бойко отвѣчаетъ онъ.

— Что же баринъ зимой здѣсь дѣлаетъ?

— А у нашего барина зимой одна работа.

— Какая же? съ любопытствомъ спрашиваю я.

— А вотъ, коли гдѣ навозъ найдетъ, сейчасъ топорикомъ вырубитъ, да на скотій и снесетъ.

Мальчикъ говорилъ такъ искренно, что и минуты нельзя было сомнѣваться въ его словахъ.

Уже мы входили обратно въ буфетную, когда я услыхалъ по скрипучей деревянной лѣстницѣ быстрые шаги.

— Вотъ и самъ пріѣхалъ! робко шепчетъ Ѳедя и шмыгаетъ

отъ меня внизъ въ подвалъ. Я остаюсь одинъ и отъ нечего дѣлать читаю по стѣнамъ старыя наклеенныя газеты. Но мнѣ недолго приходится этимъ заниматься. Я, не безъ волненія, ожидаю хозяина. Входитъ старикашка лѣтъ за 70, маленькаго роста, немного сутуловатый, въ черномъ старомодномъ сюртукѣ, парусинныхъ панталонахъ и безобразныхъ порыжѣлыхъ сапогахъ. Въ особенности мнѣ показались интересными его воротнички и манжеты. Они хотя были еще довольно бѣлы и накрахмалены, но края ихъ до того истрепались, что скорѣе походили на бахрому. Панталоны держались на одной бѣлой костяной пуговицѣ, какъ у дѣтей и едва достигали голенищъ. Старикъ былъ еще очень бодръ. Сѣдые волосы вились, и надо лбомъ торчалъ порядочный клокъ. На затылкѣ же они ниспадали длинными некрасивыми космами. Даже въ самыхъ этихъ космахъ, мнѣ почему-то казалось, проглядывала скупость. Старикъ, я полагаю, и ихъ не стригъ на томъ основаніи, что авось эти космы могутъ ему для чего либо понадобиться. Сѣрые недобрые глаза, далеко ушли въ орбиты и оттуда быстро выглядывали, сквозь узенькія щелочки. Изъ щетинистыхъ рѣдкихъ бровей, торчали отдѣльные, упрямые, длинные волоски, и тѣмъ придавали лицу отталкивающее выраженіе. Бородка жиденькая, всклокоченная.

— Здравствуйте! кричитъ онъ еще издали, тоненькимъ, старческимъ, нѣвучимъ голосомъ.—Вы можетъ быть ѣсть хотите, а я такъ уже пообѣдалъ—и протягиваетъ мнѣ руку.

— Да, пожалуй не прочь, я со вчерашняго вечера ничего не ѣлъ! говорю ему. Мы крѣпко жмемъ руки другъ другу. Старикъ какъ-то испуганно, пытливо, долго смотритъ на меня, ерошитъ рукой волосы, поворачивается и стремительно убѣгаетъ къ себѣ наверхъ.

Ну, вотъ, думаю, вѣрно онъ сейчасъ пришлетъ кого нибудь накрыть столъ, а потомъ и ѣсть принесутъ. Въ этомъ я былъ

совершенно увѣренъ. Такъ обыкновенно происходило во всѣхъ имѣніяхъ, гдѣ мнѣ раньше пришлось побывать по службѣ.

Самъ-же онъ, разсуждаю я, хлопоталъ, чтобы я пріѣхалъ и конечно отлично зналъ, насколько дорога къ нему длинна и утомительна. Поэтому, очень понятно, что мысль о томъ, чтобы хозяинъ не распорядился немедленно-же подать чего нибудь закусить, мнѣ и въ голову не приходила. Между тѣмъ голодъ сильно началъ одолѣвать меня. Утромъ, въ Бесѣдномъ, ѣсть еще не хотѣлось и я не закусилъ.

Проходитъ такъ съ часъ времени. Я уже всѣ газеты на стѣнахъ перечиталъ, всѣ карикатуры пересмотрѣлъ, а почтеннаго хозяина все еще не слышно и не видно. Кругомъ полнѣйшая тишина. Старикъ пропалъ, точно въ воду канулъ. Но вотъ появляется деревенская баба-старуха, босая, въ синемъ крашенинномъ сарафанѣ и ставитъ на столъ графинъ съ водой, стаканъ и безмолвно удаляется. Наконецъ, слышу опять раздаются сверху по лѣстницѣ хозяйскіе шаги. Ну, на этотъ разъ, конечно, разсчитываю я, онъ несетъ какіе-нибудь консервы: сардинки, сыръ, омары, или что нибудь подобное, чтобы угостить меня. И вдругъ, о Боже! какое разочарованіе. Входитъ мой старикъ съ кипой дѣловыхъ бумагъ подъ мышкой и кладетъ ихъ на столъ. Послѣ чего, съ озабоченнымъ видомъ, обращается ко мнѣ и говоритъ своимъ тоненькимъ голоскомъ:

Вотъ тутъ вы найдете все, что вамъ нужно по моему имѣнію. Я зналъ, что вы на этихъ дняхъ пріѣдете и потому позаботился все вамъ приготовить.

— Вотъ такъ угостилъ, думаю. Скрѣпя сердце, сажусь за столъ и принимаюсь разбирать бумаги.

— Вотъ вамъ старый планъ генеральнаго межеванія! вотъ залоговое свидѣтельство! восклицаетъ онъ и суетливо выдергиваетъ изъ кипы бумагу за бумагой.

— Да хорошо-хорошо! я все это разсмотрю! говорю ему. Но старикъ не унимается.

— А позвольте-ка мнѣ взглянуть мою оцѣночную опись? заискивающимъ голосомъ говоритъ онъ и пронзительно смотритъ, какъ-бы желая изучить меня. Мнѣ только чу-у-уточку взглянуть на нее.

Дѣлать нечего, достаю изъ чемодана опись и подаю ему.

Старикъ внимательно просматриваетъ, и, по близорукости, совсѣмъ близко подноситъ ее къ глазамъ.

— Вотъ-вотъ! это самый вѣрный доходъ! съ восторгомъ восклицаетъ онъ. Лицо его принимаетъ сіяющее выраженіе. Это еще у меня мало показано—двѣ тысячи! Я до трехъ тысячъ набираю! пищитъ онъ, — и, какъ-бы въ доказательство своихъ словъ, сильно хмуритъ брови.

— Это вы насчетъ чего говорите? недовольнымъ тономъ спрашиваю я и беру отъ него бумагу.

— А на счетъ штрафовъ за самовольную порубку лѣсовъ! хладнокровно разсказываетъ старикъ такимъ голосомъ, точно онъ и дѣйствительно какой настоящій доходъ показывалъ.

— Вы знаете! торжественно восклицаетъ онъ,—хлѣбъ можетъ не вырости на поляхъ, трава не уродиться, а ужъ мужикъ нашъ, въ чужой лѣсъ непремѣнно заберется. Хотите, я вамъ покажу вѣдомости за послѣднія 10 лѣтъ! У меня не было получки менѣе 3000 р. въ годъ! и старикъ съ самодовольнымъ видомъ смотритъ на меня, желая знать, что я отвѣчу ему на это.

— Сколь ни обезпеченъ у васъ этотъ доходъ, но я долженъ сказать вамъ, что этой статьи принять не могу. Такихъ доходовъ у насъ въ уставѣ не полагается, говорю ему и, не безъ злорадства беру карандашъ и вычеркиваю.

— Какъ! что вы дѣлаете? Помилуйте! вопитъ старикъ, и на лицѣ его выражается ужасъ и огорченіе. Я разоренъ буду! Я по міру пойду! Я министру буду на васъ жаловаться! кричитъ онъ, точно думаетъ запугать меня. Морщинистое лицо его багровѣетъ, и на лбу выступаетъ потъ. Но всѣ его крики и

грубости не возбуждаютъ во мнѣ ни малѣйшаго чувства обиды или сожалѣнія. Они были настолько неосновательны и даже, можно сказать, наивны, что мнѣ даже смѣшно становится, глядя на старика какъ онъ пѣтушился.

Убѣдившись, что со мной ничего не подѣлаешь, онъ на минуту впадаетъ въ какое-то оцѣпенѣніе, послѣ чего медленно достаетъ изъ за пазухи тряпицу, замѣняющую носовой платокъ, обтираетъ морщинистое лицо, пристально смотритъ на меня, поворачивается и опять убѣгаетъ къ себѣ наверхъ.

Съ его уходомъ, голодъ начинаетъ еще сильнѣе одолѣвать меня. Я болѣе не въ силахъ ждать, спускаюсь въ подвалъ и прежней дорогой, черезъ окно, выбираюсь на свѣтъ Божій. Иду къ тому полуразрушенному домику, откуда выбѣжалъ мой Ѳедюшка. Смотрю, на мое счастіе, бѣгаютъ по двору чьи-то маленькіе поросята. Тутъ-же встрѣчаю и старуху, которая приносила мнѣ графинъ съ водой.

— Голубушка, поймай-ка поросеночка, изжарь его, да принеси ко мнѣ въ домъ, да не забудь хлѣбца прихватить! говорю ей и уже, при одной мысли о жареномъ поросенкѣ, у меня появляется отъ удовольствія легкая тошнота.

— Охъ, корми-и-илецъ ты мой! а какъ самъ-отъ узнаетъ, куда мы тогда дѣнемся? восклицаетъ старуха и боязливо качаетъ головой.

— Ну, ужъ объ этомъ не безпокойся! Это мое дѣло! и въ подкрѣпленіе своихъ словъ даю ей рублевую бумажку.

Отправляюсь къ себѣ въ комнату, ложусь на кровать и предаюсь мечтанію о будущей закускѣ.

Такъ, часа черезъ два, смотрю, входятъ: сначала Ѳедюшка съ ломтемъ хлѣба и съ солонкой на тарелкѣ, а за нимъ и старуха, вся согнувшись подъ тяжестью плошки, на которой, зарумянившись, преаппетитно, выглядывало жаркое.

Но только успѣлъ я поднести первый кусокъ ко рту, какъ на порогѣ появляется хозяинъ, но уже не въ сюртукѣ и ман-

жетахъ, а въ какомъ-то невозможно грязномъ, истрепанномъ, полотняномъ архалукѣ, донельзя перепачканномъ всевозможными красками, какъ у маляра, и въ такихъ же брюкахъ, заправленныхъ за жесткія не мазанныя голенища.

Старикъ останавливается въ дверяхъ и нѣсколько мгновеній неподвижно смотритъ на блюдо, точно соображая, въ чемъ дѣло. На лицѣ его изображался ужасъ. Казалось, вотъ-вотъ онъ бросится на меня, отбивать жаркое. И дѣйствительно, я не ошибся.

— Ухъ! отчаяннымъ голосомъ кричитъ хозяинъ и кидается къ блюду.

Какъ я ни былъ голоденъ, но видъ старика до того меня заинтересовалъ, что я невольно прекращаю ѣду и съ удивленіемъ посматриваю на него, на этого владѣльца чуть ли не милліоннаго состоянія. Старикъ, очевидно, рѣшилъ въ душѣ, что какъ поросенка уже оживить нельзя, такъ хоть наѣсться-то слѣдовало до-сыта.

Мой почтенный хозяинъ разрываетъ жаркое на части, хватаетъ въ обѣ руки по куску и молча начинаетъ поглощать, при чемъ вытягиваетъ по временамъ шею, какъ собака, у которой застряла кость въ горлѣ. Старикъ ѣлъ стоя и искоса бросалъ на меня пытливые взгляды. Каждую косточку онъ обгладывалъ чисто-на-чисто и аккуратно складывалъ ихъ подлѣ себя, въ кучку на столѣ. Руки безпрестанно обтиралъ сзади подъ архалукомъ.

Я кончилъ ѣсть, отхожу къ окну и незамѣтно продолжаю наблюдать за хозяиномъ. Тотъ, въ свою очередь, тоже слѣдитъ за мной, затѣмъ вдругъ кидается къ плошкѣ, сваливаетъ всѣ остатки, и мои и свои, хватаетъ посудину, и опрометью убѣгаетъ съ ней, точно съ какой драгоцѣнностью къ себѣ наверхъ. Только я и видѣлъ его. Больше онъ въ этотъ день и не показывался.

ГЛАВА VIII.

На скотномъ дворѣ.

УТРОМЪ РАНО, ЧАСОВЪ ВЪ ШЕСТЬ, я еще потягивался въ постелѣ, смотрю, входитъ мой хозяинъ, все въ томъ же грязномъ архалукѣ. На лицѣ его и слѣда не было какого-либо смущенія по поводу вчерашняго жаркого.

— Вы еще спите! тоненько кричитъ онъ. Я вскакиваю и начинаю одѣваться.

Старикъ самъ, лично, подаетъ мнѣ умываться и затѣмъ, къ великому моему удивленію, приноситъ крынку молока и ломоть чернаго хлѣба.

Я молча закусилъ и мы отправляемся осматривать имѣніе.

Идемъ черезъ садъ. Густыя липовыя и березовыя аллеи мѣстами такъ заросли, что съ трудомъ можно было пройти. Дорожекъ и слѣда нѣтъ. Кой-гдѣ кучи перегнившихъ бревенъ и тесу доказывали, что тутъ, во время оно, стоялъ какой-нибудь домикъ или бесѣдка. На одичавшихъ яблоняхъ виднѣлось множество маленькихъ, зеленыхъ яблочковъ, скорѣй походившихъ на орѣхи, чѣмъ на яблоки. Высокія клумбы и земляныя

скамейки поросли жирной крапивой. На прекрасной, ровной, англійской площадкѣ, среди высокихъ сиреней паслись телята. Заборы завалились, и только одинокіе столбики торчали кой-гдѣ и, какъ бы напоминали, что садъ этотъ въ старину былъ огороженъ. Тучи галокъ вились надъ нашими головами и встрѣчали и провожали насъ своимъ пронзительнымъ надоѣдливымъ крикомъ. Мнѣ грустно было смотрѣть на все это. Спутникъ же мой и вниманія не обращалъ на окружавшую насъ картину. Онъ уже давно свыкся со всѣмъ этимъ, и въ настоящее время такъ быстро шагалъ и прыгалъ черезъ ровики и канавы, что я едва поспѣвалъ за нимъ.

Въ самомъ концѣ усадьбы, вблизи отъ большой проѣзжей дороги, стоитъ обширный, каменный скотный дворъ, крытый соломой. Крыша на немъ отъ времени поросла травой и издали зеленѣла какъ лужокъ. Грязь страшная. Множество поросятъ разнаго возраста и масти, бѣгаютъ по всему двору, хрюкаютъ, чавкаютъ, и роются остроконечными мордами въ жирномъ навозѣ, помахивая своими тоненькими винтообразными хвостиками. Подстилки на дворѣ совсѣмъ не было видно. Хозяинъ мой куда-то скрылся. Выхожу на улицу и вижу, около низенькой избушки, молодая женщина, одѣтая по городскому, съ засученными по локоть рукавами, въ розовомъ платьѣ и бѣломъ передникѣ, разливала изъ ушата молоко по горшкамъ. Она была очень не дурна: стройная, румяная, высокаго роста. Густые каштановые волосы повязаны бѣлой косынкой, узломъ на затылкѣ. Я здороваюсь съ нею и вступаю въ разговоръ.

— Много у васъ коровъ? спрашиваю ее.

— Да больше сотни! отвѣчаетъ она и обтираетъ руки о передникъ.

— Что же это у васъ на дворѣ-то такъ грязно? И не пройдешь?

— А что станете дѣлать! Хозяинъ соломы не даетъ. Дворъ стоитъ въ ямѣ, канавы не хочетъ вырыть, ну, оттого и грязь.

И моя красавица старательно принимается снимать деревянной ложкой сливки съ горшка.

— Чего же онъ соломы не даетъ, жалко что-ли?

— А вотъ, зима настанетъ такъ и продастъ! уныло отвѣчаетъ она. — Вѣдь коровы-то у меня на укопѣ; я должна ему сдать по 30 фунтовъ масла чухонскаго въ годъ съ каждой.

— А гдѣ же онъ продаетъ масло? Здѣсь, на мѣстѣ?

— А въ Питеръ зимой самъ возитъ,—при этомъ она прерываетъ свою работу и осторожно, чтобы не запачкать, мокрыми пальцами поправляетъ косынку.

— Онъ тамъ масло въ шарики катаетъ, такъ, фунта по два-по три,—и разсказчица показываетъ руками велики-ли шарики. Самъ въ полушубкѣ, подвяжетъ фартукъ, да изъ фартука и продаетъ ихъ на Сѣнной, копѣекъ по 20 — 25 за фунтъ беретъ, убѣдительнымъ голосомъ разсказываетъ моя собесѣдница, пристально смотритъ на меня, краснѣетъ и опять принимается за работу.

— Вѣдь ему почемъ ни продать, да продать. Ему все даромъ. Покосы ему уберутъ безъ копѣечки, за выгонъ. Сѣно на скотный дворъ тоже привезутъ, пастуха я нанимаю, уже сердито добавляетъ она.

— А дорога-то въ Питеръ, поди не дешево ему обходится, возражаю я. — До Питера не близко!

— Э! ему дорога дешево стоитъ! восклицаетъ арендаторша. Онъ возъ навалитъ, да самъ, съ парнишкой какимъ-нибудь, пѣшій за лошадью до самой чугунки и идетъ.

— Я разъ ѣздила съ нимъ, такъ набралась сраму. Сидимъ это мы съ нимъ въ вагонѣ, а онъ вдругъ достаетъ изъ за голенища соленый огурецъ, да и подчуетъ меня. Да еще такое слово шепнулъ, что страсть сказать. Тьфу! Срамникъ этакой! И она съ отвращеніемъ отплевывается.

— Гдѣ вы пропали? Я васъ вездѣ ищу? — внезапно кри-

читъ хозяинъ изъ за угла двора, пережовывая что-то своими старческими выдающимися челюстями.

— Вотъ, уже успѣлъ налопаться на людской! вполголоса ворчитъ моя красавица.—А вамъ, поди, кушать еще ничего не далъ? — и она приподымается, сердито обтираетъ руки о фартукъ, беретъ большой горшокъ молока и уходитъ съ нимъ на ледникъ, замѣтно не желая разговаривать съ хозяиномъ.

— А? Что? какова штучка? Не правда-ли, прехорошенькая? шепчетъ мнѣ старикъ на ухо, и киваетъ головой вслѣдъ удаляющейся, лукаво улыбается, и преуморительно щуритъ глаза.

Улыбка замѣчательно какъ не шла къ его лицу; можетъ быть, это казалось мнѣ, потому, что за цѣлыя сутки, я въ первый разъ увидалъ его смѣющимся. Но веселое настроеніе, какъ искра въ темнотѣ, моментально исчезаетъ съ лица старика.

Мы направляемся къ дому.

— Теперь я вамъ лѣсъ покажу! многозначительно говоритъ онъ, когда мы подошли къ подвальному окошку—быстро перекидывается туда всѣмъ туловищемъ, и прежде чѣмъ я успѣлъ добраться до моей комнаты, слышу—онъ уже бѣжалъ по лѣстницѣ къ себѣ во второй этажъ.

Я жду его часъ, жду другой. Старика нѣтъ какъ нѣтъ. Онъ даже и слуху о себѣ не подавалъ. Какъ быть? Время уже полдень! Надо идти въ лѣсъ. Дай, думаю, пойду самъ къ нему наверхъ. Кстати посмотрю, гдѣ онъ тамъ живетъ и что дѣлаетъ.

ГЛАВА IX.

Въ кабинетѣ.

ПОДЫМАЮСЬ ПО УЗЕНЬКОЙ темной лѣстницѣ до половины, останавливаюсь и кричу:

— Хозяинъ! Почтеннѣйшій хозяинъ!—Называлъ я его такъ потому, что онъ не поинтересовался узнать моего имени, такъ думаю, зачѣмъ же я буду его величать по имени и отчеству. Отвѣта нѣтъ. Подымаюсь выше, отворяю дверь и что же вижу! Хозяинъ стоитъ среди низенькой просторной комнатки, босой, въ одной, чрезвычайно коротенькой, рваной ночной рубахѣ и до того грязной, что издали казалось, будто онъ былъ обтянутъ паутиной.

При моемъ появленіи, старикъ, подобно филину, круто оборачиваетъ голову, насупливаетъ брови и сердито смотритъ на меня. На лѣвой рукѣ его былъ надѣтъ сапогъ, а въ правой онъ держалъ пробку, натертую ваксой, которой намѣревался мазать голенище. Онъ, очевидно, былъ крайне озадаченъ тѣмъ,

что я засталъ его въ такомъ положеніи. Но дѣлать нечего. Не воротишь. Старикъ замѣтно пересиливаетъ себя и предупредительно кричитъ:

— Пожалуйте ко мнѣ! Войдите! Вы не были еще у меня въ кабинетѣ! Посмотрите!

Я вхожу и смотрю. На право, вдоль стѣны, стояло что-то, долженствующее изображать кровать, то-есть нѣсколько досокъ, покоившихся на толстыхъ березовыхъ полѣньяхъ. Сверху положенъ матрацъ, изъ котораго лѣзла мочала, маленькая грязная подушка, и все это покрыто старымъ дырявымъ халатомъ. Подъ кроватью виднѣлись лапти съ веревочными оборами; въ сторонкѣ на стѣнѣ сушились онучи. На окнѣ стояла деревянная чашка съ квасомъ, и въ ней мокли корки хлѣба. На лѣво отъ окна, на полу, стояло корыто, наполненное костями, большая желѣзная ступа съ пестомъ и берестяная корзина, почти до верху наполненная толчеными костями. Въ другой комнаткѣ, за перегородкой, полъ весь былъ усыпанъ тоже костями.

Когда я началъ осматривать все это, старикъ сначала испытующимъ окомъ слѣдилъ за мной, и точно боялся, какъ-бы я не утащилъ у него чего-нибудь, но когда убѣдился, что я просто любопытствовалъ узнать, какъ онъ живетъ тутъ — бросается одѣваться.

Такъ, минутъ черезъ десять, раздается его крикливый голосъ: Вотъ я и готовъ! Смотрю: мой старикъ уже одѣлся, чтобы идти въ лѣсъ. На головѣ напяленъ по самыя уши дырявый черный картузъ; архалукъ подвязанъ какимъ-то зеленымъ жгутомъ, въ родѣ шарфа. На ногахъ тѣ самые лапти, которые я видѣлъ подъ кроватью. Онучи перевиты очень ловко, крестъ на крестъ, оборами. Въ рукахъ суковатая полка.

ГЛАВА X.

Въ лѣсу.

СОЛНЦЕ ЖЖЕТЪ ДОВОЛЬНО СИЛЬНО. Мы идемъ сначала той дорогой, откуда я пріѣхалъ, затѣмъ сворачиваемъ по межнику черезъ убранное ржаное поле, и направляемся къ темному сосновому бору. Я ужасно любилъ смотрѣть хорошіе лѣса. Это, должно быть, у меня врожденное, такъ какъ я родился въ усадьбѣ среди чудныхъ лѣсовъ. Вотъ и теперь, я уже издали разбираю, что лѣсъ долженъ быть хорошъ, поэтому меня такъ и подмываетъ забѣжать впередъ, точно лѣсопромышленника, который хочетъ предупредить своего пріятеля собрата.

Съ приближеніемъ къ лѣсу появляются слѣпни. Вѣтеръ становится легче, солнце жжетъ сильнѣе. Проходимъ поле, пересѣкаемъ дорогу и сряду-же вступаемъ въ темный боръ. Солнце пропадаетъ за высокими вершинами. Лѣсъ дивно хорошъ, чистъ и безъ сучковъ. Молодой поросли мало, вслѣдствіе чего отдѣльныя деревья далеко видны. Влажная почва, покрытая зеленымъ мохомъ, имѣетъ едва замѣтный уклонъ. Я задралъ голову и

любуюсь на вершины. Воздухъ пропитавшійся смолистымъ запахомъ сосны, чрезвычайно ароматенъ. Кругомъ тихо. Только тамъ, высоко, подъ синимъ небомъ, стройныя вершины слегка покачиваются и точно перешептываются.

— Что вы тамъ смотрите? Какой это лѣсъ! Это молоднякъ! рѣзко кричитъ старикъ. Онъ уже порядочно ушелъ впередъ. Его небольшая сутуловатая фигурка, здѣсь, среди высокихъ деревьевъ, утопая въ пушистомъ зеленомъ мхѣ, кажется мнѣ совсѣмъ маленькой.

— Не отставайте! А то заблудитесь! Васъ и не найдешь! сердито покрикиваетъ хозяинъ и, какъ борзая, прыгаетъ черезъ толстыя валежины, поросшія мохомъ.

— Какъ-бы намъ безъ лѣсника-то не заблудиться? говорю ему.

— Зачѣмъ лѣсникъ? Что, я не знаю дороги, что-ли? Слава Богу, 40 лѣтъ безвыѣздно живу! продолжаетъ ворчать онъ. Какъ-же намъ сбиться! Видите, вонъ просвѣтъ — это надѣлъ! Вѣдь у этихъ скотовъ все вырублено! Бревна не найдешь! Почему они ко мнѣ и лѣзутъ — и старикъ, при одномъ воспоминаніи о мужикахъ, приходитъ въ ярость.

— А дальше, лѣсъ еще крупнѣе пойдетъ? спрашиваю его.

— Идите—идите! восклицаетъ онъ и держится все прямого направленія. Лѣсъ становится замѣтно толще и выше, и, что удивительно, нисколько не рѣже. Снизу дерево покрыто толстой корой, красновато-смолистаго цвѣта; далѣе-же кожурка на немъ дѣлается желтоватой и тонкой, какъ луковичное перо. Въ такомъ видѣ, оно, какъ свѣчка, прямое, гладенькое, безъ единаго сучка, взвивается къ небу покачивая шапочкой.

Вотъ здѣсь мѣстечко рѣденькое, помокрѣе, что-ли пришлось; а вонъ тамъ, вдругъ, какой кустъ выдался. Десятка два сосенъ, одна возлѣ другой, да какихъ—каждая вершковъ шести на трехъ то саженяхъ будетъ, разсуждаю я. Мы уже версты три прошли.

— Идите—идите, не останавливайтесь! Вѣдь такъ мы сегодня не дойдемъ и до «Задорья», кричитъ владѣлецъ, машетъ мнѣ палкой, поворачивается и въ припрыжку пускается дальше. Какъ я ни любилъ лѣсъ, но желаніе осмотрѣть его у меня начинаетъ ослабѣвать. Мы уже верстъ пять отмахали, да все по рыхлой почвѣ, по мху, черезъ пни и валежникъ, такъ что ноги начинали напоминать о себѣ. Чтобы вновь не отстать, я стараюсь идти рядомъ со старикомъ.

— А что, далеко до «Задорья»? спрашиваю его и дѣлаю видъ, что я нисколько не усталъ.

— Теперь скоро придемъ—отвѣчаетъ тотъ совершенно спокойнымъ голосомъ. Объ одышкѣ у него и помину нѣтъ.

Вотъ-же здоровъ ходить, старый хрѣнъ, невольно думается мнѣ, и я снимаю фуражку и обтираю потный лобъ. Мы съ полъ-часа идемъ безъ всякихъ разговоровъ.

— Вотъ вамъ «Задорье»! Вотъ смотрите лѣсъ! восторженно кричитъ старикъ, подбѣгаетъ къ толстой соснѣ и обхватываетъ ее руками.

— Смотрите, много-ли тамъ не хватаетъ, между рукъ? Онъ силится обхватить дерево, точно соперника во время борьбы, и плотно прижимается щекой къ толстой корѣ. Я подбѣгаю и мѣрю четвертями разстояніе между кистей рукъ.

— Три четверти! кричу ему.

— Три четверти, да мохъ 10 четвертей, это значитъ 13 четвертей. Это, вы знаете, какая толщина на трехъ саженяхъ? грозно кричитъ владѣлецъ, опускаетъ руку и, не дождавшись моего отвѣта, также грозно отвѣчаетъ: 14 вершковъ сударь! И затѣмъ бросается къ другому дереву, обхватываетъ его и опять кричитъ:

— А это, думаете тоньше будетъ? Мѣрьте-ка?

Я опять бѣгу, мѣрю и снова кричу:

— Тоже, три четверти!

— Да вы на вершину смотрите? продолжаетъ восклицать

онъ. Отрѣжьте-ка три сажени, а дальше—то еще сколько будетъ? Второе на 10 вершковъ будетъ, да третье на 7, да еще вершина останется. Вѣдь въ немъ 15 саженей будетъ! яростно оретъ онъ своимъ визгливымъ голосомъ, восторгаясь все болѣе и болѣе.

Я стою и не могу оторвать глазъ отъ лѣса. Онъ тутъ, конечно, значительно рѣже, зато, что ни дерево, то мачта. Почва подымалась немного въ гору, и деревья, казалось, точно въ перегонкѣ, одно передъ другимъ, старались перещеголять другъ друга въ ростѣ.

Нѣкоторые изъ такихъ гигантовъ уже пережили свой возрастъ и походили какъ-бы на живыхъ покойниковъ. Голыя, засохшія вершины ихъ тоскливо качались въ вышинѣ, и сами деревья, точно подрубленныя, сильно склонились на бокъ.

Пора-бы и домой заворачивать, да все попадаются такія «гривки», что невольно тянетъ и ихъ посмотрѣть. Вонъ какое чудное мѣстечко. Подхожу, любуюсь,—а вонъ то̀, кажется, еще лучше. Все дальше и дальше углубляемся въ «островъ». Лѣсъ идетъ все такой-же чистый, изрѣдка перемѣшиваясь съ елью.

— Что̀, далеко тянется «Задорье»? спрашиваю старика.

Тотъ, казалось, какъ будто поуходился. Изрѣдка посматриваетъ на вершины и тяжелѣе перелѣзаетъ черезъ валежины.

— Ухъ далеко! всего-то намъ и къ ночи не обойти! восклицаетъ онъ. Рѣшаемъ вернуться назадъ.

— Что-же, вы думаете много мы прошли? говоритъ старикъ. Верстъ 7 не больше! Это вѣдь въ лѣсу такъ кажется, потому туда, сюда забѣжишь, а если на десятины считать, такъ не болѣе пятисотъ. А вѣдь у меня ихъ всѣхъ-то 20 тысячъ.

Назадъ мы идемъ безъ разговоровъ.

Домой приходимъ, солнышко уже закатилось.

Ѣсть страшно хочется. Я застаю въ моей комнатѣ старуху, которая жарила мнѣ поросенка. Она опять принесла графинъ

съ водой. Вода у меня каждый день, вечеромъ и утромъ, аккуратно мѣнялась.

— Скажи-ка ты, моя милая, неужели у васъ ничего нельзя достать закусить? Вѣдь ѣсть-же что-нибудь хозяинъ-то? говорю ей, и самъ чуть не дрожу отъ злости.

— Охъ ты, батюшка ты мой! жалостливо, растягивая слова, отвѣчаетъ старуха. Да у нашего хозяина и плита-то въ домѣ лѣтъ 10 какъ завалилась, да такъ и стоитъ не поправлена. А самъ-отъ, когда на скотій забѣжитъ, молочка похлебаетъ, когда хлѣбца съ кваскомъ, да тѣмъ и живетъ—и старуха въ подтвержденіе своихъ словъ грустно качаетъ головой.

— Ну хоть-бы курицу зажарила—я заплачу! говорю ей и достаю кошелекъ.

— Быде — въ деревню сбѣгать, а то у насъ вѣдь и курочки-то нѣтъ ни одной; всѣ-ѣ-хъ самъ перевелъ,—а какія хорошія были! Эта, говоритъ, птица, только зря кормъ изводитъ, никакой отъ нея пользы нѣтъ.

— Я даю старухѣ рубль, велю купить курицу, поскорѣй зажарить и принести ко мнѣ. Жду чуть не до полуночи, зато наѣдаюсь до сыта, и тогда только ложусь спать, проклиная въ душѣ скареда-хозяина.

ГЛАВА XI.

Обратно на станцію.

Вскорѣ я уѣхалъ осматривать хутора Приказчики жили тамъ гораздо лучше своего хозяина, и я не голодалъ. Въ недѣлю все осмотрѣлъ, и возвращаюсь въ Заболотье. Хозяинъ подписалъ повѣрочную опись, и я прошу его, чтобы онъ утромъ отправилъ меня до ближайшей почтовой станціи.

— Будьте покойны! восклицаетъ онъ, и усердно жметъ мою руку. Я васъ отлично отправлю, только другой дорогой, на мои хутора: и ближе будетъ, и дорога лучше. Онъ прощается и по обыкновенію убѣгаетъ къ себѣ наверхъ.

Въ чемъ, думаю, онъ отправитъ меня? Ни здѣсь, ни на хуторахъ, я не видалъ мало-мальски подходящей телѣжки. Лошадей выѣздныхъ у него тоже нѣтъ.

Утромъ просыпаюсь, смотрю на часы, уже 7 часовъ. На этотъ разъ старикъ далъ мнѣ выспаться. Подхожу къ окну, дождь такъ и льетъ. Вотъ горе, думаю, дорогу-то разгрязнитъ.

Только что успѣлъ я одѣться, смотрю кто-то лѣзетъ ко мнѣ въ комнату, въ широчайшемъ рыжемъ кожанѣ, съ кожаной-же пелериной и въ войлочной шляпѣ. На рукахъ безобразныя рукавицы.

— Ну, давайте, гдѣ ваши вещи? кричитъ господинъ.

Батюшки мои, да вѣдь это хозяинъ! Вода такъ и катилась съ него на полъ.

— Вы еще не готовы? удивленнымъ голосомъ пищитъ онъ. А лошади уже у подъѣзда стоятъ!

Скорѣй одѣваюсь, беру чемоданъ, и мы все тѣмъ-же способомъ, черезъ окно, вылѣзаемъ во дворъ.

— Отцы родные! Неужели я такъ поѣду? невольно восклицаю и въ недоумѣніи останавливаюсь.

Къ развалившемуся парадному подъѣзду была подана сноповая телѣга, запряженная парою клячъ въ дышло. Лошади, пожалуй, еще поплоше, чѣмъ у Гуся. Во всей сбруѣ не было видно ни одного ремешка. Все веревочное, мѣстами даже перевито мочалой. Поперекъ телѣги, въ переднемъ концѣ, была прилажена доска, долженствующая изображать сидѣнье для кучера. Позади, горой, вздымались два куля сѣна. Но гдѣ-же возница—его не видно.

— Вы не смотрите, что теперь вамъ будетъ высоко! Вотъ какъ на первомъ привалѣ лошади поѣдятъ, такъ сразу убудетъ! восклицаетъ старикъ, умнаетъ руками сѣно, береть отъ меня чемоданчикъ, кладетъ въ ноги и кричитъ.

— Ну, садитесь!

— А гдѣ-же кучеръ? въ недоумѣніи спрашиваю я.

— Какой кучеръ? Я самъ повезу! убѣдительнымъ тономъ восклицаетъ онъ, идетъ къ лошадямъ, береть ихъ подъ уздцы, и вопросительно смотритъ на меня. Я былъ пораженъ. Всего, что хотите, я ожидалъ отъ старика, но чтобы онъ рѣшился везти меня, да еще самъ за кучера, 60 верстъ, въ сноповой телѣгѣ, въ дождь, по убійственной дорогѣ, да еще на такихъ клячахъ—мнѣ и въ умъ не приходило.

— Садитесь—садитесь! угрюмо кричитъ хозяинъ, видя, что я что-то мѣшкаю. Нечего дѣлать, подбираю пальто, съ трудомъ вскарабкиваюсь на телѣгу и кое-какъ усаживаюсь. Кули разъѣзжаются и я сползаю. Между тѣмъ дождь все льетъ. Мы еще и съ мѣста не отъѣхали, а ужъ я чувствую, что вода попала мнѣ за шиворотъ, и холодной струей течетъ по спинѣ. Старикъ стоитъ въ своемъ кожанѣ и терпѣливо смотритъ, какъ я усаживаюсь. Наконецъ я кое-какъ устроился и кричу:

— Ну, можете ѣхать!

Тотъ тянетъ лошадей подъ уздцы, и мы шагомъ, еле-еле, движемся черезъ дворъ, мимо скотнаго двора, на большую дорогу. Красавица моя, скотница, увидала насъ, кланяется, и мнѣ кажется, что она даже смѣется надо мной. Тарантасъ Гуся, навѣрно, показался-бы мнѣ теперь лучшимъ экипажемъ въ мірѣ. Когда мы дотащились до большой дороги, хозяинъ взбирается на телѣгу, наклоняется, что-то долго шаритъ на днѣ и вытаскиваетъ длинную палку, въ родѣ удилища, съ длинной тонкой веревкой. Уду эту онъ ставитъ подлѣ себя. Оказывается, она должна изображать шорный бичъ. Только тогда старикъ торжественно, шагомъ трогаетъ впередъ. А дождикъ все льетъ и льетъ. Я даже опасаюсь за мой чемоданъ, какъ-бы онъ не промокъ. Вотъ мы подъѣзжаемъ къ воротамъ. Лошади останавливаются. Старикъ сидитъ и, не оборачивая головы, ждетъ, что я слѣзу и отворю. Меня разбираетъ злость. Думаю, ужъ если разъ, ты, милый другъ, взялся везти, такъ самъ и отворяй. Въ то же время, думаю, если-бы я всѣ эти муки долженъ былъ претерпѣвать изъ крайности, у какого-нибудь бѣдняка, ну такъ тогда дѣло другое, я бы и не заставилъ себя ждать, первый вскочилъ и отворилъ-бы ворота. А то этакій богачъ и самъ себя добровольно мучаетъ изъ за одной скупости! Ну такъ и отворяй-же самъ.

Старикъ все сидитъ и ждетъ,—я тоже молчу. Сѣдыя космы на его затылкѣ повылѣзли изъ за кожана, и дождикъ не переста-

вая катится по нимъ, капля за каплей. Мнѣ такъ и хочется схватить старика за эти космы и потеребить за его скряжничество.

Но вотъ онъ какъ-бы очнулся отъ своего забытья, слѣзаетъ, ни слова не говоря, идетъ къ воротамъ и начинаетъ отворять. А ворота какъ на зло, претяжелыя. Старикъ упирается плечомъ, силится, пыхтитъ, ноги скользятъ, и самъ онъ чуть не валится въ грязь, и наконецъ медленно растворяетъ. Мы проѣзжаемъ ворота. Хозяинъ снова взбирается на телѣгу и снова погружается въ какое-то оцѣпенѣніе.

Ѣдемъ дальше. Дождикъ пересталъ. Гляжу на старика: тотъ машинально двигаетъ беззубой нижней челюстью, жуетъ что то, сильно сопитъ, и въ концѣ концовъ флегматично сморкается самымъ примитивнымъ способомъ, или, какъ Гоголь говоритъ, обходится безъ посредства платка. Руки обтираетъ о кожанъ.

Отпираніе воротъ, должно быть, приводитъ старика къ дѣйствительности. Онъ оживаетъ и, къ великому моему удивленію, вмѣсто того, чтобы разсердиться на меня за то, что я не помогъ ему отворить ворота, оборачивается, упираетъ въ меня свои узенькіе глаза и говоритъ:

— Лѣтъ 5 назадъ, я нашелъ на дорогѣ вотъ эту рукавицу—и онъ протягиваетъ мнѣ ее. Послѣ того, я все собиралъ гдѣ попадется, что изъ кожи: сапоги, голенища, куски какіе, и вотъ видите, въ прошломъ году сшилъ себѣ дорожный костюмецъ—и онъ не безъ гордости поворачивается и показываетъ мнѣ свою работу. Тутъ только я замѣчаю, что кожанъ его былъ самымъ невозможнымъ образомъ сшитъ изъ разныхъ кусковъ. Я увѣренъ, что «первый портной» о которомъ говоритъ Фонъ-Визинъ въ «Недорослѣ», сшилъ-бы гораздо лучше. Рукавицы-же — одна была еще сносная, другая походила скорѣй на вывороченный карманъ, чѣмъ на рукавицу. Старикъ, видимо, былъ совершенно счастливъ въ своемъ «костюмчикѣ», бодро подпрыгивалъ съ боку на бокъ на своемъ импровизированномъ сидѣньѣ и изрѣдка покрикивалъ на лошадей.

Чрезъ нѣкоторое время старикъ опять оборачивается ко мнѣ и восклицаетъ:

— Вотъ, вы, навѣрное, думаете про меня, «экая какая скряга»! Но дѣло, я вамъ скажу, вотъ въ чемъ: отецъ, умирая, оставилъ намъ, двумъ братьямъ, по 50 тысячъ рублей; мой братъ, старше меня, служилъ въ гвардіи, промотался, вышелъ въ отставку, а теперь я и не знаю, гдѣ онъ, и что съ нимъ. Я же боялся послѣдовать его примѣру, купилъ это имѣньице, и теперь вотъ, слава Богу, живу помаленьку. Лѣсъ не рублю—берегу. Мнѣ уже предлагали за него полъ-милліона, да я не отдаю, хочу милліонъ взять—и старикъ, по своему обыкновенію, вопросительно смотритъ на меня.

Мы ѣдемъ шагомъ. До хутора было верстъ 20. Пріѣзжаемъ уже послѣ полудня, прямо къ дому прикащика. Я промокъ до костей и вхожу въ избу сушиться. Старика моего что-то нѣтъ. Смотрю въ окно, а онъ преспокойно отпрягаетъ лошадей. Ни приказчикъ, ни кто-либо изъ работниковъ и не думаютъ помогать ему.

Вскорѣ мы сидимъ всѣ за самоваромъ: я, старикъ, приказчикъ и жена его. Старикъ вытаскиваетъ изъ-подъ стола свой холщевый мѣшокъ, точь въ точь такой, съ какими пріѣзжаютъ въ Петербургъ весной рабочіе изъ провинціи на заработки. Достаетъ оттуда коробку изъ подъ сардинокъ, раскрываетъ ее, и я вижу, тамъ на донышкѣ лежитъ немного русскаго масла, грязнаго, завернутаго въ капустный листъ. Затѣмъ достаетъ изъ того-же мѣшка краюху чернаго хлѣба, отрѣзаетъ ломоть и намазываетъ его масломъ. Я невольно смотрю на него и удивляюсь.

— Вы что смотрите? Не бойтесь—я объ васъ позаботился! предупредительнымъ голосомъ говоритъ онъ.

— Пошарьте тамъ въ мѣшкѣ. Я для васъ пирога взялъ! и онъ указываетъ рукой подъ столъ.

Я покорно достаю мѣшокъ, ищу тамъ, и ничего, кромѣ горбушки черстваго ситнаго хлѣба, не нахожу. Приказчикъ и

жена его смотрятъ, какъ я ищу и улыбаются. Они хорошо знаютъ, что̀ означало у ихъ хозяина слово «пирогъ».

— Никакого пирога нѣтъ, сердито говорю ему.

— Какъ нѣтъ? А это что? восклицаетъ онъ и указываетъ на горбушку ситнаго. Развѣ это не пирогъ? Я—благодарю и отказываюсь. Старикъ не только не обижается, а напротивъ, съ замѣтнымъ удовольствіемъ, прячетъ хлѣбъ обратно въ мѣшокъ.

Часа черезъ два мы ѣдемъ дальше.

Къ ночи добираемся до второго хутора, ночуемъ тутъ, и на другой день, къ полудню, подъѣзжаемъ наконецъ къ почтовой станціи.

— Ну, прощайте! кричитъ мнѣ старикъ у подъѣзда и протягиваетъ руку.

Какъ ни противенъ казался мнѣ этотъ человѣкъ, но время и дальняя дорога невольно помирили меня съ нимъ, и я крѣпко жму его руку, ужъ за то только, что онъ далъ мнѣ случай познакомиться съ нимъ. Старикъ не медля ни минуты оборачиваетъ лошадей и ѣдетъ домой. Дорогой онъ усаживается поудобнѣе на мое сидѣнье, достаетъ изъ мѣшка мой «пирогъ», и съ наслажденіемъ начинаетъ грызть его.

Мнѣ подаютъ тарантасъ, запряженный парою бойкихъ лошадей. Выхожу на крыльцо, чтобы садиться.

— Вы у этого господина были-съ? лукаво спрашиваетъ меня почтовый староста, лысый, бородатый, въ жилеткѣ и красной кумачевой рубахѣ,—улыбается и головой киваетъ на старика. Тотъ еще былъ видѣнъ.

— Да, а что?

— Да такъ! язвительно добавляетъ онъ, и подсаживаетъ меня. Не въ хорошемъ вы мѣстѣ, сударь, были-съ!

Лошади дружно берутъ съ мѣста, колокольчикъ весело звенитъ и тарантасъ быстро катится впередъ.

Уже я не одинъ верстовой столбъ проѣхалъ, не одинъ мостикъ прогремѣлъ подо мной,—а въ ушахъ моихъ все еще слышались слова лысаго старосты: «не въ хорошемъ вы мѣстѣ, сударь, были-съ».

ОБОРОНИ ГОСПОДИ

СЛУЧИЛОСЬ МНѢ РАЗЪ ОКОЛО Крещенья возвращаться изъ Питера въ деревню.

Было часовъ шесть вечера, когда моя кибитка остановилась у подъѣзда грязной уѣздной гостинницы.

— А уху изъ налима можно получить? говорю знакомому половому Терентію, вертлявому и юркому, какъ и всѣ половые. Тотъ съ полотенцемъ на плечѣ почтительно поддерживалъ меня подъ руку, помогая подняться по лѣстницѣ во второй этажъ.

Здѣшній городъ хотя былъ и маленькій, но я любилъ его за то, что чрезъ него протекала очень рыбная рѣка.

Такъ точно-съ! Можно-съ! Сейчасъ прикажете? отвѣчаетъ половой и съ радостнымъ лицомъ снимаетъ съ меня шубу.

На дворѣ стояли жестокіе морозы. Я былъ одѣтъ тепло. Сверхъ шубки на красныхъ лисицахъ, была надѣта еще большая, тяжелая шуба на такомъ же мѣху. На ногахъ валенки, кромѣ того въ саняхъ было еще теплое овчинное одѣяло, и несмотря на все это я продрогъ и съ удовольствіемъ входилъ въ общій сильно натопленный залъ.

Удобно усѣлся я на мягкомъ диванѣ и въ сладкой полудремотѣ сталъ дожидаться обѣщанной ухи.

Въ воздухѣ пахло подгорѣлымъ масломъ, смѣшаннымъ съ промозглой сыростью. Съ намерзнувшихъ оконъ капала вода на полъ по ослизлымъ подоконникамъ. При свѣтѣ тусклыхъ керосиновыхъ лампъ, висѣвшихъ на стѣнахъ, виднѣлись фигуры половыхъ, сновавшихъ изъ комнаты въ комнату съ черными подносами въ рукахъ, на которыхъ бѣлѣли чашки и чайники. Изъ сосѣдней комнаты доносились звуки гармоніи.

Терентій не заставилъ себя долго дожидаться. Вскорѣ бережно приноситъ онъ миску, ставитъ передо мной и, желая знать, понравится ли мнѣ кушанье, стоитъ въ выжидательномъ положеніи.

Густой, горячій паръ пріятно обдаетъ мое намерзнувшее лицо, распространяя въ воздухѣ вкусный запахъ рыбы и луку. Я подвигаюсь къ столу.

— А что, каковы морозы-то? восклицаю, повязываясь салфеткой.

— Ужасно холодно-съ! Вечоръ здѣсь, за городомъ, старуху замерзшую поднялись-съ! Птицы на лету мерзнутъ-съ! почтительно докладываетъ Терентій и, замѣтивъ, что уха пришлась мнѣ по вкусу, осклабляется отъ удовольствія. Рыжее одутловатое лицо его съ подстриженными усами конвульсивно подергивается въ сторону.

— А у васъ въ комнатахъ ничего, тепло! говорю ему.— Ты-бы послалъ голубчикъ къ Широбокову,—пусть бы пришелъ сговориться насчетъ лошадей. У него вѣдь хорошія лошади?

— Помилуйте-съ, ужъ коли у него не лошади, такъ гдѣ же ихъ, хорошихъ-то и найдешь! восторженно восклицаетъ половой, поворачивается и уходитъ.

Я еще не кончилъ ѣсть, какъ смотрю, въ прихожую врывается морозный паръ, густымъ, бѣлымъ облачкомъ, а за нимъ показывается фигура старика въ бѣломъ нагольномъ тулупѣ.

Старикъ сначала долго возится въ прихожей, околачивая ноги о порогъ дверей. Затѣмъ столь же долго набожно молится размашистымъ крестомъ на образа, которые висѣли въ залѣ, и только послѣ всего этого, медленно направляется въ мою сторону, неслышно ступая сѣрыми валенками, слегка запорошенными снѣгомъ, по некрашенному полу.

— Здравствуй хозяинъ! кричу я.

— Хлѣбъ да соль! Здорово живите! добродушнымъ сиплымъ голосомъ отвѣчаетъ тотъ.

Мы здороваемся за руку; при этомъ я замѣчаю, что старикъ здоровается какъ-то странно. Онъ не такъ жметъ мою руку, какъ обыкновенно, а только чуть дотрагивается и сейчасъ же отдергиваетъ, точно боится ожечься.

Старику было подъ 70. Но на головѣ его не видно ни одного сѣдого волоса. Бородка рѣденькая, точно кто ее выщипалъ. Сѣрые умные глаза такъ и бѣгали въ узенькихъ прорѣзяхъ.

Онъ содержалъ почтовую и обывательскую станцію, и былъ большой любитель лошадей.

— Ну, что, старина, лошади есть? спрашиваю и пододвигаю стулъ.

— Какъ не быть! Лошадей найдемъ вашей милости! глухо говоритъ тотъ и вертитъ въ своихъ черствыхъ, закорузлыхъ рукахъ теплую барашковую шапку.

— Вамъ до Чухломы?

— Ну да! Ты, какъ же, рѣкой повезешь? Теперь поди дорога хорошая?

— О дорогѣ что толковать! Только морозно больно!

— Тутъ сколько же считается, прямо-то?

— Да верстъ 40 будетъ!

— Самъ поѣдешь?

— Гдѣ самому! Васька, сынъ поѣдетъ!

Затѣмъ понизивъ голосъ, какъ бы опасаясь, чтобы сынъ не услыхалъ, грустнымъ, убѣдительнымъ тономъ говоритъ мнѣ:

— Только ужъ ты, баринъ, пожалѣй старика, не пой Василья водкой. Этта и то онъ пріѣхалъ на одной лошади, а выносныхъ ужъ гдѣ-э-э за Городищемъ нашли,—и хозяинъ рукой указываетъ направленіе.

Я отдаю впередъ деньги и думаю: коли сынъ повезетъ, такъ лошади будутъ хорошія. Василій любилъ шибко ѣздить.

Старикъ уходитъ.

Такъ, черезъ часъ времени, подъ окнами гостинницы раздается тонкій звонъ колокольчика.

— Тпр-р-р, стой! У-у-у, вы, анафемы! слышны сердитые возгласы ямщика.

Я расплачиваюсь, одѣваюсь и сую оставшійся съ рубля двугривенный въ карманъ шубы.

Слегка поддерживаемый все тѣмъ же услужливымъ половымъ, спускаюсь съ лѣстницы и выхожу на улицу.

На бѣлоснѣжномъ фонѣ двора, силуэты трехъ добрыхъ лошадей, запряженныхъ гусемъ, съ подвязанными узломъ хвостами, рѣзко выдѣлялись. Въ ночной тишинѣ кони кажутся мнѣ воронымы, гусевая же виднѣлась гдѣ-то особенно далеко.

Морозъ стучитъ и трещитъ по стѣнамъ домовъ, точно по нимъ кто топоромъ колотитъ. Лошади не стоятъ, и то одна, то другая дергаютъ сани и не даютъ садиться.

— Тпррр, стой! снова слышится голосъ ямщика. Лица его мнѣ не видно, такъ какъ широкій воротникъ кафтана высоко подвязанъ бѣлымъ платкомъ. Только носъ чуть-чуть торчалъ наружу.

— Прощайте баринъ, счастливой дороги! восклицаетъ Терентій, ежась и подпрыгивая съ ноги на ногу и, несмотря на это, все-таки старается урывками подоткнуть съ боковъ мѣховое одѣяло.

— Вася, деньги получены! глухо, многозначительно кричитъ сыну старикъ хозяинъ.

— Ладно! Эй вы, милыя! Съ Богомъ! раздается протяжный, самоувѣренный голосъ Василія.

Гусевая сначала немного заминается, путается, дергаетъ за собою среднюю, то въ ту, то въ другую сторону, но затѣмъ, направленная опытной рукой, прикрысивъ уши, галопцемъ пускается вдоль снѣжной дороги.

Повернувъ раза два-три изъ улицы въ улицу выѣзжаемъ за городъ и ѣдемъ точно по громадной бѣлой скатерти. Рѣзкій, морозный вѣтеръ разомъ леденитъ мнѣ рѣсницы, бороду и усы. Холодъ такой, что дышать тяжело. Кони что дальше, то сильнѣе рвутся.

Верстахъ въ трехъ за городомъ, мелькнулъ огонекъ. Ближе, ближе—смотрю избушка. Надъ ней одиноко торчитъ елка. А, думаю, значитъ, кабакъ. Мы вѣрно остановимся здѣсь. Такъ и есть, не ошибся.

— Тпрр, стой, лѣшіе! огрызается мой Василій на лошадей и круто осаживаетъ ихъ.

Мы останавливаемся такъ близко отъ избушки, совершенно утонувшей въ снѣгу, что я свободно могъ бы достать рукой до окна.

— Баринъ! Съ холодку-то бы рюмочку выпить! ласково проситъ мой возница, и съ облучка просовываетъ голову ко мнѣ въ кибитку.

Я достаю изъ кармана шубы двугривенный и подаю.

— Смотри же, не напейся! кричу ему.

— Оборони Господи! успокоительнымъ голосомъ отвѣчаетъ онъ, бросаетъ возжи ко мнѣ на колѣни и исчезаетъ. Смотрю, сквозь намерзнувшее окно свѣтъ слабо пробивается на улицу и чуть освѣщаетъ нашихъ лошадей, а также привязанную у крыльца лошаденку съ дровнями, съ накинутой на спину рогожей. Бѣдная стоитъ вся съежившись, понуривъ свою косматую заиндевѣвшую голову.

Проходитъ довольно долго. Но вотъ мой Василій выбѣгаетъ и садится на облучокъ. Намерзнувшіе кони ретиво бросаются съ мѣста.

Я любилъ прислушиваться къ возгласамъ ямщиковъ. У каждаго непремѣнно есть свое излюбленное выраженіе, которое онъ всю дорогу и выкрикиваетъ. Вотъ тотъ, который только что привезъ меня въ городъ, слегка замахиваясь длиннымъ гусевымъ кнутомъ, все время полусердито восклицалъ: «у-ту-ту-ту». Этотъ же, какъ-то нравоучительно выкрикиваетъ: «н-но, н-но! я тя ужо!» И это «я тя», я уже заранѣе приготовляюсь слышать всю дорогу.

Изъ-за спины ямщика выносныхъ не видно. Ясно же очерчиваются только высокая дуга съ колокольчикомъ, настороженныя уши, да широкій хомутъ, съ просвѣчивающимъ между шеей пространствомъ. Коренная, какъ я замѣтилъ у кабака, широкозадая лошадь съ высокой холкой и косматой гривой, быстро переваливается съ боку на бокъ и, очевидно, легко одна свезлабы нашу повозку. Выглядываю изъ кибитки, смотрю во-о-онъ гдѣ и выносныя, точно на пружинахъ, эластично, нога въ ногу скачутъ, мотая головами.

— А у тебя коренная-то кажись добрая лошадь! кричу Василію.

Не слышитъ. Я повторяю громче свой вопросъ. Тотъ, съ трудомъ, поворачиваетъ свою толсто обмотанную платкомъ шею и пріоткрывая рукой воротникъ отъ уха, чтобы слышнѣе было, невнятно восклицаетъ сквозь платокъ:

— Чего?

— Кажется коренная то у тебя добрà больно? — опять кричу ему.

Василій молча отворачивается, не удостоивая меня отвѣтомъ, какъ бы доказывая тѣмъ, что можно-ли было и сомнѣваться въ томъ?

— Нно-о, нно-о, я тя ужо-о-о! снова кричитъ онъ, и кричитъ такъ, что, я сразу узнаю, — крикъ этотъ направленъ исключительно на гусевую, которая всѣхъ дальше, а потому и возгласъ этотъ раздается гдѣ-то особенно далеко.

Дорога хотя и мерзлая, легкая, но сильно разбитая обозами, чрезъ что сани такъ и раскатываются изъ стороны въ сторону, и при этомъ отводами съ размаха упираются въ ледяные комья.

Влѣво отъ меня, изъ-за снѣжнаго облака, на темносинемъ небѣ вдругъ проглядываетъ луна и ярко освѣщаетъ окрестности таинственнымъ, зеленовато-серебристымъ блескомъ. Миріады морозныхъ искръ и въ воздухѣ, и по безпредѣльной бѣлоснѣжной пеленѣ, вдругъ заблестѣли кругомъ разноцвѣтными каменьями. Лошади шибко бѣгутъ. Чуть поправѣй, по глянцевитому пушистому снѣгу неотступно гонятся за ними ихъ же собственныя, длинныя уродливыя тѣни.

Мнѣ надоѣло лежать на спинѣ. Поворачиваюсь на бокъ, высовываю на минуточку голову изъ кибитки и смотрю назадъ: и тамъ виднѣется та же картина, сливающаяся на далекомъ горизонтѣ съ безпредѣльной синевой.

Сейчасъ за кибиткой, змѣйкой волочится длинный гусевой кнутъ, готовый ежесекундно устремиться впередъ и зацѣпить ту или другую лошадь.

Динь, динь, динь,—уныло, одиноко, звенитъ колокольчикъ въ ночной тиши и нагоняетъ дремоту.

На встрѣчу намъ тянется длинный-длинный обозъ. Мы сворачиваемъ въ сторону. Кибитка чуть совсѣмъ не опрокидывается на бокъ. Снѣгъ очень глубокій. Коренная по спину утонула въ сугробѣ, вцѣпилась зубами въ конецъ оглобли и ни за что не хочетъ итти дальше отъ дороги.

Мы терпѣливо пропускаемъ обозъ.

Въ одинъ общій непрерывный ревъ сливается свирѣпый скрипъ тяжелыхъ полозьевъ по промерзлому снѣгу.

Вытянувъ шеи и тяжело ступая слѣдъ въ слѣдъ, мохнатыми объиндевѣвшими ногами, проходятъ лошади, навалившись въ хомутъ всей своей тяжестью. Отъ намерзшаго инею при свѣтѣ луны, и лошади, и сбруя, и даже самые возы, кажутся мнѣ какими-то сѣдыми.

Сзади обоза, гурьбой, идутъ извощики. У всѣхъ у нихъ поверхъ шубъ надѣты широкіе сѣрые кафтаны. Воротники подняты и обвязаны, у кого башлыкомъ, у кого полотенцемъ. Бороды и усы до того обледенѣли, что вмѣсто лицъ виднѣлись толстыя ледяныя сосульки.

Молча, ровно манекены какіе, неслышно проходятъ извощики. Наконецъ мы выбираемся на твердую дорогу.

Ѣдемъ дальше.

И представляется мнѣ въ эти минуты, какъ я, еще будучи въ 3-мъ классѣ гимназіи, но уже 15 лѣтъ, ѣхалъ зимой на Рождество въ деревню въ одномъ легонькомъ ватномъ пальтишкѣ и даже безъ валенокъ.

Уже 20-е Декабря, а старики мои денегъ на дорогу все еще не присылаютъ. Ѣхать хочется страшно. Денегъ же у меня всего три рубля. Какъ быть? И вотъ, припоминаю, что одинъ изъ моихъ товарищей по классу, разсказывалъ мнѣ, что онъ ѣздилъ какъ-то домой очень дешево съ почталіономъ.

Лечу на почтовую станцію спрашивать, кто сегодня ѣдетъ съ почтой? Говорятъ: Воробьевъ. А какъ отецъ мой, на правахъ стараго помѣщика, изстари держалъ нѣсколько почтовыхъ станцій, то всѣ почталіоны были мнѣ болѣе или менѣе знакомы. Воробьева же я зналъ очень хорошо: маленькаго роста, сутуловатый, чрезвычайно некрасивый, и ко всему этому, горчайшій пьяница.

Онъ за три рубля съ удовольствіемъ согласился взять меня и довезти домой—130 верстъ.

Но какъ почталіонамъ строго воспрещалось возить посторонних людей, то я долженъ былъ, въ назначенный часъ, дожидаться его за околицей.

Дѣйствительно, около 8 часовъ вечера, слышу: звенитъ колокольчикъ. Сани останавливаются, я сажусь, и мы ѣдемъ.

Но вотъ тутъ-то и начинаются мои мученія.

Проѣзжаемъ деревню. Воробьевъ, закутавши голову въ башлыкъ, спитъ, уткнувшись въ кожанный чемоданъ. Огоньки кой-

гдѣ еще мелькаютъ. Высокая елка торчитъ надъ одной крышей. Изъ дверей доносятся пѣсни и брань.

— Стой! вдругъ слышу хриплый голосъ Воробьева. Смотрю, мой покровитель подымается, разворачиваетъ съ лица башлыкъ, протягиваетъ мнѣ руку и сипло говоритъ:

— Дай шесть копѣекъ!

Вынимаю кошелекъ, достаю гривенникъ и подаю. Тотъ уходитъ, живо возвращается, безмолвно заваливается на бокъ, и мы ѣдемъ дальше.

Вскорѣ опять показывается деревня. Воробьевъ попрежнему, какъ будто спитъ крѣпкимъ сномъ, даже слышно, какъ прихрапываетъ.

Мы опять подъѣзжаемъ къ кабаку. Воробьева точно кто толкаетъ въ бокъ: быстро приподымаетъ голову, сонливо щуритъ однимъ глазомъ, осматривая мѣстность, утираетъ кулакомъ распустившіяся—было по рыжимъ усамъ и бородѣ слюни — и знакомое мнѣ «стой» опять раздается. Рука его какъ и въ первый разъ протягивается ко мнѣ, и я снова слышу сиплый возгласъ:

— Дай шесть копѣекъ!

Такъ продолжалось всю дорогу, вплоть до моего родного села. Доплатить ему пришлось всего 40 коп. Остальныя были пропиты.

За этой поѣздкой, въ головѣ моей воскресаетъ другая.

18-е Декабря. Послѣ звонка, мы всѣ, гимназисты, выбѣгаемъ въ корридоръ прогуляться. Ко мнѣ подходитъ гимназическій сторожъ, Алексѣй, и таинственно шепчетъ на ухо:

— Васъ, внизу, мужичокъ спрашиваетъ.

Бѣгу внизъ, въ прихожую, и еще издали узнаю знакомаго ямщика, Ивана Никифорова, въ нагольной овчинной шубѣ. Онъ каждый годъ возилъ меня въ деревню.

При одномъ взглядѣ на него, сердце мое сжимается, и я готовъ броситься къ нему на шею. Даже распространяю-

щійся отъ его шубы промозглый запахъ, и тотъ мнѣ кажется пріятнымъ.

— Ну что, поѣдете со мной, али нѣтъ? ласково спрашиваетъ онъ вполголоса и кланяется.

— Да развѣ тебя прислали за мной? робко спрашиваю я, въ надеждѣ, что ужъ не папаша-ли прислалъ его за мной такъ рано.

— Нѣтъ, я самъ заѣхалъ. Башиловскихъ барышенъ привозилъ, изъ Питера ѣхали! отвѣчаетъ онъ, и дружески смотритъ на меня.

Иванъ Никифоровъ былъ рослый, здоровый мужикъ, старовѣръ. Лицо его было до такой степени изрыто оспой, что на немъ, какъ говорится, точно бабы горохъ молотили.

— Да какъ же я поѣду; вѣдь еще только 18-е Декабря, а насъ отпустятъ 23-го, отвѣчаю ему, и въ то же время соображаю; какъ бы удрать домой. Сегодня пятница—18, завтра 19—суббота, 20—Воскресенье, а тамъ остается: понедѣльникъ, вторникъ,—значитъ не стоитъ оставаться. А папаша такъ радъ будетъ видѣть меня, что навѣрно не разсердится. Рѣшаю ѣхать. Иванъ Никифоровъ сегодня вечеромъ заѣдетъ за мной.

Радостный, прибѣгаю изъ гимназіи домой, быстро укладываю свои маленькіе пожитки, объявляю квартирной хозяйкѣ объ отъѣздѣ, и съ трепетомъ ожидаю повозку у воротъ дома.

Уже стемнѣло, а я все стою и жду. Ямщика все нѣтъ. Прислушиваюсь: не звенитъ ли колокольчикъ? Нѣтъ какъ нѣтъ.

Но вотъ онъ слышенъ. Яснѣе, яснѣе. Изъ-за угла церкви показывается выносная лошадь, за ней другая, а вонъ и самая кибитка. Она останавливается у моихъ воротъ. Черезъ минуту я уже сижу въ ней и мы ѣдемъ.

За околицей вижу въ щелку, изъ-за рогожнаго фартука кибитки, у самой дороги, темный силуэтъ человѣка. Повозка останавливается, мой возница медленно слѣзаетъ съ облучка, подходитъ къ кибиткѣ, просовываетъ ко мнѣ голову, и заискивающимъ тономъ спрашиваетъ:

— А что, баринъ, позволь посадить къ тебѣ землячку? Сосѣдка мнѣ будетъ, баба молодая, мѣста займетъ немного?—и не дожидая отвѣта, отстегиваетъ рогожу. Ко мнѣ влѣзаетъ въ нагольномъ тулупѣ и въ тепломъ платкѣ на головѣ какая-то женщина. Лица ея въ темнотѣ не видно. Ямщикъ бережно завѣшиваетъ насъ рогожей, и мы ѣдемъ дальше.

Ночь темная, погода, что называется, мяконькая. Снѣгъ валитъ крупными пушистыми хлопьями.

Но не отъѣхали мы и двухъ верстъ, какъ Иванъ Никифоровъ опять останавливаетъ лошадей, слѣзаетъ съ облучка, подходитъ къ кибиткѣ, запускаетъ къ намъ подъ рогожу руку, и молча начинаетъ что-то шарить кругъ насъ, послѣ чего, также молча, завѣшиваетъ рогожу, садится на облучокъ и мы ѣдемъ дальше.

Пока все это припоминалось мнѣ, я внезапно перехожу къ дѣйствительности. Кибитка наѣзжаетъ на косогоръ и опрокидывается. Хорошо, что лошади сразу останавливаются.

Я лечу прямо въ снѣгъ. Чемоданъ, одѣяло, подушка, все это тоже вываливается. Ахъ, какъ непріятно изъ теплой повозки очутиться въ снѣгу, да еще на такомъ морозѣ!

— Василій! Василій! кричу ямщику.

Отвѣта нѣтъ.

Съ трудомъ подымаюсь, откидываю сани, смотрю, а мой Василій, какъ пластъ какой, лежитъ на спинѣ, широко раскинувъ руки. Бросаюсь къ нему, прислушиваюсь—храпитъ—и больше ничего. Винищемъ отъ него разило, какъ изъ бочки.

— Вотъ тебѣ и оборони Господи! невольно восклицаю я. И вспомнились мнѣ въ эти минуты умоляющія слова старика Широбокова: «не давайте, баринъ, Василью водки».

Кое-какъ укладываю его въ сани и закрываю одѣяломъ. Больше всего опасался я, какъ-бы онъ не замерзъ. Самъ сажусь на облучокъ, беру возжи и ѣду.

Но не проѣхалъ я и версты, какъ чувствую, что пальцы мои застываютъ отъ холода и возжи вываливаются изъ рукъ; лошади несутся маршъ-маршемъ. Кибитку начинаетъ кидать изъ стороны въ сторону.

Бѣда, думаю, да и только! Выкинетъ насъ непремѣнно! Я—то еще ничего, а Василій замерзнетъ.

Наконецъ останавливаю лошадей, вылѣзаю изъ повозки, захожу къ выносной лошади, беру ее подъ уздцы и пѣшій направляюсь впередъ.

Сколько верстъ прошелъ я такъ, уже не помню, а только свѣтать стало, когда я, совершенно измученный, добрался до станціи.

ДЯДЕНЬКА-ГУСАРЪ

ВЪ МАКАРИНО ѢХАЛИ и отводовъ не откутали [1]), все на проломъ! глухимъ растянутымъ голосомъ бурчитъ себѣ подъ носъ старый, сѣдобородый кучеръ Григорій, подгребая въ саду сѣно. Ватный картузъ напяленъ чуть не на уши, коломянковы пиджакъ съ барскаго плеча перепоясанъ грязнымъ фартукомъ.

— Какъ-же такъ возможно на проломъ? недовѣрчиво спрашиваетъ его пучеглазый, босой парень, съ чуть пробивающейся рыжей бородкой, въ олинялой красной рубахѣ и холстинныхъ штанахъ. Тотъ по близости очесывалъ граблями копну.

Я прохожу мимо и слышу этотъ разговоръ. Меня всегда интересовали разсказы стараго кучера. Онъ прослужилъ у моего дяди, отставного гусара, еще во времена крѣпостного права, чуть не полъ-вѣка, и поэтому видалъ виды. Я заранѣе былъ увѣ-

---

[1]) Воротъ не отворяли.

ренъ, что Григорій, какъ и всѣ старые люди, живя воспоминаніями о прошломъ, въ настоящую минуту велъ разговоръ о своемъ старомъ баринѣ. Хотя я почти все, что только могъ, уже выспросилъ у старика и зналъ всѣ подвиги его барина, но такихъ штукъ, чтобы высаживать лошадьми ворота, еще не слыхалъ. Поэтому съ любопытствомъ подхожу и говорю:

— Разскажи-ка, разскажи, старина, какъ дѣло было?

Тотъ по старой крѣпостной привычкѣ, снимаетъ картузъ и, какъ-бы конфузясь, слегка сгибаетъ спину, улыбается и такъ-же глухо продолжаетъ:

— Да вотъ я парню-то разсказываю, какъ мы съ дядькой-то вашимъ, покойной головушкой, царствіе небесное—и онъ набожно крестится — къ тетенькѣ вашей на Макарино ѣздили, да отводовъ не откутали!

— Ну, ну, пожалуйста, разскажи, только по порядку, а то ты любишь пропускать! говорю ему. Ну, въ какую-же это пору было?

— Да лѣтомъ! Хлѣбъ еще нигдѣ не убирали, ворота-то всѣ закутаны были!

— А вы изъ дому ѣхали?

— Изъ дому! отвѣчаетъ старикъ, судорожно подергивая плечомъ, опирается на грабли и, видимо, приготовляется къ разсказу.

— Ну, а лошади какія-же были? нарочно спрашиваю, зная, что этимъ доставлю удовольствіе старику, чуть не въ сотый разъ разсказать мнѣ про лошадей.

— А лошади были богатѣющія! восклицаетъ Григорій и опять дергаетъ плечомъ. Точно отъ воспоминанія о миломъ прошломъ, старческіе, подслѣповатые глаза его начинаютъ сильно слезиться.

— Московскій жеребецъ былъ тогда запряженъ? спрашиваю я, потому что неоднократно слыхалъ отъ Григорія объ этомъ «Москоскомъ», какъ называлъ его старикъ. Этотъ «Мось-

коській» былъ презлющая скотина. Разъ онъ вцѣпился зубами въ плечо старику, а другой разъ вскочилъ въ стойлѣ на дыбы, и такъ ударилъ передней ногой по головѣ бѣднаго Григорія, что тотъ три мѣсяца провалялся въ постелѣ.

— А «Мосъкоській»-то съ лѣваго боку былъ! А въ корню былъ «Монахъ», добрѣющій вороной меринъ, въ Бѣлозерьскомъ у монаховъ вымѣнянъ былъ.

— А съ праваго?

— А съ праваго... и старикъ на минуту задумывается, затѣмъ радостно восклицаетъ: отъ Заводчикова, сѣрый «Канбалъ». Поди, вы еще и не помните, махонькіе были! Такой красивый, могутной былъ. Еще дяденька на немъ къ вашему папенькѣ частенько на одиночкѣ въ телѣжкѣ пріѣзжалъ!

— А-а-а! Помню-помню! радостно восклицаю я въ свою очередь, и припоминаю высокаго статнаго одноглазаго мерина, за что и кличка ему была дана «Ганнибалъ». А Григорій уже перекрестилъ его въ «Канбала».

— Ну, такъ вотъ вы на этой тройкѣ и выѣхали? подсказываю Григорію, желая выспросить у него все поподробнѣе.

— Выѣхали, солнышко-то ужъ на вечеръ смотрѣло!

— А дядя-то трезвый былъ?

— Хмѣленъ! отвѣчаетъ Григорій съ нѣкоторымъ подобострастіемъ въ голосѣ, присущимъ прежнимъ крѣпостнымъ слугамъ. Изъ дому-то выѣхали, такъ еще на паромѣ задремалъ, а какъ пески-то стали проѣзжать, гляжу, а онъ грузно таково приподымается, да изъ-за пазухи вытаскиваетъ «гумажникъ», такой толстый, должно мѣшалъ ему спать, да какъ швыркъ въ кусты, да опять и завалился.

— Ну, я, мѣстечко-то, куда бросилъ, замѣтилъ, лошадей остановилъ, пристяжнымъ головы-то къ оглоблямъ прикрутилъ, чтобы ужъ имъ тронуться не мочи было, побѣжалъ, гумажникъ досталъ, да за пазуху себѣ и сунулъ.

— Ну-ну, дальше? понукаю я.

— Ну вотъ, къ городу-то стали подъѣзжать, съ горы-то шажкомъ спускаться, онъ и проснулся. Давай въ карманахъ шарить, чтобы сигарку закурить, гумажника-то и хватился!

— Александрычъ! кричитъ.

— Что, молъ, вамъ угодно, Алексѣй Васильичъ? отвѣчаю.

— Гумажникъ, братецъ, у меня былъ!—и таково это жалобно говоритъ. А я ему:

— Гумажникъ, молъ, вашъ, Алексѣй Васильевичъ, у меня за пазухой, не извольте безпокоиться. Вы его въ кусты бросили, я и поднялъ.

— Охъ, братецъ, спасибо тебѣ!—На церковь посмотрѣлъ, фуражку свою съ краснымъ околышемъ снялъ, перекрестился. Давай, говоритъ, его сюда! Сейчасъ развернулъ, гумажку въ 5 руб. подалъ и говоритъ: Вотъ, братецъ это тебѣ; вѣдь у меня тутъ двѣ тысячи «цалковыхъ» было! Вотъ какъ! И старикъ самодовольно улыбается.

— Ну, какъ-же вы ворота-то ломали? спрашиваю старика.

— А вишь, въ городѣ-то, мы въ «клубу» ночь, почитай, цѣлую простояли. Кутили мы тамъ настояще. Выѣхали изъ города, ну дяденька-то пьянехонекъ, и кричитъ:

— Валяй, валяй, пори хорошенько!

Дорога ровная, ну, вдвоемъ легко. Гонимъ, что мочи есть. А дяденька только кричитъ:

— Пори, пори ихъ хорошенько!

А пороть чего, коли и безъ того «доржать» не мочи. Вотъ я и говорю: Ворота, молъ, откутáть надо, тутъ отводъ есть.

— Не смѣть слѣзать! Валяй такъ!

— Ну я опять ему: нельзя, молъ, Алексѣй Василичъ, лошадей убьемъ!

— Не твои лошади! кричитъ—околѣютъ, лошадей найдемъ. Доржи только въ середку!

— Ну какъ-же ты? восклицаю.

— Ну, наскочили! Запорка вылетѣла, прокатили; а тамъ еще три отвода осталось.

— Какъ-же тарантасъ-то не сломался? удивленно спрашиваю я.

— А тарантасъ былъ въ Нижнемъ купленъ, отличный; весь желѣзомъ окованъ. Оси ду-бовыя! Оглобли вя-зовыя! съ восхищеніемъ выкрикиваетъ старый кучеръ.

— Ну какъ-же ты-то не боялся? Вѣдь тебя убить могло? возражаю я.

— Какъ не боятьси—боялся. Ужь я подъ страстью сидѣлъ. Да чего подѣлаешь! Съ пьянымъ развѣ будешь разговаривать? Пошелъ, говоритъ, а то самъ возжи возьму.

— Ну, дальше! кричу ему.

— Ну, и вторыя просадили, и третьи просадили—разсказываетъ старикъ, оживляясь все болѣе и болѣе. Эти отвода все махонькіе были, на защелочкахъ, объясняетъ Григорій такимъ голосомъ, что заранѣе можно было понять, что это еще все цвѣточки были, а ягодки впереди.

— Ну вотъ, къ Макарину-то подъѣзжать, а тутъ, знаю, ворота тяжелыя, на желѣзныхъ петляхъ. Я опять къ дяденькѣ: позвольте ворота откутáть?

— Дери-дери! Валяй ихъ хорошенько! кричитъ, да самъ за кнутъ такъ и хватается. Ну, я лошадей разогналъ. Коренная голову-то этакъ на сторону маненько отворотила—и Григорій показываетъ на себѣ, какъ лошадь голову отворотила—да какъ хлопъ въ самую середку—и старикъ машетъ передъ собой обѣими руками—такъ съ петлями и высадили, а на ворота, вся тройка на колѣни пала!

— Ну, что-же ты?

— Ну, тутъ ужъ я вижу, что бѣда неминучая, соскочилъ съ козелъ, давай подъ уздцы подымать, — ничего, встали. Только вѣрите-ли, всѣ ровно пьяныя, такъ на ногахъ и шатаются! озабоченно добавляетъ онъ.

— Ну, и ничего? Не убились?

— Ничего! Только «Моськоській» заднюю ляжку маленько осмонилъ!

— Ну, а дядя что?

— А дяденька чего! Какъ подъѣхали къ подъѣзду, попатываясь вылѣзаетъ изъ тарантаса, смѣется, да и говоритъ:

— Ну вотъ, видишь ты, боялся ѣхать, вотъ и доѣхали!

Молчаніе.

— Ой! И головушка былъ! Царствіе небесное! Какъ не помянуть добрымъ словечкомъ! слезливо восклицаетъ старый слуга и снова набожно крестится.

MAMAN и NICOLAS

БЫЛЪ ІЮНЬ МѢСЯЦЪ. Рано утромъ, подъѣзжаю къ городу N, къ почтовой станціи.

— Посторонись-ка, моя милая! говорю босой бабѣ. Та, пятясь задомъ ко мнѣ, съ подоткнутымъ синимъ сарафаномъ, босикомъ, старательно мыла полъ. — Дай-ка пройти! И вхожу въ комнату для пріѣзжающихъ. Рядомъ, сквозь отворенныя двери, вижу, въ коморкѣ, за тоненькой перегородкой, сидитъ за круглымъ столомъ, на черномъ клеенчатомъ диванѣ, дородная, или, какъ народъ говоритъ, сырая женщина, хозяйка, въ зеленомъ ситцевомъ платьѣ, и пьетъ чай. Она была такъ толста, что мнѣ кажется, если-бы смѣрить ея окружность около плечъ, на животѣ и ниже, то діаметръ оказался-бы одинъ и тотъ-же.

Громадный, свѣтлый самоваръ шумѣлъ передъ нею, какъ паровикъ.

Противъ хозяйки сидѣлъ парень лѣтъ 25-ти, сынъ ея, въ красной рубахѣ, жилеткѣ и при часахъ. Черные, суконные шаравары засунуты въ щегольскіе сапоги-бураками.

При моемъ появленіи, оба они встаютъ и кланяются; хозяйка торопливо повязываетъ голову съѣхавшимъ было на шею чернымъ шерстянымъ платкомъ, съ малиновыми цвѣточками, сынъ-же встряхиваетъ подстриженными въ скобку, русыми волосами и становится въ выжидательное положеніе.

— Чай да сахаръ! говорю имъ.

— Милости просимъ! въ одинъ голосъ отвѣчаютъ они. Хозяйка садится.

— Лошадокъ-бы мнѣ, въ Новое, знаете? Далеко-ли отсюда? спрашиваю хозяина.

Молодой человѣкъ вопросительно смотритъ на мать. Та продолжаетъ держать на всей пятернѣ блюдце съ чаемъ, съ ироническою улыбкой киваетъ ему головой и загадочнымъ тономъ говоритъ:

— Это, знаешь, къ тому барину, что все съ колокольчикомъ-то гоняетъ—и хозяйка большимъ глоткомъ дохлебываетъ чай съ блюдца.

— А-а-а! Это къ дипломату-то!—и парень дѣлаетъ пальцемъ многозначительный знакъ около лба. Знаемъ-знаемъ! Можно-съ! Лошадки есть!

— Такъ, пожалуйста, парочку мнѣ. Тутъ, кажется, недалеко. Дорого-ли будетъ стоить?

— Чего тутъ! Всего 12 верстъ! Полтора рубля!—Парень беретъ фуражку и выходитъ изъ комнаты.

— Не прикажете-ли чашечку? проситъ хозяйка, и придвигается къ самовару, чтобы налить.

Я съ удовольствіемъ соглашаюсь, и мы вмѣстѣ пьемъ чай.

— Что это, вы разсказывали про этого барина, что онъ все съ колокольчикомъ гоняетъ? говорю ей.

— А это, изволите-ли видѣть—отвѣчаетъ хозяйка, при чемъ закладываетъ оставшійся кусокъ сахару во рту за щеку, чтобы не такъ скоро растаялъ. Вамъ вѣдь къ Шлемокуровымъ? Ихъ вѣдь всего мать съ сыномъ? вопросительно говоритъ она коверкая по своему фамилію Шальмель-Лакуръ.

Я киваю головой.

— Ну, такъ и есть! Это къ нимъ самымъ. Два года назадъ, купили они здѣсь маленькое имѣньице, да поизрасходовались, что-ли, ну такъ сбруи-то завести и не на что, а дуга-то у нихъ одна, съ колокольчикомъ. Вотъ, когда ежели ѣхать на одной лошадкѣ, колокольчикъ-то имъ и неохота отвязывать, да такъ и гоняютъ: и въ церковь, и къ намъ на станцію, и въ городъ, и на базаръ. Такъ ужъ больно смѣшно на нихъ глядѣть-то!— Хозяйка смѣется и выплескиваетъ остатки чая съ блюдца въ мѣдную полоскательницу.

Я напился чаю, благодарю хозяйку и уѣзжаю.

Погода превосходная. Узенькой бѣлой полоской стелется проселочная дорога черезъ обширное ржаное поле.

Легкій вѣтеръ гуляетъ и волнуетъ рожь, которая еще только наливается. То тутъ, то тамъ, налетитъ вихорокъ и пригнетъ ее, отчего, при блескѣ утреннихъ лучей, поверхность поля принимаетъ различные оттѣнки: то зеленые, то ярко-серебристые, а то и синеватые.

Меня везетъ самъ хозяйскій сынъ. Въ виду ближней дороги онъ даже и кафтана не взялъ, а только подложилъ подъ себя синюю визитку. Лошади дружно бѣгутъ и отчетливо ударяютъ ногами по убитой почвѣ. Колокольчикъ весело побрякиваетъ. Кругомъ такъ хорошо, воздухъ настолько свѣжъ, что, кажется, и не надышишься.

Вонъ, вдали, виднѣется, за полемъ, небольшой лѣсъ. Мы подъѣзжаемъ къ нему. Мало по малу деревья начинаютъ рѣдѣть, просвѣчивать и, сквозь нихъ, внизу, подъ горой, заблестѣло темно-синее озеро. Мы тихонько спускаемся съ песчаной горы.

На самомъ краю озера раскинулось большое село. Съ горы, я, кажется, могъ бы пересчитать до послѣдняго каждый домъ. И темныя закоптѣлыя лачуги съ соломенными крышами, и гор-

дыя раскрашенныя избы, съ мезонинами и балконами, разбогатѣвшихъ кулаковъ.

Чуть вправо отъ села, на крутомъ берегу, среди тѣнистой сосновой рощи, живописно возвышается бѣлая каменная церковь. Серебряный крестъ ея далеко блеститъ на солнцѣ. У подножія церкви, между вѣковыми соснами, мелькаютъ крашенные и некрашенные надгробные кресты. Проѣзжаю совсѣмъ близко отъ кладбища. Сквозь черную деревянную ограду, видна чья-то еще совсѣмъ свѣжая могила. Рыжій песокъ ярко отличается отъ окружающей зелени.

По ту сторону озера, тоже на берегу, виднѣется бѣдная усадьба. Небольшой деревенскій домъ съ мезониномъ стоитъ среди двора, фасадомъ къ озеру. Къ отлогому берегу спускается тощій садъ, съ нѣсколькими рябинами, березами и ягодными кустами. Далѣе виденъ сарай, или конюшня, хорошо не разобрать. Въ домѣ, какъ внизу, такъ и вверху, окна открыты. Я дѣлаю большой кругъ. Озеро [въ ширину съ полъ-версты не больше, за то въ длину версты, пожалуй, три будетъ. Подъѣзжаю къ усадьбѣ. Дворъ огороженъ простымъ заборомъ изъ жердей. Ворота тоже жиденькія—едва держатся.

Ямщикъ соскакиваетъ съ козелъ и отворяетъ ворота. Колокольчикъ, котораго послѣднее время я какъ-то и не замѣчалъ, здѣсь, на дворѣ, вдругъ точно особенно громко зазвенѣлъ.

— Вонъ и самъ бѣжитъ! пренебрежительнымъ тономъ говоритъ мой возница, и рысцей направляется къ подъѣзду.

Изъ дома выбѣгаетъ молодой человѣкъ, блондинъ, весь въ бѣломъ. На ногахъ бѣлыя туфли, на головѣ соломенная шляпа, повязанная бѣлымъ-же вуалемъ.

Прыгая черезъ ножку, какъ дитя, молодой человѣкъ на ходу вставляетъ въ глазъ стеклышко, и еще издали кричитъ мнѣ довольно рѣзко:

— Кого вамъ угодно?—Жиденькая бородка его еще только начинала округляться. Тонкіе усики тщательно закручены.

Вылѣзаю изъ экипажа, приподымаю фуражку и говорю:

— Я къ вамъ изъ банка!

Не здороваясь со мной, онъ круто поворачивается и убѣгаетъ обратно въ домъ, при чемъ, дорогой, во все горло торжественно кричитъ, отчетливо отдѣляя каждый слогъ, чтобы слышнѣе было:

— Ma-man! c'est-de-la-ban-que! и исчезаетъ. Вѣрно, думаю, его матушка только что поѣхала за озеро, или куда-нибудь въ лѣсъ, такъ онъ хочетъ вернуть ее.

Я стою нѣсколько сконфуженный такимъ пріемомъ, достаю кошелекъ и расплачиваюсь съ ямщикомъ. Тотъ медленно пересаживается съ козелъ въ тарантасъ, и шагомъ выѣзжаетъ со двора.

Каково же мое удивленіе, когда вдругъ, всего въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ меня, изъ окна мезонина, высовывается женская голова, повязанная бѣлой косынкой, и также отчетливо кричитъ:

— Ni-co-las, pri-ez-le d' en-trer dans la ma-ison! далеко—далеко разносится въ утренней тиши,—и въ поляхъ и за полями. Черезъ минуту, изъ дому, опять въ припрыжку, подлетаетъ ко мнѣ мой молодецъ, изысканно любезно знакомится, хватаетъ чемоданъ и хочетъ нести. Я не даю, и мы, кое-какъ бочкомъ, протискиваемся въ двери. Вхожу въ первую комнату, гостиную. Домъ хотя и не новый, но стѣны еще не оклеены обоями. Мебель подъ бѣлыми коленкоровыми чехлами. По угламъ стоятъ маленькіе, круглые столики, покрытые бѣлыми вязаными салфетками, и на нихъ поставлены букетики цвѣтовъ. Надъ однимъ изъ столовъ, въ углу, виситъ мухобойка. Вслѣдъ за нами, изъ противоположной двери, входитъ пожилая женщина, высокая, тоже вся въ бѣломъ. На плечахъ красный пуховой платокъ, на головѣ бѣлый чепецъ. Я рекомендуюсь.

— Ахъ, мы давно васъ ждемъ! радостно отвѣчаетъ она, здоровается и рукой предлагаетъ мнѣ занять стулъ противъ себя. Позади нея, въ сторонкѣ, какъ школьникъ, примащи-

вается на край стула молодой хозяинъ. Онъ держитъ у груди свою шляпу съ бѣлымъ вуалемъ, упираетъ глаза въ потолокъ и глубокомысленно что-то соображаетъ.

— Вотъ, знаете, послѣ покойнаго мужа, я боялась на капиталъ жить, и купила вотъ эту усадьбу, да что-то у насъ съ «Nicolas» все какъ-то не клеится! И барыня грустно посматриваетъ то на меня, то на Nicolas. Тотъ, вдругъ, что-то нервно принимается шаркать ногами по полу, не переставая соображать.

— Вашъ сынъ гдѣ же воспитывался? спрашиваю ее.

— А онъ всего годъ какъ кончилъ на факультетѣ восточныхъ языковъ, и вотъ теперь ему ужасно хочется итти по дипломатической части. Думаетъ уѣхать куда-нибудь на востокъ, въ Персію или Константинополь.

— Ma-man, j'-irai dire de faire at-te-l'er le che-val pour M-er! внезапно восклицаетъ мой будущій дипломатъ, вскакиваетъ со стула и исчезаетъ изъ комнаты. Черезъ нѣсколько секундъ, онъ въ припрыжку проходитъ дворомъ мимо нашихъ оконъ и громко напѣваетъ:

— Pas beguеule, forte en gueule!—изъ M-me Angot.

— Молодъ-то вѣдь ужъ очень! любовно говоритъ «maman», и съ сокрушеніемъ киваетъ головой на сына. Вы какъ же, все имѣніе будете объѣзжать? спрашиваетъ барыня.

— Да вѣдь оно и всего-то 70 десятинъ! Для меня лошади совсѣмъ не надо! говорю ей.

— Ахъ, такъ зачѣмъ же Nicolas пошелъ закладывать! Она поспѣшно направляется къ окну, и кричитъ, сколько у ней было силы, хотя конюшня находилась всего саженяхъ въ 10, не больше.

— Ni-co-las!

— Ma-man! доносится яростный голосъ сына.

— Il-ne-faut-pas-at-te-ler le che-val!

— Pour-quoi!

— M-er i-ra à pied!

Тогда начинается перекрикиваніе хозяина со своимъ единственнымъ, какъ я потомъ узналъ, глухимъ работникомъ, Иваномъ. Иванъ при усадьбѣ былъ все: и староста, и работникъ, и кучеръ. Вслѣдствіе того, что Иванъ былъ глухъ, и баринъ, и барыня цѣлый день кричали ему, что было силы, и такъ привыкли къ этому, что и между собой, можно сказать, не разговаривали, а орали.

— Ива-а-анъ откла-а-ады-ыва-а-ай! раздается по двору.

Иванъ, очевидно, не слышитъ, такъ какъ уже до моихъ ушей начинаетъ долетать звонъ знаменитаго колокольчика. Чтобы помочь сыну, «maman» тоже принимается кричать и махать платкомъ. Колокольчикъ доносится все громче и громче. Я отправляюсь самъ туда. Оказывается, Иванъ, высокій старикъ съ сѣдыми кудреватыми волосами, безъ шапки, въ коричневомъ пиджакѣ, преспокойно продолжалъ закладывать въ одноколку высокую вороную лошадь. Молодой хозяинъ не подходилъ къ Ивану, а остановился на полъ-дорогѣ и отсюда кричалъ.

— Откладывай! говорю старику въ самое ухо. Тотъ ворчитъ что-то себѣ подъ носъ, и принимается отпрягать.

Не больше, какъ черезъ часъ времени, я уже напился чаю, беру изъ чемодана планъ, и, вмѣстѣ съ хозяиномъ, отправляюсь осматривать имѣніе. 70 десятинъ обойти было недолго, тѣмъ болѣе, что половина изъ нихъ находилась подъ молодымъ березовымъ и ольховымъ лѣсомъ. Часа черезъ два мы вернулись, и я сряду-же сажусь за работу. Къ 5-ти часамъ вечера, повѣрочная опись была готова.

— Просите «maman» подписать! говорю хозяину, который, пока я занимался, все время билъ мухобойкой мухъ по стѣнамъ. Хозяинъ стремительно бросается къ окну, высовывается, задираетъ голову по направленію къ мезонину, и кричитъ все такъ же громко:

— Ma-man, ve-nez sous-crire le do-cu-ment! и прислушивается, какъ пѣтухъ.

— Je viens à la mi-nu-te! глухо доносится сверху женскій тонкій голосъ. Молодой человѣкъ, точно послѣ какой побѣды, убѣдившись, что онъ исполнилъ порученіе, съ самодовольнымъ видомъ подсаживается ко мнѣ и искоса бросаетъ любопытные взгляды на мою работу. Вскорѣ приходитъ «maman», подписываетъ бумагу и затѣмъ приглашаетъ обѣдать.

Въ концѣ обѣда, я обращаюсь къ молодому хозяину и говорю:

— Нельзя-ли будетъ лошадку до станціи?

Но Nicolas нечего было просить. Только что я заикнулся, онъ быстро выбѣгаетъ изъ комнаты и, по своему обыкновенію, въ прыпрыжку несется по двору; только бѣлый вуаль его развѣвается надъ головой.

— И все самъ! любитъ, чтобы вездѣ свой глазъ былъ! разсказываетъ маменька, точно выхваляла дочку, которую хотѣла выдать замужъ.

Мы начинаемъ разговаривать о хозяйствѣ: о томъ, сколько было заплачено за имѣніе, какія улучшенія предполагаетъ она сдѣлать въ усадьбѣ, и т. п.

Слышу со двора доносится отчаянный крикъ хозяина.

— Ива-а-анъ! гдѣ хо-о-ому-у-утъ?

— Позвольте мнѣ проститься съ вами, кстати я помогу имъ закладывать! говорю хозяйкѣ, такъ какъ уже предчувствовалъ, что ежели ихъ оставить однихъ, то лошади будутъ готовы не раньше какъ къ ночи.

— Ахъ! Что вы, помилуйте, не безпокойтесь, они сейчасъ подадутъ! отвѣчаетъ «maman», желая успокоить меня. Но я не слушаюсь, прощаюсь съ ней, беру чемоданъ и выхожу на дворъ.

Конюшня стояла посреди двора, такъ что ее можно было кругомъ объѣхать. При ней былъ устроенъ небольшой навѣсъ, гдѣ помѣщались экипажи.

— И что вы, баринъ, все такъ шумите, вѣдь я не глухой! еще издали слышу, какъ Иванъ злобно огрызается на

своего барина. Тотъ, между тѣмъ, тщетно силился надѣть на коренную хомутъ. Голова лошади никакъ не пролѣзала.

— И все не за свое дѣло беретесь! тѣмъ-же злобнымъ голосомъ кричитъ старикъ, и почти насильно вырываетъ хомутъ изъ рукъ барина.

Къ большой, шестивершковой, вороной лошади Иванъ выводитъ на пристяжку маленькую бѣлую лошадку, похожую на пони.

Не успѣлъ онъ хорошенько пристегнуть ее, какъ уже молодой хозяинъ садится въ тарантасъ и дергаетъ возжи. Лошади бросаются съ мѣста въ карьеръ, сшибаютъ съ ногъ бѣднаго Ивана, и скачутъ по двору. Но такъ какъ у коренной, оказалось, была завозжена только одна возжа, то сколько Nicolas ни старался, онъ не могъ остановить лошадей. Тѣ бѣшено несутся вдоль забора. На бѣду, постромка попадаетъ бѣлой между ногъ, и лошадь начинаетъ бить задомъ.

— Тпр-р-р! тпр-р-р! вопитъ мой дипломатъ.

«Maman» увидала изъ окошка бѣдственное положеніе сына и бросается къ нему на помощь. Косынка съ головы ея свалилась, но она, ничего не замѣчая, въ ужасѣ мечется изъ стороны въ сторону.

— Держи на заборъ! Ушпрай! Ушпрай! осипшимъ басомъ оретъ Иванъ, приподымается съ земли и прихрамывая, опрометью кидается на перерѣзъ лошадямъ. Я тоже за нимъ.

Всѣ мы кричимъ, машемъ руками, отчего лошади только пуще бѣсятся и сильнѣе скачутъ вокругъ конюшни.

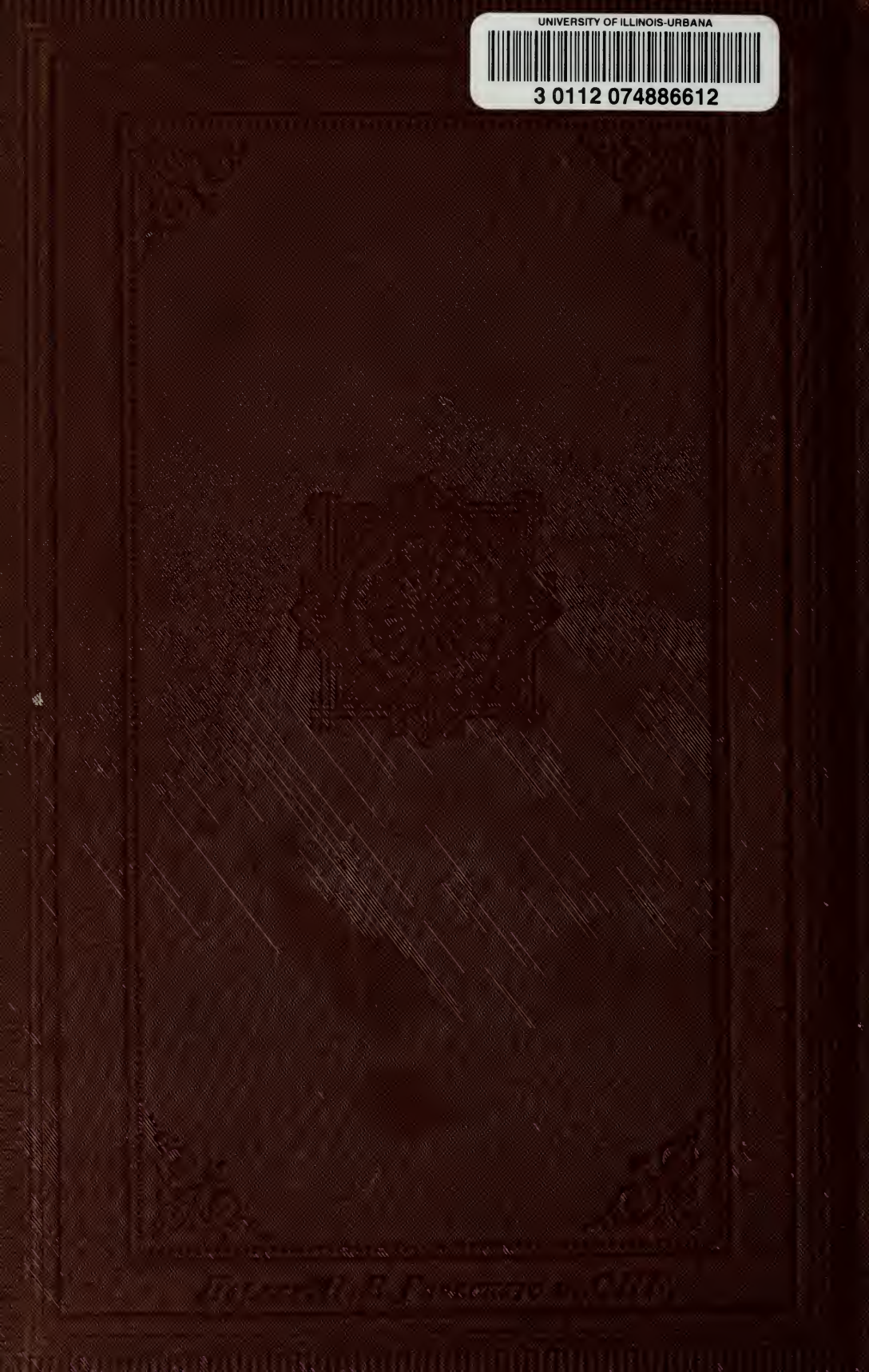
Какъ нѣкогда Ахиллъ носился съ трупомъ Гектора вокругъ священной Трои, такъ теперь мой Nicolas кружился вокругъ сарая; только онъ походилъ уже не на Ахилла, а скорѣй на несчастнаго Гектора, ибо отъ него торчали однѣ ноги, да и тѣ объ одной туфлѣ. Самъ-же онъ весь угрузъ въ тарантасѣ.

Наконецъ экипажъ задѣваетъ осью за заборъ и валится на бокъ; за нимъ валится и дипломатъ пластомъ на землю. Соломенная шляпа съ бѣлымъ вуалемъ далеко отлетаетъ въ сторону.

— Ni-co-las! Ni-co-las! отчаянно кричитъ «maman» и бросается къ сыну. Тотъ встаетъ, такъ-же, какъ и Иванъ, слегка прихрамываетъ, и поддерживаемый подъ руку «maman», грустный направляется къ дому.

Тѣмъ временемъ старикъ благополучно останавливаетъ лошадей, старательно завазживаетъ и садится на козлы. Я тихонько выѣзжаю со двора.

Въ усадьбѣ стихаетъ.

2-50
15356

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 074886612